

Джеймс Уильям

Уильям Джеймс

Уильям Джеймс
Психология

«Психология»: «Педагогика»; Москва; 1991
ISBN 5-7155-0402-3
Аннотация

В ряду основателей психологической науки заметная роль принадлежит американскому философу и психологу Уильяму Джемсу (1842–1910). В основу настоящего издания положена книга «Психология», вышедшая в 1922 г. Многие из развитых Джемсом представлений не просто составляют часть истории психологии, но подчас помогают понять ее настоящее, глубже исследовать, например, природу личности, ее самосознание.

Для психологов и читателей, интересующихся проблемами психологии.

Уильям Джемс

СЕРИЯ «Классики мировой психологии»
Seria «Classics of world psychology»

Ответственный редактор М. Г. Ярошевский
Члены редакционной коллегии:
В. В. Давыдов, А. В. Петровский, В. П. Зинченко, Г. М. Андреева

Под редакцией Л. А. Петровской

Москва, «Педагогика», 1991 г.

Психология

К столетию
«Принципов психологии»
У. Джемса

Уильям Джемс (1842–1910) — яркая фигура в истории американской и мировой психологии. Он — первый профессор психологии в Гарвардском университете, создатель первой американской психологической лаборатории (1875), его перу принадлежат знаменитые «Принципы психологии» в двух томах (1890). Предлагаемое читателю издание воспроизводит сокращенный вариант этого труда, который был подготовлен самим Джемсом как учебник по психологии в 1892 г.

В 1990 г. исполнилось 100 лет со времени выхода фундаментальной книги Джемса. Однако можно с уверенностью сказать, что сегодня она представляет для нас не только исторический интерес. Чем же примечателен этот труд? Для ответа на поставленный вопрос обратимся, в частности, к суждениям психологов — современников Джемса.

«...Джемс прежде всего повлиял на современную психологию необычайным мастерством в описании отдельных групп психических фактов, во всей их жизненности и непосредственности, помимо всяких теорий и искусственных построений... У многих после появления «Принципов психологии» Джемса точно спала какая-то повязка с глаз, и мы, так сказать, лицом к лицу встретились с этой непосредственной психической жизнью» — так характеризует влияние книги Джемса Н. Н. Ланге (Психический мир. М., 1914. С. 52–53). «Изложения душевного движения в психологических учебниках носили слишком академический, слишком условный характер, а Джемс предложил нам сырой материал, привел нас к источнику действительного переживания» — таково суждение Э. Титченера (цит. по: Выготский Л. С. Собр. соч.; В 6 т. Т. 6. М., 1984. С. 96), перекликающееся с вышеприведенным мнением.

Среди основателей науки психологии Джемсу действительно принадлежит особое место. Он не является основоположником психологической школы или системы. По сути, им обозначен целый ряд устремленных в будущее линий продуктивного развития новой, формировавшейся области. «Не прорабатывая деталей, Джемс наметил четко обрисованный широкий план, показывающий другим, в каких направлениях двигаться и как делать первые шаги» — так пишет о вкладе Джемса автор одной из известных книг по истории психологии (Thomson R. The Pelican History of Psychology. L., 1968. P. 127). Оценивая состояние современной ему психологии, Джемс полагал, что научной психологии пока не существует. Эта область пребывает в ожидании своего Галилея, который преобразует ее в науку. Свою задачу сам Джемс видел в том, чтобы, следуя в основном аналитическому методу непосредственного самонаблюдения, изучать «первичные данные» — душевные явления в их целостности и связи с обуславливающими их физиологическими процессами.

Метод самонаблюдения обращен автором и к естественно складывающемуся личному опыту, и к специально организуемым ситуациям (как, например, в случае с «веселящим газом»). Во многом благодаря этому книга насыщена богатыми данными «его блестящего самонаблюдения» (слова Л. С. Выготского), непосредственным, «живым» психологическим материалом, в известном смысле «узнаваемым» читателем и близким ему. В отечественной психологии после некоторого периода забвения ныне оживляется интерес к возможностям метода самонаблюдения, и в этом отношении книга Джемса представляет собой классическое учебное пособие.

Вряд ли стоит предварять восприятие предлагаемой работы Джемса наставлениями; что в ней заслуживает внимания, читатель решит сам. Хотелось бы поделиться некоторыми личными впечатлениями от этой фундаментальной и во многих отношениях самобытной книги.

Джемс исходит из предпосылки существования независимого от сознания материального мира, однако не предполагает, будто внутренний мир представляет собой «известного рода дубликат» внешнего мира в нашем сознании. Книга в каком-то смысле беспрецедентна в представлении феноменологии душевной жизни — ее богатства, своеобразия, сложности. Здесь множество «психических обертонов», тонкостей анализа внутреннего опыта. Многие данные и представления, которыми оперировал Джемс 100 лет назад, естественно, устарели, но сохраняется ее значение как известного образца самого стиля, манеры работы с психологическим материалом, во всяком случае на этапе его первоначального освоения.

Для психологии Джемса характерен своего рода энциклопедизм: в его поле зрения оказывается широкий спектр явлений человеческой психики — от функционирования мозга до медиумизма и религиозного экстаза. Причем на всех уровнях подход отличается гармонией научной глубины, ясности здравого смысла, философской широты. Возможно, и с этим связан отмечаемый многими читателями (не только специалистами-психологами) эффект чтения книг Джемса с неизменным интересом и удовольствием.

Наряду с уже названными «Принципами психологии» (в двухтомном и сокращенном вариантах) к психологическим работам Джемса относятся «Беседы с учителями о психологии» (1899) и «О многообразии религиозного опыта» (1902). В книгах Джемса найдут для себя интересные материалы и те, кто составляет экспериментально-лабораторную модель психологии, и те, кто тяготеет к гуманитарной психологической традиции. В этом отношении его панорамный подход оказался как бы открыт будущему.

В богатом многообразии идей и данных предлагаемой книги Джемса есть и такие, которые вошли в классический фонд мировой психологии, есть и претерпевшие изменения к настоящему времени, а есть просто устаревшие. К последним можно, например, отнести многие естественнонаучные представления, которыми оперирует Джемс, в том числе из области физиологии высшей нервной деятельности. (Кстати, именно поэтому при переиздании опущены главы с III по IX.)

Современная психология во многом по-иному в сравнении с Джемсом (но не единообразно!) понимает природу инстинкта, воли. Этот перечень легко продолжить. Однако в большинстве случаев в психологии Джемса в едином комплексе представлений сочетаются одновременно инвариантное, изменчивое и устаревшее. Это весьма характерно для истории науки, и это, в частности, можно увидеть на примере теории эмоций Джемса, его представлений о личности, сознании и т. п. Даже в случае существенного расхождения с Джемсом в интерпретации истоков, природы психических явлений мы тем не менее находим у этого автора много интересного и полезного — в их описании, понимании функций, например в обучении и воспитании.

В целом позицию Джемса отличает психолого-педагогический оптимизм, вера в большие возможности воспитания и самовоспитания. В его психологических работах рефреном звучит тезис: «Наша судьба находится в наших собственных руках... Ад, ожидающий нас в загробной жизни, о котором нам говорят богословы, — пишет Джемс, — не хуже того ада, который мы сами создаем себе на этом свете, воспитывая свой характер в ложном направлении» (Беседы с учителями о психологии. Пг., 1919. С. 49–50).

Определяя характер теоретической ориентации Джемса, его подход обычно соотносят с функционализмом в американской психологии. В анализе этого направления отмечают его акцент на практицизм, культ действия и личного достижения успеха, стремление искать эффективные способы адаптации человека к меняющейся среде (см.: Ярошевский М. Г. История психологии. М, 1976). Эти тенденции связывают, с одной стороны, с особенностями практики американской социальной жизни, а с другой — с влиянием складывающейся философской традиции прагматизма. Джемс дает оригинальную интерпретацию сознания. Он пишет о потоке сознания, мысли или субъективной жизни, подчеркивая динамизм, процессуальный характер душевных явлений, рассматривая их как постоянно сменяющие друг друга неповторяемые состояния. То, что при поверхностном взгляде кажется повторением, в действительности меняющийся ряд уникальных мыслей. Если психология структуралистов представляла сознание как сумму отдельных элементов, своего рода душевных дискретных атомов, то для Джемса «первичным фактом» выступает поток сознания как непрерывная динамичная целостность. Членить ее — то же, что «резать ножницами воду».

Другая важная характеристика сознания — его селективность: в нем всегда имеет место отбор одних состояний и отклонение других. Джемс обращается к основным, по его мнению, определяющим процессам выбора — вниманию и привычке; он уделяет много места процессу категоризации информации, поступающей из внешнего мира. Для этих разделов книги как раз характерно соединение как бы устремленных в будущее тенденций и в то же время устаревших к настоящему сведений и представлений. Идеи Джемса о природе сознания, памяти, внимания отчасти можно обнаружить, например, в арсенале современной когнитивной психологии, в созвучном аспекте на новом экспериментальном уровне обратившейся к этим проблемам.

В главе, посвященной личности, Джемс выступает как сторонник ее широкого определения: не только через ее структуры и связи между структурными элементами. В этом отношении традиции нашей отечественной психологии в подходе к личности созвучны взглядам Джемса. Вот что пишет об этом,

например, С. Л. Рубинштейн: «...У. Джемс отмечал, что личность человека составляет общая сумма всего того, что он может назвать своим. Иначе говоря: человек есть то, что он имеет... В известном смысле и мы можем, конечно, сказать, что трудно провести грань между тем, что человек называет самим собой, и кое-чем из того, что он считает своим. То, что человек считает своим, в значительной мере определяет и то, чем он сам является. Но только это положение приобретает у нас иной и в некотором отношении противоположный смысл. Своим человек считает не столько те вещи, которые он себе присвоил, сколько то дело, которому он себя отдал, то общественное целое, в которое он себя включил» (Основы общей психологии. Т. II. М., 1989. С. 243).

Развитые Джемсом положения о личности в целом оказали большое влияние на становление многих областей дальнейших персонологических исследований, например самосознания, самооценки, уровня притязаний и пр.

Одна из ярких и широкоизвестных страниц психологии Джемса — его теория эмоций. Эта теория была разработана в одно время независимо друг от друга двумя исследователями — У. Джемсом в 1884 г. и Н. И. Ланге в 1885 г. — и вошла в историю психологии под названием теории Джемса — Ланге. Вот ее краткая классическая формулировка, данная Джемсом: «...Мы опечалены, потому что плачем; приведены в ярость, потому что бьем другого; боимся, потому что дрожим...» Л. С. Выготский в историко-психологическом исследовании «Учение об эмоциях» подчеркивает парадоксальность этой теории по сравнению с классической. Парадокс в том, «что она выдвинула в качестве причины эмоций то, что прежде считалось ее следствием» (т. 6. С. 103). Органические изменения в ней рассматриваются как прямая причина, источник и самое существо эмоционального процесса. Кстати, с этим тезисом связан развернутый вариант названия теории — «органическая теория эмоций».

Мы остановимся кратко на основных моментах обстоятельного анализа Выготским теории Джемса — Ланге, поскольку, по существу, они весьма показательны и современны, хотя относятся к началу 30-х гг. нашего века. Внеся небольшие поправки, связанные с временем, отделяющим нас от возникновения этой теории, сегодня можно повторить слова Выготского в ее адрес: созданная более века назад теория дожила до наших дней, «несмотря на разрушительную критику, которой она подверглась с разных сторон» (там же. С. 95). Порожденная ею дискуссия продолжается до настоящего времени, причем сама теория стала «тем образцом, — отмечают Многие современные исследователи, — на который равнялись авторы в разработке альтернативных представлений» (Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. М., 1976. С. 11).

Остановившись на вопросе о том, что обеспечило теории Джемса — Ланге долгое «исключительное господство», Выготский отмечает два обстоятельства. Первое связано с характером ее представления, в котором находит отражение общая манера изложения «душевного движения» у Джемса. Эта теория, пожалуй, единственная, которая с полной логической последовательностью, доходящей до парадоксальности, удовлетворительно разрешает вопрос о природе эмоций с такой видимой простотой, с такой убедительностью, с таким обилием повседневно подтверждающихся, доступных каждому фактических доказательств, что невольно создается иллюзия ее истинности и неопровержимости. Второе обстоятельство, по мнению Выготского, состоит в следующем: «...Эта теория при объяснении эмоций выдвигает на первый план их органическую основу и потому импонирует как строго физиологическая, объективная и даже единственно материалистическая концепция эмоций и чувствований. Здесь снова возникает удивительная иллюзия, которая продолжает существовать с поразительным упорством, несмотря на то что сам Джемс позаботился о том, чтобы с самого начала разъяснить свою теорию как теорию, не обязательно связанную с материализмом» (т. 6. С. 96).

С точки зрения Выготского, уязвимость рассматриваемой теории связана прежде всего с тем, что она сформулирована, «опираясь на повседневное наблюдение, интроспективный анализ и чисто спекулятивные построения» (там же. С. 102). Проведенный им углубленный анализ теории «с точки зрения ее фактической состоятельности» обнаружил, что она «не выдерживает критики фактов при первой же попытке ее экспериментального исследования» (там же. С. 113). Выготский также обращает

внимание, что не достигнута основная цель устремлений этой теории — «преодоление интеллектуализма в учении об аффектах, нахождение того специфического признака, который отличает эмоциональное состояние от чисто познавательных, интеллектуальных состояний сознания» (там же. С. 154–155).

Многие исследователи Джемса обычно отмечают противоречивость его теоретических представлений. И это справедливо; причем сам Джемс считал, что состояние психологии его времени не располагало к полной определенности и однозначности. Например, Выготский отмечает «шатание Джемса в окончательном изложении собственной теории», рассматривая это как свидетельство «внутренней ограниченности и противоречивости классической формулировки его гипотезы...» (там же. С. 154). Однако, определяя важную грань значения подхода Джемса и Ланге, Выготский писал: «Их гипотеза уже по одному тому исторически оправдала себя, что породила ряд исследований и тем толкнула научную мысль на открытие не известных до того явлений действительности, которые сами уже предопределили направление для движения теоретической мысли» (там же. С. 132).

Мы не имеем возможности останавливаться здесь на современных достижениях активно развивающейся области психологического исследования эмоций. Подчеркнем лишь, что актуальной остается задача, сформулированная Выготским более полувека назад: «Мы встали перед необходимостью создать новую теорию для новых фактов, противопоставить ее старой теории и включить в нее все то истинное и выдержавшее фактическую проверку, что заключалось в гипотезе Джемса и Ланге» (там же).

Анализируя современное состояние этой области, можно присоединиться к приведенному высказыванию. Отметим лишь, что своеобразное «подкрепление» рассматриваемая теория эмоций получает в сфере широкой современной практики психокоррекционной работы. Мы имеем в виду тенденцию корректировать нарушенные душевные состояния посредством работы, в частности с конкретными их внешними, в том числе органическими, проявлениями. Можно упомянуть и соответствующие эффекты из области современной психофармакологии.

В своем Предисловии переводчика к «Психологии» Джемса на русском языке И. И. Лапшин замечает, что Джемс-психолог и Джемс-философ представляют две почти совершенно самостоятельные личности. Пожалуй, это справедливое замечание. Хотя Джемс не избегает обращений к философским проблемам в своих психологических работах, философское творчество — это уже другие годы и другие страницы его жизни. В истории философии Джемс не менее известная и значительная фигура, чем в истории психологии. Он один из родоначальников философской системы прагматизма. Собственно философский период его деятельности следует за психологическим и связан с выходом таких его известных философских работ, как «Философские концепции и практические результаты» (1898), «Прагматизм» (1907), «Значение истины» (1909) и др. Несомненно взаимное влияние этих двух периодов жизни и деятельности Джемса. С одной стороны, в его психологии можно обнаружить следы становления будущей философской системы взглядов, а с другой — в философии, возможно, показательное само обращение к теории познания, проблемам истины, субъективистский крен в их осмыслении.

Джемс неоднократно в своей «Психологии» отмежевывается от философии материализма и прямо пишет: «Моя точка зрения не может быть названа материалистической». Тем не менее нельзя сказать, что автор вовсе порывает с материализмом. По крайней мере, как уже отмечалось, он исходит из признания независимого от сознания существования материального мира. Душа же предстает у него как субстанция, в определенном смысле обособленная от материального мира. Далеко не всегда автору удается расчленить психологические факты и метафизику, как этого ему хотелось бы: «Но в качестве психологов нам нет никакой надобности вдаваться в метафизику. Психология имеет дело только с теми или другими состояниями сознания. Доказывать существование души — дело метафизики или богословия, но для психологии такая гипотеза субстанциального единства является излишней». Во многих конкретных вопросах позиция Джемса действительно оказывается не материалистической. Показательна в этом отношении, например, глава, посвященная воле. Как

замечает Л. С. Выготский, Джемс «должен был сделать, правда самый незначительный, как и подобает прагматисту, заем духовной энергии у божественного fiat — да будет, — которым сотворен мир и без помощи которого Джемс не видел возможности научно объяснить волевой акт» (т. 3. С. 66).

Большой интерес представляет и опыт Джемса по трансляции психологических знаний учителю, описанный в его книге «Беседы с учителями о психологии», которую можно рассматривать как одно из первых пособий по практической психологии. Сведения о «здании нашего духа» — вот что, по мнению Джемса, в первую очередь может дать психология учителю. «Моим главным желанием было заставить учителей понять духовную жизнь ученика, как некоторое активное единство, каким он сам ее чувствует, и, если возможно, сочувственно воспроизвести ее в воображении», — так определяет Джемс свою задачу. Речь идет не только о развитии объектного видения ученика, т. е. о видении как бы извне, со стороны, но и о необходимости учителю компетентного взгляда изнутри — с позиции самого ученика.

Подытоживая сказанное, хотелось бы порадоваться вместе с читателем подарку, который мы получаем благодаря переизданию этой книги, приуроченному к столетней годовщине со времени ее первого выхода.

Л. А. Петровская,
доктор психологических наук.

Предисловие автора

Настоящая книга представляет сокращение моего большого труда «Основания психологии». Готовя ее к печати, я имел в виду дать учебник психологии, годный для классного употребления. Для этого я выпустил из моего большого труда целые главы, другие написал заново. Я выпустил историческую и полемическую части, метафизические рассуждения, места чисто философского характера, большую часть цитат и ссылок на другие книги и все не относящиеся прямо к делу подробности, предоставляя преподавателю психологии самому пользоваться этим материалом по мере надобности. Зная, как плохо знакома с физиологией большая часть учащейся молодежи, я счел нужным посвятить несколько глав описанию органов чувств и мозга. Полагаю, что сделанные сокращения в критической части труда и более упрощенный и догматический способ изложения способствовали большей ясности в развитии моей общей точки зрения на психологию как на естественную науку. Около 2/5 книги написаны вновь или основательно переработаны; остальное скопировано из моего большого труда. Жалею, что не удалось добавить главы «О наслаждении и страдании», «Об эстетическом чувстве» и «О нравственном чувстве». Может быть, мне удастся восполнить этот пробел в следующем издании, если в нем когда-нибудь представится надобность.

Пользуюсь этим предисловием, чтобы сделать несколько замечаний по поводу изложения «Оснований психологии». Огромное большинство критиков отнеслись ко мне так снисходительно, что мне остается только сердечно благодарить их. Но все они сходились в одном общем упреке: по их мнению, изложение мое беспорядочно, последовательность глав слишком искусственна. «Этот недостаток извинителен, — прибавляли они, — так как данное сочинение состоит по большей части из собрания журнальных статей; поэтому оно не может отличаться такой систематичностью, какой можно требовать от цельного, специально написанного труда». По-моему, упрек несправедлив; оправдание, приведенное выше, также неосновательно. Порядок изложения, без сомнения, несколько нестроен, недаром большинству критиков этот недостаток бросился в глаза. Но сказать, что в книге нет общего плана, мне кажется, нельзя; я преднамеренно держался порядка, наиболее удобного в педагогическом отношении; я начинал с конкретных душевных состояний, непосредственно известных всякому человеку, переходил к так называемым элементам, с которыми мы знакомимся позднее путем абстракции. Обратный порядок изложения, при котором постепенно конструируют сложные состояния сознания из элементарных психических единиц, дает возможность придать изложению

более изящную форму и разделить всю книгу на ясно разграниченные части. Но эти преимущества изложения нередко приобретаются путем искажения действительных фактов. Я готов допустить, что мой синтетический порядок изложения устанавливался мною, так сказать, на ощупь. Но я поступал так по соображениям, которые вынуждали меня признавать подобный образ действия педагогически необходимым. Вообще наперекор моим критикам я склонен думать, что упрек в «несистематичности» изложения в данном случае не есть упрек по существу, ибо мы получаем живое понимание душевных явлений, удерживая наше внимание возможно дольше на конкретных состояниях сознания во всей их цельности, между тем как анализ психических элементов есть, так сказать, анализ *post mortem* (посмертный). В последнем случае мы имеем дело не с жизненными явлениями, а с искусственными абстракциями.

Оставляя в стороне вопрос, правы ли мои критики в первом упреке или нет, я должен сказать, что они неправы во взгляде на отношение моих журнальных статей к предлагаемой книге. За единственным исключением, все главы моих «Оснований психологии» были написаны первоначально специально для книги; только впоследствии, не предвидя окончания работы, я напечатал некоторые из этих глав в журналах. Без сомнения, я не сумел распорядиться как следует моим материалом, но было бы несправедливо упрекать меня в том, что при составлении «Оснований психологии» я не приложил всех возможных усилий для наиболее добросовестного выполнения моего труда.

Глава I

Введение

Определение психологии лучше всего дал Ладда — как науки, занимающейся описанием и истолкованием состояний сознания. Под состояниями сознания здесь разумеются такие явления, как ощущения, желания, эмоции, познавательные процессы, суждения, решения, хотения и т. п. В состав истолкования этих явлений должно, конечно, входить изучение как тех причин и условий, при которых они возникают, так и действий, непосредственно ими вызываемых, поскольку те и другие могут быть констатированы.

В предлагаемом сочинении психологию должно излагать как естественную науку. Это замечание требует пояснения. Большинство мыслителей полагают, что, по существу, есть только одна наука о всех объектах познания и что пока не познано всё, ничто не может быть познано вполне. Если бы такая наука когда-нибудь возникла, то это была бы философия. На самом деле такая наука возникнет еще очень не скоро; вместо нее мы имеем в различных областях массу начатков знания, обособленных друг от друга ради практического удобства до того времени, пока с дальнейшим ростом знания они не сольются в единый кодекс истины. Эти временные начатки знания мы называем «науками» во множественном числе. Ради экономии времени в работе каждая из этих наук ограничивается произвольно избранными проблемами знания, игнорируя все остальные.

Таким путем каждая наука принимает на веру известные данные, предоставляя другим отделам философии подвергать критике их истинность и значение. Так, все естественные науки верят в абсолютно не зависящее от познающего ума существование мира материи, невзирая на то что более глубокий философский анализ этого вопроса ведет к идеализму. Механика приписывает материи обладание массой, проявление силы, определяя данные понятия чисто феноменальным образом и не смущаясь теми иррациональностями, которые можно вскрыть в этих понятиях при дальнейшем анализе. Подобным образом движение принимается в механике за нечто абсолютно не зависящее от познающего объекта, несмотря на затруднения, к которым приводит такое утверждение. Подобным же некритическим путем в физике допускается существование атомов, действия на расстоянии и т. д.; химия берет на веру все данные физики, а физиология — все данные химии. Психология, как естественная наука, рассматривает явления с такой же односторонней и временно-условной точки зрения. Сверх реальности материального мира со всеми его свойствами, реальности, принимаемой на веру другими естественными науками, психология постулирует дополнительные, по преимуществу ей

принадлежащие данные, предоставляя другим, более разработанным, отделам философии констатировать их реальность и оценивать их конечное значение. Эти данные следующие: 1) мысли и чувства, и решительно всё, что может служить названием для изменчивых состояний сознания; 2) познание других явлений при посредстве этих состояний сознания. К таким явлениям относят материальные объекты и события и другие состояния познающего духа. Материальные объекты могут быть близки или далеки по пространству и времени, состояния духа могут принадлежать не одному только психологу-исследователю, но и другим лицам или самому исследователю, но в различное время.

Как одно нечто может познавать другое — это составляет проблему так называемой теории познания. Каким образом такая вещь, как состояние духа, вообще может существовать — это составляет предмет рациональной (названной так в отличие от эмпирической) психологии. Полная истина о состояниях сознания станет известна только тогда, когда и теория знания, и рациональная психология скажут свое последнее слово. Тем временем о них можно собрать массу условных истин, которые неизбежно войдут в состав более широкой истины, когда для этого наступит срок.

Такой временный свод положений о состояниях сознания и о познании, которым эти состояния сознания пользуются, и есть то, что я разумею под психологией как естественной наукой. Каковы бы ни были конечные выводы теории о свойствах духа, материи и познания, при моем понимании психологии ее факты и законы сохраняют все свое значение. Если критические умы найдут такую естественноисторическую точку зрения произвольно суживающей взгляд на вещи, то они не должны ставить это в упрек книге, рассматривающей явления именно с такой точки зрения: скорее, им следует дополнить односторонние взгляды более глубоким анализом мысли. Неполные отчеты часто практически необходимы. Для того чтобы в данном случае подняться над уровнем обычных научных предпосылок, нужно было бы дать не один том, а целую полку томов, что значительно превышает силы автора.

Прибавим к этому, что предметом настоящей книги будет только человеческий интеллект. Несмотря на то, что психическая жизнь низших животных не без успеха исследовалась в последнее время, из-за недостатка места не станем ее здесь анализировать и только иногда будем ссылаться на ее проявления, именно в тех случаях, когда она будет проливать свет на наше исследование.

Психические явления нельзя изучать независимо от физических условий познаваемого мира. Великая ошибка старинной рациональной психологии заключалась в том, что душа представлялась абсолютно духовным существом, одаренным некоторыми исключительно ему принадлежащими духовными способностями, с помощью которых объяснялись различные процессы припоминания, суждения, воображения, хотения и т. д. почти без всякого отношения к тому миру, в котором эти способности проявляют свою деятельность. Но более сведущая в этом вопросе современная наука рассматривает наши внутренние способности как бы заранее приноровленными к свойствам того мира, в котором мы живем; я хочу сказать, так приноровленными, чтобы обеспечить нам безопасность и счастье в окружающей обстановке.

Наши способности к образованию новых привычек, к запоминанию последовательных серий явлений, к отвлечению общих свойств от вещей, к ассоциированию с каждым явлением его обычных следствий представляются для нас как раз руководящим началом в этом мире, и постоянном, и изменчивом в то же время; равным образом наши эмоции и инстинкты также приспособлены к свойствам именно данного мира. По большей части, если известное явление важно для нашего благополучия, оно с первого же раза возбуждает в нас живой интерес. Опасные явления вызывают в нас инстинктивный страх, ядовитые вещи — отвращение, а предметы первой потребности привлекают нас к себе. Короче говоря, мир и ум развивались одновременно и поэтому в некоторых отношениях как бы приспособились друг к другу. Различные виды взаимодействия между мировым порядком и закономерностью душевных явлений, в силу которых могла произойти с течением времени эта существующая в настоящее время гармония отношений, служили предметом многих исследований с точки зрения теории эволюции, которые хотя еще не привели к каким-нибудь окончательным

результатам, однако обогатили этот вопрос новыми идеями и осветили ряд новых проблем. Главным результатом этого нового воззрения было все более и более укрепляющееся убеждение, что развитие душевной жизни есть явление по преимуществу телеологического характера, т. е. что различные виды наших чувств и способы мышления достигли теперешнего состояния благодаря своей полезности для регулирования наших воздействий на внешний мир.

В конце концов немного формул в новейшей психологии оказало более услуг, чем спенсеровское положение, что сущность душевной и телесной жизни заключается в одном и том же, именно в «приспособлении внутренних отношений к внешним». Низшие животные и дети приспосабливаются к находящимся непосредственно перед ними объектам опыта. При более высокой степени умственного развития приспособление распространяется на более отдаленные в пространстве и времени объекты и сопровождается все более и более сложными и точными процессами мысли.

Первичные и основные проявления душевной жизни суть действия, клонящиеся к самосохранению. Па втором плане в душевной жизни играют роль многие другие случайные явления, которые при дурном приспособлении могут привести их обладателя к гибели. Психология в самом широком смысле этого слова должна изучать все проявления душевной деятельности — бесполезные и вредные, наряду с благоприятствующими приспособлению. Но изучение вредоносных явлений душевной жизни, составляющее предмет психиатрии — науки о душевных болезнях, — и изучение безразличных (для приспособления) явлений душевной жизни, составляющее содержание эстетики, не отражены в предлагаемой книге.

Все душевные явления (независимо от их полезности) сопровождаются телесными процессами. Они приводят к едва заметным переменам в дыхании, кровообращении, общей сокращаемости мышц, в деятельности желез и сосудов даже в тех случаях, когда не вызывают никаких заметных движений в мышцах, заведующих произвольными движениями. Не только известные душевные состояния, как, например, волнения, но все вообще психические явления, даже чисто мыслительные процессы и чувствования, по вызываемым ими результатам суть двигатели. При дальнейшем изложении мы выясним это подробнее. Пока примем данное положение за один из основных фактов той науки, в область которой мы вступаем.

Выше мы сказали, что следует изучать условия, определяющие состояния сознания. Таким непосредственным условием служат известные процессы в мозговых полушариях. Это положение подкрепляется таким множеством патологических фактов и до такой степени руководит физиологами в самом основании огромного большинства их суждений, что для человека, знакомого с физиологией, является почти аксиомой. Впрочем, дать сжатое и неопровержимое доказательство безусловной зависимости психических процессов от перемен, происходящих в нервном веществе, было бы трудно. Что известная степень постоянной общей зависимости душевных явлений от телесных существует — этого нельзя отвергать. Достаточно обратить внимание на то, как быстро может быть уничтожено (поскольку мы можем судить) сознание ударом по голове, обильным кровотечением, эпилептическим припадком, приемом большой дозы алкоголя, опиума, эфира или закиси азота (N₂O); или достаточно указать на то, как легко качественно изменить состояние сознания приемом меньшей дозы одного из этих веществ или вызовом лихорадки, для того чтобы увидеть, в какой степени наш дух зависит от случайных состояний тела. Маленькой задержки в желчном протоке, приема слабительного, чашки крепкого кофе в известную минуту достаточно, чтобы временно совершенно изменить взгляды человека на жизнь.

Состояния нашего духа и наши решения более зависят от нашего кровообращения, чем от логических оснований. Будет ли человек в известном случае трусом или героем — зависит от временного состояния его нервов. Во многих случаях помешательства (хотя отнюдь не во всех) были найдены заметные изменения мозговой ткани. Разрушение соответствующих участков мозговых полушарий вызывает потери памяти и двигательной способности вполне определенных порядков. Принимая в соображение указанные факты в совокупности, мы невольно готовы допустить простым и радикальным положением: все душевные процессы являются безусловно функцией мозговой

деятельности, изменяясь параллельно последней и относясь к ней как действие к причине. Это соображение служит рабочей (регулятивной) гипотезой всей физиологической психологии последних лет и будет играть роль такой же гипотезы в настоящем сочинении. Взятая в такой абсолютной форме, она, может быть, утверждает слишком многое, заключая в себе истину лишь отчасти. Но единственный способ удостовериться в ее несостоятельности заключается в ее серьезном приложении ко всякому случаю, какой только попадется. Разработка гипотезы во всей ее широте во многих случаях является единственным средством доказать ее несостоятельность. Я, впрочем, готов утверждать без малейшего колебания с самого начала, что единообразие в соотношениях психических и мозговых процессов составляет закон природы. Детальное истолкование этого закона всего лучше покажет, где трудно и где легко обнаружить его проявления.

Некоторым читателям предлагаемая гипотеза покажется самым неосновательным предвзятым материализмом. В известном смысле это, конечно, материализм: гипотеза наша подчиняет высшее произволу низшего. Но хотя мы и утверждаем, что реализация мысли есть результат механических законов (ибо, согласно другой руководящей гипотезе, именно физиологической, законы мозговой деятельности по существу суть механические законы), мы нимало не объясняем природы мысли, устанавливая зависимость между физическим и психическим, и в последнем смысле наше предположение не есть материализм. Те авторы, которые безусловно настаивают на зависимости наших мыслей от нашего мозга как на неоспоримом факте, нередко являются наиболее настойчивыми сторонниками того мнения, что этот факт необъясним и что коренная сущность сознания никогда не может быть рациональным образом выведена из каких-либо материальных причин.

Без сомнения, нужно поработать нескольким поколениям психологов, чтобы установить с надлежащей точностью гипотезу о зависимости душевных явлений от телесных. До того времени книги, постулирующие ее, будут опираться до некоторой степени на проблематический принцип. Но изучающий психологию должен помнить, что в науках постоянно практикуются подобные рискованные приемы и они обыкновенно прогрессируют зигзагом от одной абсолютной формулы к другой, которая исправляет первую чрезмерным уклонением в противоположную сторону. В настоящее время психология движется в материалистическом направлении, и в интересах ее конечных успехов ей должна быть предоставлена полная свобода двигаться в этом направлении даже теми, которые уверены, что она никогда не достигнет конечной цели, не возвратившись вспять. В одном только нельзя сомневаться: именно в том, что, слившись с философией в ее целом, психологические формулы получают совершенно иное значение сравнительно с тем, какое они имели так долго, изучаясь с точки зрения абстрактной и страдающей неполнотой естественной науки, как бы ни было необходимым и неизбежным изучение психических явлений с такой временно-условной точки зрения.

Подразделения психологии. Итак, нам предстоит изучить по мере возможности состояния в их соотношении с вероятными нервными условиями. В настоящее время окончательно выяснено, что нервная система есть не что иное, как машина, воспринимающая внешние воздействия и целесообразно реагирующая на них для сохранения особи и ее рода. Это не требует разъяснений для читателя, знакомого хотя бы самым поверхностным образом с физиологией.

Анатомически нервная система подразделяется на три главных отдела: 1) нервы, приносящие токи, центростремительные; 2) органы центрального распределения токов; 3) нервы, относящие токи, центробежные.

Что касается функций, то мы имеем ощущение, центральное действие и движение. Психологически мы можем соответствующим образом подразделить сферу нашего анализа согласно аналогичной схеме и последовательно рассматривать три основных сознательных процесса и их условия. Первый класс составляют ощущения; второй — церебрация, или умственные процессы; третий — стремления к действию. При подобном делении неизбежно возникает некоторая неясность, но для такой книги, как наша, это деление практически удобно, и потому мы будем придерживаться его, невзирая на возражения, которые можно выдвинуть против него.

Центростремительные нервные токи суть единственные нормальные агенты, действующие на мозг. Нервные центры человека окружены многими плотными оболочками, которые предохраняют эти центры от непосредственного влияния сил внешней природы. Волосы, толстая черепная кожа, череп и по крайней мере две мозговые оболочки, из которых одна твердая, облекают головной мозг; кроме того, этот орган, как и спинной мозг, погружен в серозную жидкость, в которой он как бы плавает. При таких условиях на мозг могут влиять только следующие факторы: 1) крайне слабые, тупые механические толчки; 2) изменение притока крови, качественное и количественное; 3) нервные токи, пробегающие по так называемым приносящим, или центростремительным, путям. Механические толчки обыкновенно не оказывают никакого действия на мозг; эффекты, вызываемые переменами в кровообращении, обыкновенно бывают преходящи; наоборот, нервные токи производят результаты органического свойства как в момент их прибытия, так и позднее, оставляя незаметные следы в мозговом веществе, которые, как мы полагаем, остаются более или менее постоянными свойствами его структуры, видоизменяя его деятельность на все будущее время.

Каждый приносящий нерв идет от определенной части периферии и раздражается и возбуждается к внутренней деятельности особой внешней силой. Обыкновенно нерв известной природы нечувствителен к воздействиям несоответствующего порядка. Например, зрительные нервы невосприимчивы к колебаниям воздушных волн, кожные — к световым волнам эфира. Язычный нерв не возбуждается ароматическими благовониями, жар не оказывает действия на слуховой нерв. Каждая категория нервов выбирает из колебаний окружающей среды только те, которые соответствуют исключительно ей. В результате наши ощущения образуют прерывистые ряды, отделенные друг от друга громадными промежутками. Нет никаких оснований предполагать, что порядок колебаний во внешнем мире представляет такую же прерывистую серию, как и порядок наших ощущений. Между самым быстрым слышимым движением воздушных волн (самое большое 40 тыс. колебаний в 1 с) и самым медленным движением тепловых волн (быть может, несколько миллиардов колебаний в 1 с) природа должна была где-нибудь осуществить бесчисленное множество последующих звеньев, для восприятия которых мы не имеем соответствующих нервов. Весьма возможно, что процесс, происходящий в нервных волокнах самых различных нервов, тождествен или по крайней мере сходен. Это так называемый ток, но в сетчатке ток пускается в ход одним порядком внешних колебаний, а в ухе — другим порядком. Это обусловлено различием концевых аппаратов, которыми снабжены многие центростремительные нервы.

Совершенно так же, как мы вооружаемся ложкой, чтобы зачерпнуть суп, и вилкой, чтобы взять говядину, нервные волокна вооружаются одним концевым аппаратом для восприятия воздушных волн, другим — для восприятия волн эфира. Концевой аппарат всегда состоит из видоизмененных эпителиальных клеток, представляя с нервными волокнами одно целое. Само нервное волокно непосредственно возбуждается внешним агентом, который сначала воздействует на концевой аппарат. Волокна зрительного нерва не получают впечатления непосредственно от солнечных лучей; можно касаться льдом кожного нервного ствола, не вызывая ощущения холода. Нервы — простые проводники; концевые аппараты — многочисленные несовершенные телефоны, в которые внешний мир говорит и из которых каждый воспринимает только часть сказанного; мозговые клетки у центральных концов нервных волокон представляют такое же число телефонных станций: через них ум воспринимает обращенные к нему издали речи.

Специфические энергии различных частей мозга. Анатомы достаточно точно проследили путь, по которым чувствительные нервные волокна направляются после входа в центральные части вплоть до их окончания в сером веществе мозговых извилин. Ниже мы увидим, что сознательные процессы, сопровождающие раздражение этого серого вещества, изменяются в зависимости от того, какой

участок серой массы мы будем раздражать. Они являются зрительными восприятиями при раздражении затылочных долей и слуховыми — при раздражении верхней части височных долей. Каждый участок мозговой коры отвечает на раздражение, приносимое ему его центроостремительными нервами таким способом, с которым, по-видимому, постоянно связан известный специфический род ощущений. Это то, что было названо законом специфических энергий в нервной системе. Разумеется, мы не можем даже гадательным образом объяснить основание этого закона. Психологи (Льюис, Вундт, Розенталь, Гольдшейдер и другие) много спорили о том, зависит ли качественное различие ощущений только от раздражаемого места в коре или от свойств тока, проводимого нервом. Без сомнения, известный вид внешней силы, постоянно воздействующий на концевой аппарат, постепенно его видоизменяет; известный род возбуждения, полученный от концевого аппарата, видоизменяет нервное волокно, и известный род тока сообщается этим видоизмененным волокном в кортикальный центр и видоизменяет этот центр. В свою очередь видоизменение изменяет получающееся в результате психическое состояние, хотя никто не определит, как это делается и почему. Но эти взаимодействующие видоизменения должны происходить крайне медленно, и, поскольку дело идет о взрослом индивиде, можно с уверенностью сказать, что место, раздражаемое в коре, более чем что-либо другое определяет качество ощущения, которое оно будет испытывать. Будем ли мы давить на сетчатку, колоть, резать, щипать или раздражать электричеством живой зрительный нерв, испытываемый всегда будет ощущать потоки света, так как конечный результат наших экспериментов — раздражение затылочной доли коры.

Таким образом, наши обычные способы ощущать внешние объекты зависят от того, с какими частями мозга связаны определенные концевые аппараты, на которые падает внешнее раздражение. Мы видим солнечное сияние и огонь потому только, что единственный концевой аппарат, способный воспринимать колебания эфирных волн, излучаемых этими предметами, возбуждает те именно нервные волокна, которые ведут к зрительным центрам. Если бы мы могли произвести обмен во внутренних отношениях мозговых элементов, то внешний мир предстал бы перед нами в совершенно новом свете. Если бы можно было, например, сростить внешний конец зрительного нерва с ухом, а внешний конец слухового нерва с глазом, то мы слышали бы молнию и видели гром, мы видели бы симфонию и слышали движение палочки дирижера. Подобные гипотезы могут служить хорошей школой для не посвященных в идеалистическую философию.

Отличия ощущения от восприятия. Строго говоря, нельзя определить, что такое ощущение; в обыденной жизни сознания ощущения, как их обыкновенно называют, и восприятия незаметно переходят одни в другие. Мы можем только сказать, что под ощущением мы разумеем первичные элементы сознания. Они суть непосредственно сознательные результаты проникновения нервных токов в мозг, прежде чем последние успели вызвать ассоциации или воспоминания, почерпнутые из более раннего опыта. Но, очевидно, такие непосредственные ощущения можно испытывать лишь в самые ранние дни сознательной жизни. Для взрослых же с развитой памятью и приобретенным запасом ассоциаций они совершенно невозможны. До получения впечатления через органы чувств мозг погружен в глубокий сон и сознание в сущности отсутствует. Даже первую педелю после рождения дети проводят почти в непрерывном сне. Нужен весьма значительный импульс со стороны органов чувств, чтобы прервать эту дремоту. В мозгу новорожденного этот импульс вызывает абсолютно чистое ощущение. Но опыт оставляет едва заметные следы в мозговом веществе, и последующие впечатления, пересылаемые органами чувств, вызывают в мозгу реакцию, в которой пробужденный след предшествующего впечатления играет свою роль. В результате получается новый вид ощущения и высшая ступень познания. Идеи о предмете смешиваются с простым сознанием его наличности для ощущений; мы называем его, классифицируем, сравниваем с другими, составляем о нем суждения, и таким путем осложнение возможного материала сознания, который может быть доставлен усиливающимся потоком внешних впечатлений, все более и более возрастает до конца жизни. Вообще более высокого порядка сознание объектов и называется восприятием, нерасчлененное же (неясное) сознание их наличности составляет ощущение, поскольку мы таковое

вообще можем иметь. В те минуты, когда наше внимание совершенно рассеяно, мы, по-видимому, способны до некоторой степени впадать в поток бессвязных ощущений.

В ощущениях есть способность к познанию. Иначе говоря, ощущение в чистом виде есть абстракция; в опыте само по себе оно редко реализуется, и объект, воспринимаемый чистым ощущением, есть объект абстрактный: он не может существовать совершенно обособленным. Чувственные качества суть объекты ощущения. Ощущения глаза сознают цвета объектов, ощущения уха — звуки, ощущения кожи — тяжесть, остроту, тепло и холод. От всех органов нашего тела могут пробегать нервные токи, сообщающие нам о качестве боли и до некоторой степени о качестве удовольствия.

Ощущения липкости, шероховатости и т. д. возникли, как полагают, из взаимодействия осязательных и мышечных ощущений. В то же время геометрические характеристики предметов — их размер, величина, расстояние между ними и т. д. (поскольку мы их отождествляем и различаем) большинством психологов признаются невозможными без припоминания прежних опытов; познание этих свойств, по мнению ученых, превышает силы чистого, непосредственного ощущения.

Познание чего-нибудь и познание о чем-нибудь. С такой точки зрения ощущение отличается от восприятия только крайней простотой своего объекта или содержания. Объект ощущения, будучи простым качеством, заметно однороден, его функция, таким образом, сводится к простому познанию факта, кажущегося однородным. Функция же восприятия есть уже некоторое познание о факте. Но в последнем случае мы все время должны знать, что за факт мы имеем в виду, и разнообразный материал этих «что» нам доставляют ощущения. В самом раннем периоде жизни наши мысли бывают почти исключительно конкретного характера. Они сообщают нам массу «что», «то», «это». По словам Кондильяка, видя в первый раз свет, мы сами «составляем» этот свет скорее, чем видим его. Но все чаще позднейшее зрительное познание опирается на опыт. Если бы тотчас после него мы вдруг ослепли, наши сведения об этом не утратили бы существенных черт, пока мы сохраняли бы об этом воспоминание. В школах для слепых сообщается столько же сведений о свете, как и в других школах. Изучаются и отражение, и преломление, и спектр, и гипотеза эфира и т. п. Но самый лучший воспитанник такого заведения (слепорожденный) имеет в знании пробелы, которых нет у самого невежественного зрячего ребенка. Зрячий никогда не объяснит слепому, что такое свет вообще, и потеря известной сферы ощущений не вознаграждается никакой школьной выучкой. Все это до того очевидно, что мы видим ощущение «постулируемым» в качестве опытного элемента даже теми философами, которые всего менее склонны придавать ему большое значение и ценить доставляемое им знание.

Отличие ощущений от продуктов воображения. И ощущение, и восприятие при всем различии между ними сходны в том, что их объекты воспринимаются ярко, живо, предстоят воочию. Наоборот, объекты только мыслимые, припоминаемые или воображаемые относительно бледны и лишены той колоритности, того свойства реальной наличности, которым обладают объекты ощущения. Процессы в мозговой коре, с которыми связаны ощущения, зависят от центростремительных токов, притекающих от периферии; для получения ощущения нужно, чтобы внешний объект подействовал в качестве раздражителя на глаз, ухо и т. д. Те же процессы в мозговой коре, с которыми связаны простые воспроизведенные представления, по всей вероятности, зависят от нервных токов, притекающих от других мозговых извилин. Таким образом, можно думать, что нервные токи, идущие от периферии, при нормальных условиях вызывают род деятельности мозга, который не могут вызвать токи, идущие от других извилин мозга. С этим родом деятельности, представляющим, быть может, более глубокую степень дезинтеграции, по-видимому, связаны качества живости и объективной реальности воспринимаемого сознанием предмета.

Объективность предметов ощущения. Всякая вещь или качество ощущается во внешнем пространстве. Невозможно представить блеск или цвет иначе, как протяженным и находящимся вне нашего тела. Звуки также слышны в пространстве, прикосновение происходит на поверхности тела, боль чувствуется непременно в каком-нибудь органе. В психологии было распространено мнение, будто

чувствительные качества воспринимаются первоначально в самом уме, а затем уже проектируются из него интеллектуальным или сверхчувствительным актом ума. В пользу этого мнения нельзя привести никаких оснований. Единственные факты, которые могли бы, вероятно, свидетельствовать в его пользу, объясняются, как мы увидим ниже, гораздо лучше иным путем. Первое ощущение, получаемое ребенком, уже есть для него внешний мир. В смутном пробуждении к сознанию чего-то «вот этого» (или чего-нибудь такого, для чего даже термин «это» слишком определенный и познание чего лучше охарактеризовать простым междометием «во!») ребенок встречает объект, в котором (хотя бы это было простое ощущение) уже заключаются все «категории рассудка». В воспринимаемом предмете есть объективный внешний характер, субстанциональность, причинность в том же смысле слова, в каком эти категории заключены в любом объекте или системе объектов для более взрослого человека. Юное существо радостно встречает свой мир, и чудо познания возникает разом, по словам Вольтера, и в низшем ощущении ребенка, и в величайших замыслах Ньютонова мозга.

Физиологическим условием первого чувственного опыта, вероятно служит одновременно стечение множества нервных токов от разных периферических органов, но множественность органических условий не мешает сознанию быть единым. Ниже мы увидим, что сознание может быть единым, несмотря на наличность многих объектов познания сразу и на зависимость от одновременной деятельности многочисленных органов. Объект, доставляемый сознанием ребенка многочисленными приносящими токами, сливается в одну пеструю, шумную хаотическую смесь. Эта смесь составляет мир ребенка. Для большинства из нас мир является такой же смесью, потенциальным образом разложимой и подлежащей разложению на части, но на самом деле еще не разложенной. Он всецело есть нечто, занимающее пространство. Поскольку он является для нас не проанализированным и не разложенным на части, можно сказать, что мы познаем его чувственным образом; но как только мы различили в нем составные элементы и начинаем сознавать отношения между ними, наше знание становится восприятием и даже отвлечением и как таковое не будет рассматриваться нами в настоящей главе.

Интенсивность ощущений. Свет может быть так тускл, что не рассеет заметным образом мрака, звук — так глух, что не слышен, прикосновение — так слабо, что мы не почувствуем его. Другими словами, нужно определенной величины раздражение, чтобы вызвать сколько-нибудь заметное ощущение. Это фехнеровский закон порога: раздражение должно перейти известную конечную границу, прежде чем объект станет доступен сознанию. Раздражение, чуть-чуть превышающее порог, называется *minimum visible, audible etc.* (едва различимое). Если мы начиная от порога будем постепенно увеличивать раздражение, то и ощущение будет возрастать, хотя и медленнее, пока, наконец, не дойдет до высшей точки, за которой его интенсивность уже не возрастает, несмотря ни на какое увеличение раздражения. Обыкновенно уже раньше достижения высшей точки к специфическому характеру ощущения начинает примешиваться боль. Это можно ясно наблюдать при сильном давлении, большом жаре или холоде, ярком свете и громком звуке; с меньшей определенностью — при вкусовых и обонятельных ощущениях только вследствие того, что здесь труднее увеличивать раздражение. По все последние ощущения, даже самые неприятные при значительной интенсивности, в самой слабой степени скорее приятны, чем неприятны. Чуть-чуть горьковатый вкус или легкий запах гнили могут представлять по крайней мере что-то интересное.

Закон Вебера. Я сказал что интенсивность ощущения возрастает медленнее, чем вызывающее его раздражение. Если бы не было вовсе порога и если бы каждый равный прирост раздражения вызывал равный прирост в интенсивности ощущения, то простая прямая линия, а не кривая могла служить графическим изображением отношений между этими двумя величинами. Пусть горизонтальная линия (рис. 1) служит шкалой для интенсивности раздражения: при 0 пусть всякая интенсивность раздражения отсутствует, при 1 = единице и т. д. Пусть перпендикуляры восстановленные из точек деления 1, 2, 3 на шкале до пересечения с наклонной, означают соответствующие степени ощущения.

Рис. 1

При 0 не будет никакого ощущения; при 1 ощущение будет выражаться линией $S_1 - 1$, при 2 — линией $S_2 - 2$ и т. д. Линия S_1, S_2, S_3 будет возрастать равномерно, ибо, согласно нашей гипотезе, вертикальные линии (ощущения) возрастают прямо пропорционально горизонтальной (раздражения). Но в природе, как мы уже сказали, ощущение возрастает медленнее раздражения. Если каждый шаг вперед в горизонтальном направлении равен предшествующему, то каждый шаг по вертикальному направлению вверх должен быть несколько короче предыдущего — и линия ощущений будет выгнутой кривой.

Рис. 2

Рис. 2 соответствует порядку вещей в природе. 0 означает пункт, где раздражение отсутствует, и сознательное ощущение, означаемое кривой, начинается лишь по достижении раздражением порога в пункте 3. С этого пункта ощущение все более и более возрастает, но с каждым шагом все медленнее и медленнее, пока, наконец, не достигнута высшая точка — когда кривая приближается к прямой. Точная формулировка закона отставания ощущения от раздражения приписывается Веберу, ибо он первым открыл его при определении тяжести. Я приведу сделанную Вундтом характеристику этого закона и фактов, на которые он опирается: «Всякий знает, что в тихую ночь мы замечаем звуки, ускользающие от нашего внимания при дневном шуме. Еле слышное гиканье часов, шум ветра в дымовой трубе, легкий скрип стульев в комнате и тысячи других едва заметных звуков достигают в то время нашего слуха. Всем также хорошо известно, что среди шумной уличной суеты или среди железнодорожной суматохи мы не только иногда не слышим того, что нам говорит сосед, но и не можем различить звуков собственного голоса. Звезды, кажущиеся наиболее яркими ночью, днем невидимы; и хотя луна видна в дневное время, она кажется гораздо более бледной, чем ночью. Всякий, кому случалось переносить тяжести, знает, что, прибавив к фунту тяжести в руке другой фунт, он сейчас же почувствует разницу, между тем как прибавка одного фунта к 100 фунтам совершенно неощутима...

Бой часов, свет звезд, давление тяжестей служат раздражениями для наших чувств, и притом раздражениями, интенсивность которых остается постоянной. Чему же научают нас приведенные выше опыты? Очевидно, тому, что одно и то же раздражение, смотря по обстановке, в которой ему приходится воздействовать на нас, будет ощущаться то интенсивнее, то слабее, а то и вовсе не будет ощущаться. Какого же рода должно быть изменение в окружающей обстановке, чтобы изменилась интенсивность ощущения? При внимательном наблюдении мы замечаем, что это изменение всегда бывает одного и того же характера. Тиканье часов представляет для нашего уха слабое раздражение, которое, взятое в отдельности, мы воспринимаем ясно, но не слышим наряду с сильными раздражениями в виде грохота колес и других дневных шумов. Блеск звезды служит раздражением для глаза. Но это раздражение вместе с сильным раздражением дневного света становится неощутимым, хотя мы ясно различаем его наряду с еще более слабым светом сумерек. Тяжесть представляет раздражение для кожи, мы его ощущаем, когда оно присоединяется к равному предшествующему раздражению, но оно становится неощутимым наряду с раздражением в 1000 раз большим... Поэтому мы можем выставить общее правило: чтобы раздражение было ощутимым, оно должно быть тем меньше, чем предшествующее раздражение было слабее, и тем большим, чем предшествующее раздражение было сильнее. Простейшим примером отношения служила бы, конечно, прямая пропорциональность ощущения раздражению. Но в таком случае свет звезд, например, сообщал бы одинаковый придаток света и дневному свету, и мраку ночного неба, а этого, как известно, нет на самом деле. Отсюда ясно, что интенсивность ощущения возрастает не прямо пропорционально раздражению, а гораздо медленнее. Возникает вопрос: в какой пропорции ощущение отстает от

раздражения по мере возрастания последнего? Чтобы ответить на этот вопрос, обыденный опыт недостаточен. Нам нужны для этого точные мерилы как для различных степеней раздражения, так и для интенсивности самих ощущений.

Впрочем, и обыденный опыт дает некоторые указания на то, как производить такие измерения. Мы видели, что измерить силу ощущения невозможно; мы можем лишь определить разницу между ощущениями. Но все эти опыты выражались в одном факте, именно в том, что та же разница в раздражении в одном случае могла ощущаться, а в другом нет: прибавка фунта к фунту ощущалась, а прибавка того же фунта к 100 фунтам оставалась незаметной. Опыт показал нам, что одинаковая разница в раздражениях может вызывать совершенно неодинаковую разницу в ощущениях. Всего скорее мы достигнем результата, если возьмем произвольной величины раздражение, заметим, какое оно вызывает ощущение, и посмотрим, насколько мы можем увеличить раздражение, не вызывая заметной перемены в интенсивности ощущения. Если мы будем производить такие наблюдения с раздражениями произвольно взятой величины, мы будем вынуждены изменять величину и того придатка к раздражению, который способен вызвать едва заметную разницу в ощущении. Свет не должен быть ярким, как сияние звезд, чтобы быть только-только заметным в сумерки; он должен быть гораздо сильнее, чтобы быть едва заметным днем. Если мы теперь произведем наблюдения над раздражениями самой различной интенсивности и отметим для каждой степени раздражения величину прибавки, необходимой для получения наименьшей разницы в ощущении, то мы получим ряд чисел, выражающих закон, согласно которому ощущение изменяется при возрастании раздражения».

Согласно этому методу особенно легко вести наблюдения за ощущениями света, звука и давления. В последнем случае «мы находим, — пишет Вундт далее, — удивительно простой результат: наименьший прирост в раздражении к первоначальной тяжести должен находиться постоянно в том же отношении к ней, быть той же дробью ее, независимо от абсолютной величины тяжести, над которой производится эксперимент. Как среднее число из целого ряда экспериментов, эта дробь оказалась равной $\frac{1}{3}$ т. е. независимо от того, какое давление уже произведено на кожу, прирост или уменьшение давления будет ощутимо, если прирост или вычет будет равняться примерно $\frac{1}{3}$ первоначальной тяжести».

Затем Вундт описывает, как можно наблюдать разницу в ощущениях мышечных, тепловых, световых и звуковых. Эти замечания он заключает следующими словами: «Итак, мы нашли, что все ощущения, для которых мы можем точно измерить соответствующие раздражения, подчинены однородному закону. Как бы ни были разнообразны многие особенности в его формулировке, основание его остается верным во всех случаях: прирост раздражения, необходимый для наименьшего прироста ощущения, находится в постоянном отношении к общей величине раздражения. Числа, выражающие это отношение, для ощущений световых — $\frac{1}{100}$, мышечных — $\frac{1}{17}$, звуковых, термических и давления — $\frac{1}{3}$.

Эти числа далеки от желательной точности, но они могут дать общее понятие об относительной способности различения в разных ощущениях. Важный закон, определяющий в такой простой форме отношение ощущения к вызывающему его раздражению, был открыт впервые физиологом Вебером в применении к частным случаям» («Vorlesungen über Menschen und Thierseele»).

Закон Фехнера. Иначе формулу Вебера можно выразить следующим образом: для получения равных приростов в ощущении нужно прибавлять относительно равные приросты к раздражению. Фехнер (в Лейпциге) основал на законе Вебера теорию количественного измерения ощущений, по поводу которой было немало оживленных метафизических споров. По мнению Фехнера, мы можем при возрастании раздражения принять за единицу ощущения каждый едва заметный новый прирост в ощущении и рассматривать все эти единицы как равные, невзирая на то, что объективно едва заметные приросты в ощущении никоим образом не кажутся, когда их воспринимаешь, равными между собой. Многие фунты, составляющие едва ощутимый прирост к 100-фунтовой тяжести, кажутся большим количеством, если их прибавить к этим 100 фунтам, чем несколько унций, которые

составляют едва ощутимую прибавку к фунту. Фехнер упустил этот факт из виду. Он рассматривал дело так, как будто при n раздельно ощущаемых придатках в ощущении, полученных путем постепенного увеличения раздражения, начиная от порога и кончая интенсивностью S , эта интенсивность S состояла из n единиц, совершенно равных на всем протяжении шкалы. Другими словами, приняв S за ощущение вообще, d — за едва ощутимый прирост, мы получим уравнение $dS = \text{const}$. Прирост раздражения, вызывающего dS (назовем его dR), между тем изменяется. Фехнер называет его «разностным порогом», и так как его отношение к R постоянно, то мы имеем уравнение $dR/R = \text{const}$.

Как только представилась возможность выражать ощущения в числах, так, по словам Фехнера, психология получила возможность стать точной наукой, поддающейся математическому анализу. Его общая формула для получения числа единиц, заключающихся в данном ощущении, выражается $S = C \log R$, где S есть ощущение, R — количественно выраженное раздражение, C — постоянная величина, которую нужно определить особым опытом для каждого специфического порядка ощущений.

Ощущение пропорционально логарифму раздражения; абсолютная величина любого ряда ощущений в единицах могла бы быть получена с помощью ординат кривой на рис. 2, если бы это была правильно начерченная логарифмическая кривая с порогом, точно определенным из опыта.

Психофизическая формула Фехнера, как он назвал ее, критиковалась со всех сторон, и так как на практике решительно ничего из критики не получилось, то мы не будем более упоминать о ней.

Главная заслуга Фехнера в том, что он представил экспериментальное подтверждение справедливости веберовского закона (который имеет дело лишь с едва ощутимыми разностями и ничего не говорит об измерении целого ощущения) и выдвинул на первый план вопрос о статистических методах. Закон Вебера, как это мы увидим, анализируя различные классы ощущений, верен лишь отчасти.

Вопрос о статистических методах необходимо было затронуть вследствие необыкновенных колебаний нашей чувствительности между двумя данными моментами. Так, было найдено, что, когда разница между двумя ощущениями достигает крайнего предела различимости, мы в один момент различаем их, в другой — нет. Если не принять во внимание большого числа оценок, то невозможно определить едва ощутимый прирост ощущения вследствие непрерывных случайных внутренних изменений, происходящих в нас. Эти случайные ошибки могут одинаково и увеличивать, и уменьшать получаемые из опыта показания о степени нашей чувствительности; они сглаживаются средним числом, ибо числа, стоящие выше и ниже средней нормы, в сумме уравнивают друг друга, и, таким образом, определяется нормальная чувствительность, если таковая существует, т. е. если чувствительность находится в зависимости не от случайных, а от постоянных величин.

Все методы нахождения средних имеют свои трудности и западни и являются в настоящее время предметом весьма утонченных споров. Примером того, какого труда требуют некоторые статистические методы и как терпеливы немецкие исследователи, может быть тот факт, что Фехнер, проверяя закон Вебера для ощущений давления с помощью так называемого метода верных и ложных случаев, занес в таблицы и вычислил до 24 576 отдельных выкладок.

Ощущения не суть нечто сложное. Основным возражением против попытки Фехнера, по-видимому, должно быть то, что любая различимая степень и любое различимое количество самого ощущения — это нераздельный факт сознания, хотя внешние причины наших ощущений и состоят из многих частей. Каждое ощущение есть непрерывное целое. «Сильное ощущение, — говорит Мюнстерберг, — не есть составное из слабых, но скорее нечто совершенно новое и как бы несравнимое, так что искать измеримой разницы между сильным и слабым звуковым, световым или термическим ощущениями на первый взгляд может показаться столь же бессмысленным, как пытаться математически определять разницу между соленым и кислым или между головной болью и зубной болью. Отсюда ясно; если в более сильном ощущении более слабое не заключается, то непсихологично говорить, будто первое отличается от второго некоторым приростом» (Beiträge zur exp. Psychologie).

Действительно, наше ощущение ярко-красного цвета не есть ощущение красноватого цвета с придатком еще красноватого: это есть нечто качественно отличное от красноватого. Точно так же в

нашем ощущении света электрической дуги не заключается света многого множества дымящих сальных свечей. Каждое ощущение представляет само по себе некоторую неделимую единицу, и решительно нельзя видеть никакого ясного смысла в заявлении, что ощущения суть массы скомбинированных единиц. Этот вывод несколько не противоречит тому факту, что, исходя из слабого ощущения и постепенно усиливая его, мы чувствуем, как оно возрастает все более, более и более. Здесь не то, чтобы увеличивалось количество однородного материала, наоборот: здесь все более и более увеличивается различие, расстояние между данным ощущением и тем, которое мы приняли за исходную точку. В главе «Различение» мы увидим, что разница может быть замечена даже между простейшими ощущениями. Мы увидим также, что самые различия неодинаковы, что есть разные порядки различий и в любом из этих порядков серия объектов может быть расположена в виде постепенно возрастающего ряда. В любой из подобных серий первое звено более отличается от последнего, чем от среднего. Разница в интенсивности образует один из таких порядков возможного возрастания различия, поэтому наши суждения об усилении интенсивности не нуждаются в гипотезе сложения однородных единиц для образования возрастающей суммы.

Так называемый закон относительности. По-видимому, закон Вебера — только частный случай более широкого закона, который заключается в том, что мы способны подметить тем менее подробностей в данном восприятии, чем более объектов составляют предмет нашего внимания. При качественно разнородных объектах этот закон неоспорим: как легко мы забываем о телесном недуге, когда оживленно беседуем; как мало замечаем шум в комнате, когда внимание наше поглощено работой! *Ad plura intentus minus est ad singula sensus* (множественное рассеивает внимание, единичное — сосредоточивает его), как говорит старинное изречение. К этому можно было бы прибавить, что однородность объектов внимания не изменяет результатов, но что ум, воспринимая два сильных однородных ощущения, вследствие значительной интенсивности их уже лишен возможности обнаружить то различие между ними, которое сразу бы обратило на себя внимание, если бы эти ощущения были более слабыми и потому не столь рассеивали наше внимание.

Не будем настаивать на безусловной верности этого соображения. Пока можем принять за несомненный общий факт, что психический эффект, вызываемый нервными центроостремительными токами, зависит от других одновременно действующих центроостремительных токов. Посторонние токи изменяют не только восприимчивость к данному объекту, «приносимому» в сознание нервным током, но и его качество. Одновременные (равным образом и последовательные, но я рассматриваю только одновременные удобства ради) ощущения влияют друг на друга — вот краткое выражение этого закона. «Мы чувствуем каждую вещь в отношении к другой» — вот более туманная формула Вундта для этого общего закона относительности, который в той или иной форме был в ходу у психологов со времени Гоббса. Закону слишком часто придавали какое-то таинственное значение, и хотя нам, разумеется, неизвестна детальная сторона процессов, связанных с этим законом, тем не менее нельзя сомневаться в их физиологическом характере, в том, что они есть результат взаимодействия нервных токов. Весьма естественно, что такое взаимодействие токов может вызывать изменение в ощущении.

Нетрудно указать примеры подобного изменения. Одна нота делает приятнее другую в аккорде, цвета — в гармонических сочетаниях. При погружении некоторой части кожной поверхности в горячую воду получается ощущение жара. При погружении же большей части ее ощущение жара усиливается, хотя, разумеется, температура воды остается та же. Подобным же образом есть хроматический минимум в размерах зрительных объектов. Изображение, отбрасываемое ими на сетчатку, должно возбуждать к деятельности известное число нервных волокон, в противном случае не получится никакого цветового ощущения. Вебер заметил, что положенный на лоб талер кажется тяжелее, если он холоден, и легче, если он тепел. Урбанчик нашел, что все наши органы чувств взаимно влияют на вызываемые ими ощущения. Оттенки цветowych пятен, расположенных на таком расстоянии от испытуемого, что их невозможно было различить, он узнал сразу, как только у его уха зазвучал камертон. То же повторилось в опыте с чтением букв на большом расстоянии: при звуке камертона буквы стали

видимы. Самым обыкновенным примером этого явления может, по-видимому, служить усиление боли при шуме или свете и усиление тошноты при других сопутствующих ощущениях.

Эффекты контраста. Наиболее известными примерами того способа, с помощью которого нервные токи влияют друг на друга, могут быть явления так называемого одновременного цветового контраста. Возьмите несколько листов бумаги, окрашенной в различные яркие цвета; положите на каждый из них по одной полоске серой бумаги одинакового цвета, затем прикройте каждый листок прозрачной белой бумагой, которая делает более мягкими и серый цвет, и цветной фон. На каждом листке серая полоска будет окрашена дополнительно к цвету фона, и серые полоски будут казаться столь непохожими друг на друга по цвету, что никто не признает в них кусочков одной и той же бумаги, пока не приподнимет прозрачную белую покрывку. По мнению Гельмгольца, это явление обусловлено застарелой привычкой — принимать в соображение окраску среды, через которую мы видим предметы. Та же вещь при голубом свете ясного неба, и при красновато-желтом свете свечи, и при темно-коричневом свете отражающего ее изображение полированного стола из красного дерева всегда представляется того же присущего ей цвета, который примысливается к явлению умом на основании прежних опытов, и таким путем ложное влияние среды исправляется. В приведенном выше опыте, по мнению Гельмгольца, нашему духу кажется, что цвет фона, покрытого белой бумагой, расположен над серой полоской. Но для того чтобы полоска показалась серой сквозь такую цветную покрывку, нужно, чтобы она действительно была дополнительного по отношению к покрывке цвета. Следовательно, думаем мы, она и есть в действительности дополнительного цвета.

Геринг показал, что теория Гельмгольца несостоятельна. Здесь не место приводить слишком подробный анализ этого вопроса; достаточно заметить, что факты говорят в пользу того, что это явление физиологическое — один из тех случаев, когда чувствительные нервные токи, взаимодействуя, производят на сознание иной эффект, чем если бы каждый действовал отдельно. Последовательный контраст отличается от одновременного, причиной которого считают утомление. Сюда относятся факты, приводимые в теории зрения под названием «зрительные следы». Впрочем, необходимо иметь в виду, что зрительные следы от прежних ощущений могут сосуществовать с настоящими ощущениями и обе разновидности могут видоизменять друг друга совершенно так же, как сосуществующие ощущения.

Явления контраста наблюдаются и в других ощущениях, но гораздо менее ясно, ввиду чего я не буду говорить о них. <...>

Глава X

Привычка

Важное ее значение в психологии. Нам остается рассмотреть столь важное общее условие нервной деятельности, что ему следует посвятить особую главу. Речь идет о способности нервных центров, в особенности полушарий, к приобретению привычек. С физиологической точки зрения приобретенная привычка есть не что иное, как образование в мозгу нового пути разряда, по которому известные приносящие нервные токи стремятся всегда впоследствии уходить. Это положение — основная тема настоящей главы; в дальнейших главах, с преобладанием психологического содержания, мы увидим, что такие психические функции, как ассоциации идеи, восприятие, память, мышление, воспитание воли и т. д., лучше всего можно объяснить как результаты образования именно новых путей разряда. В основании привычки лежит физический закон. Если мы попытаемся определить, что такое привычка, то увидим, что она представляет нечто, связанное с фундаментальными свойствами материи. Законы природы суть не что иное, как неизменные привычки, которым следуют, воздействуя друг на друга, различные основные виды материи. Впрочем, в организованном мире привычки отличаются гораздо большим разнообразием. Даже инстинкты проявляются у различных индивидов в различной форме и, как мы увидим ниже, изменяются у того же индивида в отдельных случаях. <...> Когда в строении тела произошло некоторое изменение, прежняя инертность тела

становится условием его относительного постоянства в новой форме, и тогда тело начинает проявлять новые привычки. Следовательно, под пластичностью тела в широком смысле слова следует разуметь обладание строением, поддающимся влиянию внешних причин, но поддающимся этому влиянию не сразу. В теле с таким строением каждая относительно уступчивая фаза равновесия характеризуется тем, что мы называем новым комплексом привычек. Органическое вещество, в особенности нервная ткань, по-видимому, в сильной степени одарено такого рода пластичностью, так что мы можем не колеблясь выставить в качестве первого положения следующее: явления привычки в одушевленных существах обусловлены пластичностью органических веществ, входящих в состав их тел.

Итак, философский анализ привычки представляет на первых порах скорее отдел физики, чем физиологии или психологии. Все наиболее выдающиеся исследователи этого вопроса согласны в том, что в основании привычки лежит физический закон. Иные из них проводят аналогию между приобретенными привычками и некоторыми свойствами неорганизованного вещества. Вот что пишет по поводу этого Дюмон: «Всякий знает, что поношенное платье теснее прилегает к телу, чем когда оно с иголки: от носки в ткани произошли изменения, которые образовали новую «привычку» сцепления. Новый замок действует хуже, чем побывавший в употреблении: в новом нужно не без усилия преодолеть некоторую грубоватость механизма. Это преодоление сопротивления есть приучение. Легче свернуть лист бумаги, который уже был свернут. Совершенно так же и в нервной системе впечатления от внешних объектов прокладывают для себя все более и более удобные пути, и эти жизненные процессы, будучи на некоторое время прерваны, снова возникают, как только имеются аналогичные внешние раздражения».

Но это наблюдается не на одной только нервной системе. Рубец на любом месте представляет *locus minoris resistentiae* (место наименьшего сопротивления), его скорее натрешь, он воспаляется, более чувствителен к холоду и жаре, чем соседние части кожи. Раз вывихнутая рука или лодыжка всегда рискует снова быть вывихнутой; связки, которые хоть раз были поражены ревматизмом или подагрой, слизистая оболочка, бывшая однажды местом катарального страдания, становятся все более и более восприимчивыми к болезненному процессу, пока, наконец, болезненное состояние не перейдет в хроническое.

Хорошо известно, как много так называемых функциональных расстройств в нервной системе, по-видимому, все более и более укореняется единственно потому, что они однажды возникли, и как часто бывает достаточно энергичных мер, принятых врачом против первых припадков болезни, чтобы придать физиологическим процессам достаточно сил для восстановления нормальных функций органа. Так бывает при эпилепсиях, невралгиях, всевозможных судорожных припадках, бессоннице и т. д.

На укоренении привычек ясно можно видеть разницу между безучастным наблюдением возрастающей вредной склонности и успешным лечением жертв вредных увлечений. Лечение, проводимое путем отлучения, показывает, в какой степени болезненные явления обуславливались простой инертностью нервных органов, после того как функции стали отправляться неправильно.

Привычки обусловлены образованием путей через нервные центры. Если привычки обусловлены пластичностью, восприимчивостью нервного вещества к внешним впечатлениям, то легко определить, каковы должны быть эти впечатления. Ни к механическому давлению, ни к переменам температуры, ни к каким бы то ни было силам, воздействующим на другие органы тела, нервная система не восприимчива, ибо, как мы видели на с. 24, природа как обернула и прикрыла мозг со всех сторон оболочками, что на него влияют только приток крови да впечатления, воспринимаемые окончаниями чувствительных нервов; через последние в мозг проникает бесконечное множество чрезвычайно слабых токов, к которым полушария особенно чувствительны. Нервный ток, проникнув в мозг, ищет выход и оставляет на своем пути след. Короче говоря, нервные токи могут только углублять прежние пути или пролагать новые, а пластичность мозга выражается лишь в том, что он представляет собой орган, в котором токи, проникая от органов чувств, с чрезвычайной легкостью оставляют долго не

изглаживающиеся следы. Ибо, конечно, простая привычка, как и всякий другой нервный процесс, например привычка говорить в нос, или класть руки в карманы, или грызть ногти, в качестве автоматического акта есть не что иное, как рефлекторный разряд, анатомическим субстратом которого является известный путь в нервной системе.

Ниже мы сможем убедиться, что и самые сложные привычки, с этой точки зрения, являются простой цепью разрядов в нервных центрах, цепью, образующейся благодаря существованию в них системы рефлекторных путей, которые так устроены, что рефлекс последовательно передается от одного пути к другому, причем впечатление, вызванное одним сокращением мышц, служит стимулом для другого сокращения, пока, наконец, последнее впечатление не замкнет цепи.

Необходимо заметить, что изменения в строении живой материи совершаются скорее, чем в строении неорганизованного вещества, потому что постоянное обновление вещества при питании, заменяя прежнюю ткань с воспринятыми впечатлениями новой, скорее способствует закреплению воспринятых мозгом изменений, чем противодействует им. Например, после упражнения наших мышц или мозга в каком-нибудь новом направлении мы чувствуем себя не в силах продолжать в том же направлении, но через день или два, опять принявшись за непривычную работу, нередко удивляемся собственным успехам.

Запоминая мелодии, я нередко наблюдал на себе это психическое явление; оно побудило одного немецкого автора сказать, что зимой мы учимся плавать, а летом — кататься на коньках.

Практическое значение привычки. Во-первых, привычка упрощает наши движения, делает их более точными и уменьшает вызываемую ими усталость. Человек с рождения стремится производить такое количество действий, для которого у него не хватает готовых приспособлений в нервных центрах. У других животных большая часть действий от рождения автоматична. Но у взрослого человека автоматических приспособлений такая масса, что основная часть их должна была быть выработана путем тяжелого труда. Если бы наши действия от упражнения не совершенствовались, а привычка не сокращала расхода нервной и мышечной энергии, то положение человека было бы весьма печальным. Вот что говорит по этому поводу Маудсли: «Если бы действия не становились легче при повторении, если бы при каждом повторении того же действия нужно было снова и снова тщательное руководство сознания, то, очевидно, никакой прогресс в развитии не был бы возможен и вся наша житейская деятельность ограничивалась одним-двумя актами.

При таких условиях человек мог бы по целым дням одеваться и раздеваться, сосредоточивать на туалете все внимание и энергию; вымыть руки или застегнуть пуговицу ему в каждом отдельном случае было бы так же трудно, как ребенку бывает трудно сделать это в первый раз. В конце концов он был бы измучен рядом бессильных попыток. Подумайте о том труде, с каким учат ребенка держаться на ногах, о тех усилиях, которые ему на первых порах приходится для этого делать, и о той легкости, с какой он может затем стоять, не чувствуя никаких усилий. Ибо, между тем как вторично автоматические акты сопровождаются сравнительно небольшим утомлением, приближаясь в этом отношении к органическим или к первично автоматическим движениям, сознательные усилия воли быстро утомляют нас. Спинной мозг... без памяти был бы спинным мозгом идиота. Для человека становится ясным, сколь многим он обязан автоматической деятельности организма только тогда, когда болезнь подорвет функции последней» («The Physiology of Mind»). Привычка уменьшает сознательное внимание, с которым совершаются наши действия. Это можно схематически представить так: если для выполнения действия нужен последовательный ряд нервных процессов — А, Б, С, D, E, F и т. д., то, выполняя такое действие впервые, сознательная воля должна выбирать каждый элемент этого действия из известного числа неподходящих альтернатив, какие ей представляются; но при повторном действии привычка заставляет каждый элемент в ряду неизменно вызывать следующий за ним без появления альтернатив, из которых сознательная воля делала бы выбор, пока, наконец, при каждом появлении элемента А остальной ряд элементов не будет тотчас же следовать в неизменном порядке, как будто они представляют одно непрерывное изменение.

Учась ходить, ездить верхом, плавать, кататься на коньках, писать, играть на музыкальном

инструменте или петь, мы на каждом шагу задерживаем свою работу массой ненужных движений или фальшивых нот. Наоборот, лицо, хорошо владеющее каким-нибудь искусством, достигает цели с наименьшей затратой мышечного усилия; движения следуют одно за другим, повинаясь мгновенному импульсу. Меткий стрелок прицеливается и подстреливает птицу, еще не успев вполне определить ее. Беглого взгляда противника, одного удара его рапиры для фехтовальщика достаточно, чтобы мгновенно отразить удар и нанести новый. Пианист бросает взгляд на музыкальные иероглифы — и мигом из-под его пальцев начинают струиться потоки звуков.

При этом благодаря привычке с течением времени и нецелесообразные действия, так же как и целесообразные, становятся произвольными. Кому не случалось, сняв жилет днем, вслед за этим начать заводить часы по привычке заводить их каждый вечер, раздевшись перед сном; или, подойдя к входным дверям в квартире знакомого, вынуть из кармана свой ключ? Бывало, что лица, уходившие в спальню переодеться к обеду, согласно английскому обычаю, по рассеянности раздевались и ложились в постель только потому, что к такому результату приводили первые движения при раздевании в более поздний час.

У всех нас есть определенная манера совершать ежедневный туалет, открывать и закрывать хорошо знакомые нам ящики в шкафу и т. п., но наши высшие центры мысли не принимают в этих процессах почти никакого участия. Немногие в состоянии сказать, с какого носка или башмака они начинают обуваться. Чтобы ответить на это, они должны мысленно представить себе процесс обувания, но иногда и этого бывает недостаточно и приходится повторить сам акт обувания. Я не могу дать ответ на вопросы, какая половинка ваших ставень открывается первая или в какую сторону отворяется ваша дверь, но рука моя, отворяя их, никогда не ошибется. Никто не в состоянии описать порядок, в котором он причесывает волосы или чистит зубы, а между тем очень вероятно, что последовательность этих действий у каждого из нас довольно постоянна.

Эти данные можно свести к следующим соображениям. В действиях, ставших привычными, каждое новое мышечное сокращение вызывается в определенном порядке вслед за другими не актом мысли или восприятия, но непосредственно предшествовавшим мышечным сокращением. В то время как произвольным действием руководят все время идеи, восприятия и воления, действием же, совершаемым по привычке, руководит достаточно успешно простое ощущение, а центры мозга, связанные с психическими процессами высшего порядка, почти не принимают в привычных действиях участия.

Всего яснее это можно видеть на рис. 3. Пусть A, B, C, D, E, F, G изображают установившуюся в силу привычки цепь мышечных сокращений, пусть a, b, c, d, e, f, G означают ощущения, вызываемые этими последовательными сокращениями. Эти ощущения обыкновенно локализируются в движущихся частях, но иногда они возникают при посредстве движений уха или глаза.

Рис. 3

При помощи их, и притом при помощи только их одних, мы узнаем, было сокращение мышц или нет. При усвоении ряда A, B, C, D, E, F, G каждое из этих ощущений служит для осознания объектом особого акта внимания. Прежде чем перейти от одного звена в цепи движений к другому, мы при помощи ощущений проверяем, правильно ли произведено предшествующее движение.

Мы колеблемся, сравниваем, выбираем, отвергаем альтернативы действий, и после этих соображений порядок действий определяется порядком импульсов, сообщаемых высшими центрами. В привычном действии, наоборот, единственным сознательным импульсом, посылаемым из высших центров, служит начальный стимул движения. На диаграмме он обозначен буквой V. Им может быть наша мысль о первом движении или о конечном его результате или просто восприятие какого-нибудь внешнего условия, постоянно сопровождающего данный ряд движений, например, наличие под рукой клавиатуры рояля. В приведенной выше схеме, как только сознательная мысль или волнение повлекли

за собой движение А, последнее, дав о себе знать через ощущение а, вызывает рефлекторным путем В, затем В при посредстве ощущения b вызывает С и т. д., пока ряд движений не закончится; причем обыкновенно у субъекта появляется сознание конечного результата. Последнее на диаграмме означено буквой G1 как сознательный результат движения Г, возникший в высших центрах и потому обозначенный выше линии простых ощущений. Чувственные же впечатления а, в, с, d, e, f все исходят из низших центров.

Привычка обусловлена рядом ощущений, на которые не направлено внимание. Мы назвали а, в, с, d, e, f простыми ощущениями. Если это ощущения, то такие, на которые мы обыкновенно не обращаем внимания; но несомненно, что они суть сознательные процессы, а не бессознательные нервные токи, ибо при нарушении их обычного порядка мы тотчас же обращаем на них внимание. По поводу этих ощущений Шнейдер высказывает несколько интересных соображений: «При ходьбе, даже когда наше внимание совершенно отвлечено, сомнительно, чтобы мы могли сохранять равновесие тела, если бы положение его вовсе не ощущалось нами, и чтобы мы могли выдвигать ногу вперед, не ощутив сделанного для этого движения и совершенно не осознав импульса, необходимого для того, чтобы пустить ее в ход. Процесс вязания кажется механическим: вязальщица может вязать и в то же время читать или вести оживленный разговор. Но если мы спросим ее, как это возможно, то едва ли она ответит, что вязание совершается само собой. Она скорее скажет, что сознает этот процесс, чувствует его в руках и знает, как именно нужно вязать, и поэтому, даже когда внимание отвлечено от работы, движения вязальщицы вызываются и регулируются ощущениями, которые сверх того ассоциированы между собой». В другом месте Шнейдер пишет: «Чтобы приучить начинающего скрипача не поднимать правого локтя, ему дают под мышку книгу и тем самым заставляют крепко прижимать верхнюю часть руки к туловищу. Мышечные ощущения, связанные с держанием книги, побуждают его крепко прижимать ее. Часто при этом ученик, направив внимание на чтение нот, роняет книгу. Впрочем, позднее при большем навыке этого никогда не случается: малейшее осознание прикосновения книги достаточно, чтобы вызвать импульс к удержанию ее на месте, и внимание всецело может быть поглощено чтением нот и правильным движением пальцев левой руки. Таким образом, одновременное сочетание движений обусловлено прежде всего той легкостью, с которой наряду с интеллектуальными процессами могут совершаться чувственные процессы, не подчиненные контролю внимания».

Важность принципа приучения в этике и педагогике. «Привычка — вторая природа. Привычка в десять раз сильнее природы!» — говорят, воскликнул однажды герцог Веллингтон; и едва ли кто-нибудь может оценить справедливость этого положения более, чем старый ветеран. Ежедневное учение и годы дисциплины в конце концов навсегда прививают человеку известные привычки, налагая новый отпечаток почти на весь его образ жизни.

«Есть анекдот, — говорит Гекели, — про который можно сказать «*Se non e vero, e ben trovato*» (если это не правда, то удачно придумано). Один шутник, увидев, что отставной солдат нес в руках свой обед, внезапно крикнул: «Во фронт!» — и под влиянием команды солдат инстинктивно вытянул руки по швам, уронив котелок с бараниной и картофелем в канаву. Дисциплина в нем была доведена до совершенства, и ее результаты навеки внедрились в нервную систему этого человека». Согласно показаниям очевидцев, во многих сражениях кавалерийские лошади, потерявшие седоков, при звуках военных сигналов собирались вместе и начинали производить привычные перестроения.

Большинство домашних животных кажутся просто-напросто автоматами, выполняющими шаг за шагом без колебаний и сомнений обязанности, к которым их приучили. При этом нельзя предполагать в их уме существования каких бы то ни было альтернатив. Лица, состарившиеся в темнице, получив свободу, просили снова заключить их в тюрьму. Во время железнодорожного крушения в поезде в клетке, которая была при этом сломана, находился цирковой тигр; он выскочил было из клетки, но тотчас вернулся назад, как будто смутившись от новой обстановки, так что снова запереть его не представляло труда.

Привычка играет в общественных отношениях роль колоссального махового колеса: это самый ценный

консервативный фактор в социальной жизни. Она одна удерживает всех нас в границах законности и спасает «детей фортуны» от нападков завистливых бедняков. Она одна побуждает тех, кто с детства приучен жить самым тяжелым и неприятным трудом, не оставлять подобного рода занятий. Она удерживает зимой рыбака и матроса в море; она влечет рудокопа во мрак шахты и пригвозждает деревенского жителя на всю зиму к его деревенскому домику и ферме; она предохраняет жителей умеренного пояса от нападения обитателей пустынь и полярных стран. Она принуждает нас вести житейскую борьбу при помощи того рода деятельности, который был предопределен нашими воспитателями или нами самими в раннюю пору жизни. Если эта деятельность и не по вкусу нам, мы все же должны стараться выполнять ее наилучшим образом, так как только к ней одной мы способны, а выбирать другой род деятельности уже слишком поздно. Привычка удерживает от смешения различные слои общества. Уже на 25-летнем молодом человеке заметна печать его профессии, будь то коммивояжер, доктор, пастор или адвокат. В нем проявляются известные едва уловимые особенности характера, странности мысли, предрассудки, — словом, печать профессии, от которой человек так же не может освободиться, как не могут складки на рукавах его сюртука внезапно принять новое расположение.

Вообще говоря, это к лучшему; хорошо, что у большинства людей к 30 годам характер, подобно высохшему гипсу, становится прочным. Если период между 20 и 30 годами есть критический период для образования интеллектуальных и профессиональных привычек, то возраст моложе 20 лет имеет еще более важное значение для закрепления таких привычек, как интонация голоса и произношение, жестикуляция, телодвижения и ловкость. Лица, изучившие иностранный язык после 20 лет, почти никогда не говорят на нем без акцента. Молодой человек низкого происхождения, попавший в высший круг общества, почти никогда не может отучиться от неправильного произношения, которое он усвоил в детские годы. Почти никогда, несмотря на обилие денег в кармане, он не научится одеваться как прирожденный аристократ. Купцы усердно предлагают ему товары как настоящему денди, но он просто не способен выбрать себе подходящие вещи. Невидимый закон, столь же сильный, как закон тяготения, удерживает его в границах его орбиты, заставляя из года в год облекаться в то же безвкусное платье, и для него навеки остается загадкой, как приобретают свои вещи те из его знакомых, которые одеваются со вкусом.

Таким образом, в воспитании великое дело сделать нашу нервную систему нашим другом, а не врагом. Добиться этого — значит превратить приобретения в чистые деньги и жить спокойно на проценты с капитала. Мы должны по возможности в самом раннем возрасте сделать привычными для себя как можно более полезных действий и остерегаться, как заразы, укоренения в нас вредных привычек. Чем более мелких обыденных действий мы предоставим не требующему сознательных усилий контролю автоматизма, тем более наши высшие духовные способности будут иметь свободы для своей деятельности. Нет существа более жалкого, чем человек, которому привычна лишь нерешительность и для которого необходимо особое усилие воли в каждом отдельном случае, когда ему надо закурить сигару, выпить стакан чаю, лечь спать, подняться с постели или приняться за новую часть работы. У такого человека более половины времени уходит на обдумывания или сожаления о действиях, которые должны были бы до такой степени войти в его плоть и кровь, что стали бы бессознательными. Если подобные ежедневные привычки не укоренились прочно в ком-нибудь из моих читателей, пусть он сейчас же примется укреплять их в себе.

В одном из сочинений Бэна есть глава «Моральные привычки», где по этому поводу дано несколько прекрасных практических советов. В основание его рассуждений положены два правила. Согласно первому при приобретении какой-нибудь новой привычки или при искоренении старой мы должны вооружиться наивозможно более строгой и бесповоротной решимостью действовать в намеченном направлении. Мы должны обставить себя всеми возможными условиями, благоприятствующими развитию хорошей привычки, упорно искать обстановки, содействующей ее упрочению, перед обществом возложить на себя обязанности, не совместимые со старой привычкой, связать себя обязательством, если возможно — словом, для закрепления новой привычки привлекать все

возможные вспомогательные средства. Все это при начале образования привычки создает такую обстановку, благодаря которой соблазн нарушить устанавливаемый режим не проявится так скоро, как это могло бы случиться при других условиях, а с каждым днем вероятность нарушения все более и более уменьшается.

Второе правило Бэна следующее: ни разу не отступай от соблюдения новой привычки, пока она не укоренится в твоей жизни так глубоко, что случайное нарушение ее не будет опасным. Каждое нарушение приобретаемой привычки можно сравнить с падением шара, висящего на веревке, которую мы наматываем на палку: раз выпустив из рук веревку, мы даем шару возможность опуститься на множество оборотов. Непрерывность тренировки — одно из важнейших средств для того, чтобы сделать непогрешимой деятельность нервной системы. Вот что говорит по этому поводу Бэн: «Особенность нравственных привычек, отличающая их от умственных приобретений, заключается в наличии в каждой из них двух враждебных сил, из которых одна должна постепенно освободиться от гнета другой. В борьбе двух противоположных привычек мы прежде всего должны стараться не проиграть сражения. Каждая победа дурной привычки уничтожает результаты многих побед хорошей. Таким образом, при борьбе двух привычек всего важнее для нас предоставить одной из них непрерывный ряд побед, пока благодаря их повторению она не укрепитя настолько, чтобы успешно одолевать противоположную привычку при любых условиях. С теоретической точки зрения это лучший путь для умственного прогресса».

При приобретении привычки есть настоятельная необходимость обеспечить успех в самом начале. Неудача в начале дела способна парализовать энергию во всех последующих попытках, между тем как сознание достигнутого успеха подкрепляет нашу энергию и на будущее время. Когда Гёте спросил один не доверявший своим силам господин, следует ли ему начинать задуманное предприятие, Гёте ответил, что стоит только поплевать на руки — и дело в шляпе. Эти слова показывают, какое впечатление производила постоянно счастливая карьера Гёте на его душевное настроение. К разбираемому вопросу относится и вопрос о постепенном искоренении привычки к пьянству и опиуму. Лица, занимавшиеся лечением пьяниц и потребителей опиума, расходятся во взглядах на способы лечения лишь в частности, зависящих от индивидуальных особенностей больных. Вообще же говоря, все специалисты в этой области считают, что внезапное приобретение новой привычки всегда ведет к лучшим последствиям, если только для внезапного перерыва в образе жизни есть какая-нибудь возможность. Мы должны остерегаться и не подвергать волю слишком тяжелому испытанию, нанося в самом начале удар укоренившейся привычке, но если больной в состоянии вынести это испытание, то как при отлучении от страсти (вроде опиомании), так и просто при изменении часов подъема или занятий всего лучше подвергнуть человека сначала сильному страданию, и тогда, пережив его, он добьется спокойного состояния духа. Поразительно, как быстро исчезает дурная склонность, когда ее совершенно лишают возможности проявляться.

«Прежде чем начать переделывать себя, нужно научиться непоколебимо следовать, не глядя ни направо, ни налево, по прямому и узкому пути. Тот, кто ежедневно высказывает все то же доброе намерение приняться за какое-нибудь дело, похож на человека, подходящего к краю рва, который ему надо перепрыгнуть, и снова идущего назад, чтобы затем опять направиться к пропасти. Без непрерывного преуспевания нельзя накопить моральные силы; чтобы сделать последнее возможным, чтобы закалить нас в нем и приучить к нему, правильный труд является высшим благодеянием» (J. Bahnsen. «Beitrage zur Charakterologie»).

К двум предшествующим правилам можно прибавить третье: пользуйся любым благоприятным случаем действовать, при каждом решении поступать известным образом и при каждом эмоциональном стремлении действовать в направлении тех привычек, которые хочешь приобрести. Решения и стремления оставляют в мозгу известный след не в момент их появления, а в момент возникновения под их влиянием двигательных результатов. Только что цитированный нами автор говорит по этому поводу: «Наличность благоприятных условий уже сама по себе дает рычагу нравственных действий твердую точку опоры, при помощи которой мы можем приумножить свои

нравственные силы, повысив свой нравственный уровень. У кого нет твердой точки опоры, тот никогда не пойдет дальше поверхностной игры в нравственную деятельность».

Если человек не пользуется каждым конкретным случаем проявить нравственную активность, то его характер не будет улучшаться, хотя он может обладать богатым запасом нравственных правил и питать в душе добрые чувства. Добрыми намерениями, по пословице, вымощен ад. «Характер, — говорит Дж. Ст. Милль, — есть окончательно образовавшаяся воля», а воля, в том смысле, какой Милль здесь имеет в виду, есть совокупность стремлений действовать быстрым и определенным путем во всех наиболее выдающихся событиях жизни. Стремление действовать укореняется в нас в зависимости от непрерывного повторения действий в нашей жизни, благодаря которым в мозгу все более и более возрастает способность их производить.

Когда благородное решение или искренний порыв чувства пропадает по нашей вине бесследно, не принеся никакого доброго плода, то мы упускаем не только благоприятный случай действовать, но таким образом и на будущее создаем препятствие нашим решениям и эмоциям, чтобы они могли пройти в мозгу нормальный путь разряда и проявиться в виде действия. Нет более презренного типа человеческого характера, чем характер бессильного сентименталиста и мечтателя, который всю жизнь предается чувствительным излияниям и не ударит пальцем о палец, чтобы совершить истинно доброе дело. Классическим примером этого типа может служить Руссо, который, красноречиво убеждая французов следовать Природе и кормить грудью своих младенцев, отдавал собственных детей в воспитательный дом. И всякий из нас до известной степени вступает прямо на путь Руссо, если, одушевляясь отвлеченно сформулированной идеей блага, игнорирует это благо на практике, когда оно предстает перед ним в невзрачном виде, замаскированное житейскими мелочами.

В нашем будничном мире все блага являются в невзрачном виде благодаря вульгарности окружающей обстановки, но горе тому, кто знает их только в форме голой абстракции! В этом отношении неумеренное посещение театра и чтение романов могут создать настоящих нравственных уродов. Русская барыня, проливающая слезы при виде душераздирающей драмы в театре, в то время как кучер ее замерзает до смерти, представляет яркий образец явления, которое можно наблюдать везде. Даже излишнее увлечение музыкой у лиц, которые сами не являются музыкантами и не настолько музыкальны, чтобы наслаждаться музыкой чисто интеллектуальным путем, по всей вероятности, имеет расслабляющее влияние на их характер. Слушая музыку, проникаешься эмоциями, которые не находят реального выхода, и, таким образом, чувственное условие деятельности замирает в бездействии. Этому можно было бы помочь, если бы всякий раз после эмоции, пережитой в концерте, люди проявляли ее в какой-нибудь осязательной форме. Пусть ее проявление будет самым незначительным: она может выразиться в добром ласковом слове, обращенном к старухе бабушке, или во внимательном отношении к знакомому в карете, если не представляется случая оказать людям более героическую услугу. Но пусть эта эмоция во всяком случае найдет себе то или другое проявление.

Последние примеры показывают, что силой привычки запечатлеваются в мозгу не только частные линии разряда, но и его общие формы. При этом происходит то же, что наблюдается, когда мы предоставляем эмоциям бесплодно испаряться и тем делаем это их свойство постоянным; как там, так и здесь есть основание предполагать, что, часто отступая от усилия что-нибудь исполнить, мы тем самым развиваем в себе неспособность делать усилия и что внимание наше, если мы позволим ему беспорядочно блуждать, вскоре станет постоянно перебегать с одного предмета на другой. Внимание и усилие, как мы увидим ниже, суть два названия для одного и того же душевного явления. Какие мозговые процессы им соответствуют — неизвестно. Наиболее сильным доводом в пользу того, что эти душевные состояния всецело зависят от мозговых процессов и не представляют проявлений чистого духа, служит именно тот факт, что они, по-видимому, в известной степени подчинены закону привычки, который есть закон материальной природы.

В качестве конечной максимы, относящейся к воспитанию воли, мы можем предложить приблизительно такое правило. Сохраняй в себе способность к усилию небольшим добровольным

ежедневным упражнением, т. е. проявляй аскетизм и героизм в мелочах, не необходимых для тебя, делая каждый день или через день что-нибудь такое, что ты предпочел бы не делать; тогда при наступлении настоящей нужды ты почувствуешь себя готовым мужественно выдержать испытание. Такого рода аскетизм есть как бы страхование, которое мы платим за свой дом и имущество. Деньги, тратимые на страховку, не приносят нам никакой пользы и могут никогда ее не принести. Но если произойди пожар, плата за страхование избавит нас от разорения. То же можно сказать о человеке, который ежедневным упражнением приучил себя сосредоточивать внимание, энергично распоряжаться своей волей и проявлять в ненужных вещах самоотречение. Среди всеобщего разрушения он будет выситься, подобно несокрушимой башне, когда более изнеженные люди рассеются, как мякина по ветру.

Итак, изучение психических процессов с физиологической стороны может оказать большую помощь практической морали. Ожидающий нас в будущей жизни ад, о котором нас учат богословы, не хуже того ада, который мы сами создаем себе па этом свете, воспитывая свой характер в ложном направлении. Если бы дети могли себе представить, как быстро они становятся просто живым комплексом привычек, они более обращали бы внимания на свое поведение в том возрасте, когда их мозг еще достаточно пластичен. «Прялка жизни» находится в наших собственных руках, и мы сами бесповоротно предопределяем свою судьбу. Нет такого ничтожного добродетельного или порочного поступка, который не оставил бы в нас навеки своего неизгладимого следа. Пьяница Рип Ван-Винкль в комедии Джефферсона после каждой новой выпивки извиняется, говоря: «Этот раз не считается». Ну, он может не считать, и милосердный Господь не поставит ему на счет этого раза, но этот раз тем не менее будет отмечен. В глубине нервных клеток и волокон его зачтут молекулы, делая для Винкля в будущем неотразимым новый соблазн.

Выражаясь с научной строгостью, можно сказать, что всякий поступок оставляет в нервной системе неизгладимый след. Разумеется, это имеет хорошую и дурную стороны. Ряд отдельных выпивок делает нас постоянными пьяницами, но такой же ряд благих дел и часов труда делает нас святыми в нравственном отношении или авторитетами и специалистами в практической и научной областях. Пусть никто из молодежи не беспокоится о конечных результатах своего воспитания, какого бы рода оно ни было. Человек, добросовестно выполняющий ежедневно свой труд, может предоставить конечный результат своей работы ей самой. Он может быть глубоко убежден, что в один прекрасный день он осознает в себе достойнейшего представителя своего поколения, какой бы род деятельности он ни избрал. Втихомолку, среди мелочей ежедневного труда, в человеке выработалась способность правильно судить в области его специальности, способность, которая навсегда сохранится в нем. Отсутствие такой способности, быть может, породило в юношестве, вступающем на трудный жизненный путь, более уныния и малодушия, чем все остальные причины, взятые вместе.

Глава XI

Поток сознания

Порядок нашего исследования должен быть аналитическим. Теперь мы можем приступить к изучению сознания взрослого человека по методу самонаблюдения. Большинство психологов придерживаются так называемого синтетического способа изложения. Исходя от простейших идей, ощущений и рассматривая их в качестве атомов душевной жизни, психологи слагают из последних высшие состояния сознания — ассоциации, интеграции или смещения, как дома составляют из отдельных кирпичей. Такой способ изложения обладает всеми педагогическими преимуществами, какими вообще обладает синтетический метод, но в основание его кладется весьма сомнительная теория, будто высшие состояния сознания суть сложные единицы. И вместо того чтобы отправляться от фактов душевной жизни, непосредственно известных читателю, именно от его целых конкретных состояний сознания, сторонник синтетического метода берет исходным пунктом ряд гипотетических простейших идей, которые непосредственным путем совершенно недоступны читателю, и последний,

знакомясь с описанием их взаимодействия, лишен возможности проверить справедливость этих описаний и ориентироваться в наборе фраз по этому вопросу. Как бы там ни было, но постепенный переход в изложении от простейшего к сложному в данном случае вводит нас в заблуждение. Педанты и любители отвлеченностей, разумеется, отнесутся крайне неодобрительно к отстранению синтетического метода, но человек, защищающий цельность человеческой природы, предпочтет при изучении психологии аналитический метод, отправляющийся от конкретных фактов, которые составляют обыденное содержание его душевной жизни. Дальнейший анализ вскроет элементарные психические единицы, если таковые существуют, не заставляя нас делать рискованные скороспелые предположения. Читатель должен иметь в виду, что в настоящей книге в главах об ощущениях больше всего говорилось об их физиологических условиях. Помещены же эти главы были раньше просто ради удобства. С психологической точки зрения их следовало бы описывать в конце книги. Простейшие ощущения были рассмотрены нами на с. 27 как психические процессы, которые в зрелом возрасте почти неизвестны, но там ничего не было сказано такого, что давало бы повод читателю думать, будто они суть элементы, образующие своими соединениями высшие состояния сознания.

Основной факт психологии. Первичным конкретным фактом, принадлежащим внутреннему опыту, служит убеждение, что в этом опыте происходят какие-то сознательные процессы. Состояния сознания сменяются в нем одно другим. Подобно тому как мы выражаемся безлично: «светает», «смеркается», мы можем и этот факт охарактеризовать всего лучше безличным глаголом «думается».

Четыре свойства сознания. Как совершаются сознательные процессы? Мы замечаем в них четыре существенные черты, которые рассмотрим вкратце в настоящей главе: 1) каждое состояние сознания стремится быть частью личного сознания; 2) в границах личного сознания его состояния изменчивы; 3) всякое личное сознание представляет непрерывную последовательность ощущений; 4) одни объекты оно воспринимает охотно, другие отвергает и, вообще, все время делает между ними выбор.

Разбирая последовательно эти четыре свойства сознания, мы должны будем употребить ряд психологических терминов, которые могут получить вполне точное определение только в дальнейшем. Условное значение психологических терминов общеизвестно, а в этой главе мы их будем употреблять только в условном смысле. Настоящая глава напоминает набросок, который живописец сделал углем на полотне и на котором еще не видно никаких подробностей рисунка.

Когда я говорю: «всякое душевное состояние» или «мысль есть часть личного сознания», то термин личное сознание употребляется мною именно в таком условном смысле. Значение этого термина понятно до тех пор, пока нас не попросят точно объяснить его; тогда оказывается, что такое объяснение — одна из труднейших философских задач. Эту задачу мы разберем в следующей главе, а теперь ограничимся одним предварительным замечанием. В комнате, скажем в аудитории, витает множество мыслей ваших и моих, из которых одни связаны между собой, другие — нет. Они так же мало обособлены и независимы друг от друга, как и все связаны вместе; про них нельзя сказать ни того, ни другого безусловно: ни одна из них не обособлена совершенно, но каждая связана с некоторыми другими, от остальных же совершенно независима. Мои мысли связаны с моими же другими мыслями, ваши — с вашими мыслями. Есть ли в комнате еще где-нибудь чистая мысль, не принадлежащая никакому лицу, мы не можем сказать, не имея на это данных опыта. Состояния сознания, которые мы встречаем в природе, суть непременно личные сознания — умы, личности, определенные конкретные «я» и «вы».

Мысли каждого личного сознания обособлены от мыслей другого: между ними нет никакого непосредственного обмена, никакая мысль одного личного сознания не может стать непосредственным объектом мысли другого сознания. Абсолютная разобщенность сознаний, не поддающийся объединению плюрализм составляют психологический закон. По-видимому, элементарным психическим фактом служит не «мысль вообще», не «эта или та мысль», но «моя мысль», вообще «мысль, принадлежащая кому-нибудь». Ни одновременность, ни близость в пространстве, ни качественное сходство содержания не могут слить воедино мыслей, которые разъединены между собой барьером личности. Разрыв между такими мыслями представляет одну из самых абсолютных

граней в природе.

Всякий согласится с истинностью этого положения, поскольку в нем утверждается только существование «чего-то», соответствующего термину «личное сознание», без указаний на дальнейшие свойства этого сознания. Согласно этому можно считать непосредственно данным фактом психологии скорее личное сознание, чем мысль. Наиболее общим фактом сознания служит не «мысли и чувства существуют», но «я мыслю» или «я чувствую». Никакая психология не может оспаривать во что бы то ни стало факт существования личных сознаний. Под личными сознаниями мы разумеем связанные последовательности мыслей, сознаваемые как таковые. Худшее, что может сделать психолог, — это начать истолковывать природу личных сознаний, лишив их индивидуальной ценности.

В сознании происходят непрерывные перемены. Я не хочу этим сказать, что ни одно состояние сознания не обладает продолжительностью; если бы это даже была правда, то доказать ее было бы очень трудно. Я только хочу моими словами подчеркнуть тот факт, что ни одно раз минувшее состояние сознания не может снова возникнуть и буквально повториться. Мы то смотрим, то слушаем, то рассуждаем, то желаем, то припоминаем, то ожидаем, то любим, то ненавидим, наш ум попеременно занят тысячами различных объектов мысли. Скажут, пожалуй, что все эти сложные состояния сознания образуются из сочетаний простейших состояний. В таком случае подчинены ли эти последние тому же закону изменчивости? Например, не всегда ли тождественны ощущения, получаемые нами от какого-нибудь предмета? Разве не всегда тождествен звук, получаемый нами от нескольких ударов совершенно одинаковой силы по тому же фортепианному клавишу? Разве не та же трава вызывает в нас каждую весну то же ощущение зеленого цвета? Не то же небо представляется нам в ясную погоду таким же голубым? Не то же обонятельное впечатление мы получаем от одеколона, сколько бы раз мы ни пробовали нюхать ту же склянку? Отрицательный ответ на эти вопросы может показаться метафизической софистикой, а между тем внимательный анализ не подтверждает того факта, что центростремительные токи когда-либо вызывали в нас дважды абсолютно то же чувственное впечатление.

Тождествен воспринимаемый нами объект, а не наши ощущения: мы слышим несколько раз подряд ту же ноту, мы видим зеленый цвет того же качества, обоняем те же духи или испытываем боль того же рода. Реальности, объективные или субъективные, в постоянное существование которых мы верим, по-видимому, снова и снова предстают перед нашим сознанием и заставляют нас из-за нашей невнимательности предполагать, будто идеи о них суть одни и те же идеи. Когда мы дойдем до главы «Восприятие», мы увидим, как глубоко укоренилась в нас привычка пользоваться чувственными впечатлениями как показателями реального присутствия объектов. Трава, на которую я гляжу из окошка, кажется мне того же цвета и на солнечной, и на теневой стороне, а между тем художник, изображая на полотне эту траву, чтобы вызвать реальный эффект, в одном случае прибегает к темно-коричневой краске, в другом — к светло-желтой. Вообще говоря, мы не обращаем особого внимания на то, как различно те же предметы выглядят, звучат и пахнут на различных расстояниях и при различной окружающей обстановке. Мы стараемся убедиться лишь в тождественности вещей, и любые ощущения, удостоверяющие нас в этом при грубом способе оценки, будут сами казаться нам тождественными.

Благодаря этому обстоятельству свидетельство о субъективном тождестве различных ощущений не имеет никакой цены в качестве доказательства реальности известного факта. Вся история душевного явления, называемого ощущением, может ярко иллюстрировать нашу неспособность сказать, совершенно ли одинаковы два порознь воспринятых нами чувственных впечатления или нет.

Внимание наше привлекается не столько абсолютным качеством впечатления, сколько тем поводом, который данное впечатление может дать к одновременному возникновению других впечатлений. На темном фоне менее темный предмет кажется белым. Гельмгольц вычислил, что белый мрамор на картине, изображающей мраморное здание, освещенное луной, при дневном свете в 10 или 20 тыс. раз ярче мрамора, освещенного настоящим лунным светом.

Такого рода разница никогда не могла быть непосредственно познана чувственным образом: ее

можно было определить только рядом побочных соображений. Это обстоятельство заставляет нас предполагать, что наша чувственная восприимчивость постоянно изменяется, так что один и тот же предмет редко вызывает у нас прежнее ощущение. Чувствительность наша изменяется в зависимости от того, бодрствуем мы или нас клонит ко сну, сыты мы или голодны, утомлены или нет; она различна днем и ночью, зимой и летом, в детстве, зрелом возрасте и в старости. И тем не менее мы несколько не сомневаемся, что наши ощущения раскрывают перед нами все тот же мир с теми же чувственными качествами и с теми же чувственными объектами. Изменчивость чувствительности лучше всего можно наблюдать на том, какие различные эмоции вызывают в нас те же вещи в различных возрастах или при различных настроениях духа в зависимости от органических причин. То, что раньше казалось ярким и возбуждающим, вдруг становится избитым, скучным, бесполезным; пение птиц вдруг начинает казаться монотонным, завывание ветра — печальным, вид неба — мрачным.

К этим косвенным соображениям в пользу того, что наши ощущения в зависимости от изменчивости нашей чувствительности постоянно изменяются, можно прибавить еще одно доказательство физиологического характера. Каждому ощущению соответствует определенный процесс в мозгу. Для того чтобы ощущение повторилось с абсолютной точностью, нужно, чтобы мозг после первого ощущения не подвергался абсолютно никакому изменению. Но последнее, строго говоря, физиологически невозможно, следовательно, и абсолютно точное повторение прежнего ощущения невозможно, ибо мы должны предполагать, что каждому изменению мозга, как бы оно ни было мало, соответствует некоторое изменение в сознании, которому служит данный мозг.

Но если так легко обнаружить неосновательность мысли, будто простейшие ощущения могут повторяться неизменным образом, то еще более неосновательным должно казаться нам мнение, будто та же неизменная повторяемость наблюдается в более сложных формах сознания. Ведь ясно, как Божий день, что состояния нашего ума никогда не бывают абсолютно тождественными. Каждая отдельная мысль о каком-нибудь предмете, строго говоря, есть уникальная и имеет лишь родовое сходство с другими нашими мыслями о том же предмете. Когда повторяются прежние факты, мы должны думать о них по-новому, глядеть на них под другим углом, открывать в них новые стороны. И мысль, с помощью которой мы познаем эти факты, всегда есть мысль о предмете плюс новые отношения, в которые он поставлен, мысль, связанная с сознанием того, что сопровождает ее в виде неясных деталей. Нередко мы сами поражаемся странной переменой в наших взглядах на один и тот же предмет. Мы удивляемся, как могли мы думать известным образом о каком-нибудь предмете месяца тому назад. Мы переросли возможность такого образа мыслей, а как — мы и сами не знаем.

С каждым годом те же явления представляются нам совершенно в новом свете. То, что казалось призрачным, стало вдруг реальным, и то, что прежде производило впечатление, теперь более не привлекает. Друзья, которыми мы дорожили, превратились в бледные тени прошлого; женщины, казавшиеся нам когда-то неземными созданиями, звезды, леса и воды со временем стали казаться скучными и прозаичными; юные девы, которых мы некогда окружали каким-то небесным ореолом, становятся с течением времени в наших глазах самыми обыкновенными земными существами, картины — бессодержательными, книги... Но разве в произведениях Гёте так много таинственной глубины? Разве уж так содержательны сочинения Дж. Ст. Милля, как это нам казалось прежде? Предаваясь менее наслаждениям, мы все более и более погружаемся в обыденную работу, все более и более проникаемся сознанием важности труда на пользу общества и других общественных обязанностей.

Мне кажется, что анализ цельных, конкретных состояний сознания, сменяющих друг друга, есть единственный правильный психологический метод, как бы ни было трудно строго провести его через все частности исследования. Если вначале он и покажется читателю темным, то при дальнейшем изложении его значение прояснится. Пока замечу только, что, если этот метод правилен, выставленное мною выше положение о невозможности двух абсолютно одинаковых идей в сознании также истинно. Это утверждение более важно в теоретическом отношении, чем кажется с первого взгляда, ибо, принимая его, мы совершенно расходимся даже в основных положениях с

психологическими теориями локковской и гербартовской школ, которые имели когда-то почти безграничное влияние в Германии и у нас в Америке. Без сомнения, часто удобно придерживаться своего рода атомизма при объяснении душевных явлений, рассматривая высшие состояния сознания как агрегаты неизменяющихся элементарных идей, которые непрерывно сменяют друг друга. Подобным же образом часто бывает удобно рассматривать кривые линии как линии, состоящие из весьма малых прямых, а электричество и нервные токи — как известного рода жидкости. Но во всех этих случаях мы не должны забывать, что употребляем символические выражения, которым в природе ничего не соответствует. Неизменно существующая идея, появляющаяся время от времени перед нашим сознанием, есть фантастическая фикция.

В каждом личном сознании процесс мышления заметным образом непрерывен. Непрерывным рядом я могу назвать только такой, в котором нет перерывов и делений. Мы можем представить себе только два рода перерывов в сознании: или временные пробелы, в течение которых сознание отсутствует, или столь резкую перемену в содержании познаваемого, что последующее не имеет в сознании никакого отношения к предшествующему. Положение «сознание непрерывно» включает в себе две мысли: 1) мы сознаем душевные состояния, предшествующие временному пробелу и следующие за ним как части одной и той же личности; 2) перемены в качественном содержании сознания никогда не совершаются резко.

Разберем сначала первый, более простой случай. Когда спавшие на одной кровати Петр и Павел просыпаются и начинают припоминать прошлое, каждый из них ставит данную минуту в связь с собственным прошлым. Подобно тому как ток анода, зарытого в землю, безошибочно находит соответствующий ему катод через все промежуточные вещества, так настоящее Петра вступает в связь с его прошедшим и никогда не сплетается по ошибке с прошлым Павла. Так же мало способно ошибиться сознание Павла. Прошедшее Петра присваивается только его настоящим. Он может иметь совершенно верные сведения о том состоянии дремоты, после которого Павел погрузился в сон, но это знание, безусловно, отличается от сознания его собственной прошлого. Собственные состояния сознания Петр помнит, а Павловы только представляет себе. Припоминание аналогично непосредственному ощущению: его объект всегда бывает проникнут живостью и родственностью, которых нет у объекта простого воображения. Этими качествами живости, родственности и непосредственности обладает настоящее Петра.

Как настоящее есть часть моей личности, мое, так точно и все другое, проникающее в мое сознание с живостью и непосредственностью, — мое, составляет часть моей личности. Далее мы увидим, в чем именно заключаются те качества, которые мы называем живостью и родственностью. Но как только прошедшее состояние сознания представилось нам обладающим этими качествами, оно тотчас присваивается нашим настоящим и входит в состав нашей личности. Эта «сплошность» личности и представляет то нечто, которое не может быть временным пробелом и которое, сознавая существование этого временного пробела, все же продолжает сознавать свою непрерывность с некоторыми частями прошедшего.

Таким образом, сознание всегда является для себя чем-то цельным, не раздробленным на части. Такие выражения, как «цепь (или ряд) психических явлений», не дают нам представления о сознании, какое мы получаем от него непосредственно: в сознании нет связок, оно течет непрерывно. Всего естественнее к нему применить метафору «река» или «поток». Говоря о нем ниже, будем придерживаться термина «поток сознания» (мысли или субъективной жизни).

Второй случай. Даже в границах того же самого сознания и между мыслями, принадлежащими тому же субъекту, есть род связности и бессвязности, к которому предшествующее замечание не имеет никакого отношения. Я здесь имею в виду резкие перемены в сознании, вызываемые качественными контрастами в следующих друг за другом частях потока мысли. Если выражения «цепь (или ряд) психических явлений» не могут быть применены к данному случаю, то как объяснить вообще их возникновение в языке? Разве оглушительный взрыв не разделяет на две части сознание, на которое он воздействует? Нет, ибо сознание грома сливается с сознанием предшествующей тишины,

которое продолжается: ведь, слыша шум от взрыва, мы слышим не просто грохот, а грохот, внезапно нарушающий молчание и контрастирующий с ним.

Наше ощущение грохота при таких условиях совершенно отличается от впечатления, вызванного тем же самым грохотом в непрерывном ряду других подобных шумов. Мы знаем, что шум и тишина взаимно уничтожают и исключают друг друга, но ощущение грохота есть в то же время сознание того, что в этот миг прекратилась тишина, и едва ли можно найти в конкретном реальном сознании человека ощущение, настолько ограниченное настоящим, что в нем не нашлось бы ни малейшего намека на то, что ему предшествовало.

Устойчивые и изменчивые состояния сознания. Если мы бросим общий взгляд на удивительный поток нашего сознания, то прежде всего нас поразит различная скорость течения в отдельных частях. Сознание подобно жизни птицы, которая то сидит на месте, то летает. Ритм языка отметил эту черту сознания тем, что каждую мысль облек в форму предложения, а предложение развил в форму периода. Остановочные пункты в сознании обыкновенно бывают заняты чувственными впечатлениями, особенность которых заключается в том, что они могут, не изменяясь, созерцаться умом неопределенное время; переходные промежутки заняты мыслями об отношениях статических и динамических, которые мы по большей части устанавливаем между объектами, воспринятыми в состоянии относительного покоя.

Назовем остановочные пункты устойчивыми частями, а переходные промежутки изменчивыми частями потока сознания. Тогда мы заметим, что наше мышление постоянно стремится от одной устойчивой части, только что покинутой, к другой, и можно сказать, что главное назначение переходных частей сознания в том, чтобы направлять нас от одного прочного, устойчивого вывода к другому.

При самонаблюдении очень трудно подметить переходные моменты. Ведь если они — только переходная ступень к определенному выводу, то, фиксируя на них наше внимание до наступления вывода, мы этим самым уничтожаем их. Пока мы ждем наступления вывода, последний сообщает переходным моментам такую силу и устойчивость, что совершенно поглощает их своим блеском. Пусть кто-нибудь попытается захватить вниманием на полдороге переходный момент в процессе мышления, и он убедится, как трудно вести самонаблюдение при изменчивых состояниях сознания. Мысль несется стремглав, так что почти всегда приводит нас к выводу раньше, чем мы успеваем захватить ее. Если же мы и успеваем захватить ее, она мигом видоизменяется. Снежный кристалл, схваченный теплой рукой, мигом превращается в водяную каплю; подобным же образом, желая уловить переходное состояние сознания, мы вместо того находим в нем нечто вполне устойчивое — обыкновенно это бывает последнее мысленно произнесенное нами слово, взятое само по себе, независимо от своего смысла в контексте, который совершенно ускользает от нас.

В подобных случаях попытка к самонаблюдению бесплодна — это все равно, что схватывать руками волчок, чтобы уловить его движение, или быстро заворачивать газовый рожок, чтобы посмотреть, как выглядят предметы в темноте. Требование указать эти переходные состояния сознания, требование, которое наверняка будет предъявлено иными психологами, отстаивающими существование подобных состояний, так же неосновательно, как аргумент против защитников реальности движения, приводившийся Зеноном, который требовал, чтобы они показали ему, в каком месте покоится стрела во время полета, и из их неспособности дать быстрый ответ на такой нелепый вопрос заключал о несостоятельности их основного положения.

Затруднения, связанные с самонаблюдением, приводят к весьма печальным результатам. Если наблюдение переходных моментов в потоке сознания и их фиксирование вниманием представляет такие трудности, то следует предположить, что великое заблуждение всех философских школ проистекало, с одной стороны, из невозможности фиксировать изменчивые состояния сознания, с другой — из чрезмерного преувеличения значения, которое придавалось более устойчивым состояниям сознания. Исторически это заблуждение выразилось в двоякой форме. Одних мыслителей оно привело к сенсуализму. Будучи не в состоянии подыскать устойчивые ощущения,

соответствующие бесчисленному множеству отношений и форм связи между явлениями чувственного мира, не находя в этих отношениях отражения душевных состояний, поддающихся определенному наименованию, эти мыслители начинали по большей части отрицать вообще всякую реальность подобных состояний. Многие из них, например Юм, дошли до полного отрицания реальности большей части отношений как вне сознания, так и внутри. Простые идеи — ощущения и их воспроизведение, расположенные одна за другой, как кости в домино, без всякой реальной связи между собой, — вот в чем состоит вся душевная жизнь, с точки зрения этой школы, все остальное — одни словесные заблуждения. Другие мыслители, интеллектуалисты, не в силах отвергнуть реальность существующих вне области нашего сознания отношений и в то же время не имея возможности указать на какие-нибудь устойчивые ощущения, в которых проявлялась бы эта реальность, также пришли к отрицанию подобных ощущений. Но отсюда они сделали прямо противоположное заключение. Отношения эти, по их словам, должны быть познаны в чем-нибудь таком, что не есть ощущение или какое-либо душевное состояние, тождественное тем субъективным элементам сознания, из которых складывается наша душевная жизнь, тождественное и составляющее с ними одно сплошное целое. Они должны быть познаны чем-то, лежащим совершенно в иной сфере, актом чистой мысли, Интеллектом или Разумом, которые пишутся с большой буквы и должны означать нечто, неизмеримо превосходящее всякие изменчивые явления нашей чувственности.

С нашей точки зрения, и интеллектуалисты и сенсуалисты не правы. Если вообще существуют такие явления, как ощущения, то, поскольку несомненно, что существуют реальные отношения между объектами, постольку же и даже более несомненно, что существуют ощущения, с помощью которых познаются эти отношения. Нет союза, предлога, наречия, приставочной формы или перемены интонации в человеческой речи, которые не выражали бы того или другого оттенка или перемены отношения, ощущаемой нами действительно в данный момент. С объективной точки зрения, перед нами раскрываются реальные отношения; с субъективной точки зрения, их устанавливает наш поток сознания, сообщая каждому из них свою особую внутреннюю окраску. В обоих случаях отношений бесконечно много, и ни один язык в мире не передает всех возможных оттенков в этих отношениях. Как мы говорим об ощущении синевы или холода, так точно мы имеем право говорить об ощущении «и», ощущении «если», ощущении «но», ощущении «через». А между тем мы этого не делаем: привычка признавать субстанцию только за существительными так укоренилась, что наш язык совершенно отказывается субстантивировать другие части речи.

Обратимся снова к аналогии с мозговыми процессами. Мы считаем мозг органом, в котором внутреннее равновесие находится в неустойчивом состоянии, так как в каждой части его происходят непрерывные перемены. Стремление к перемене в одной части мозга является, без сомнения, более сильным, чем в другой; в одно время быстрота перемены бывает больше, в другое — меньше. В равномерно вращающемся калейдоскопе фигуры хотя и принимают постоянно все новую и новую группировку, но между двумя группировками бывают мгновения, когда перемещение частиц происходит очень медленно и как бы совершенно прекращается, а затем вдруг, как бы по мановению волшебства, мгновенно образуется новая группировка, и, таким образом, относительно устойчивые формы сменяются другими, которых мы не узнали бы, вновь увидев их. Точно так же и в мозгу распределение нервных процессов выражается то в форме относительно долгих напряжений, то в форме быстро переходящих изменений. Но если сознание соответствует распределению нервных процессов, то почему же оно должно прекращаться, несмотря на безостановочную деятельность мозга, и почему, в то время как медленно совершающиеся изменения в мозгу вызывают известного рода сознательные процессы, быстрые изменения не могут сопровождаться особой, соответствующей им душевной деятельностью?

Объект сознания всегда связан с психическими обертонами. Есть еще другие, не поддающиеся названию перемены в сознании, так же важные, как и переходные состояния сознания, и так же вполне сознательные. На примерах всего легче понять, что я здесь имею в виду.

Предположим, три лица одно за другим крикнули вам: «Ждите!», «Слушайте!», «Смотрите!» Наше

сознание в данном случае подвергается трем совершенно различным состояниям ожидания, хотя ни в одном из воздействий перед ним не находится никакого определенного объекта. По всей вероятности, никто в данном случае не станет отрицать существования в себе особенного душевного состояния, чувства предполагаемого направления, по которому должно возникнуть впечатление, хотя еще не обнаружилось никаких признаков появления последнего. Для таких психических состояний мы не имеем других названий, кроме «жди», «слушай» и «смотри».

Представьте себе, что вы припоминаете забытое имя. Припоминание — это своеобразный процесс сознания. В нем есть как бы ощущение некоего пробела, и пробел этот ощущается весьма активным образом. Перед нами как бы возникает нечто, намекающее на забытое имя, нечто, что манит нас в известном направлении, заставляя нас ощущать неприятное чувство бессилия и вынуждая в конце концов отказаться от тщетных попыток припомнить забытое имя. Если нам предлагают неподходящие имена, стараясь навести нас на истинное, то с помощью особенного чувства пробела мы немедленно отвергаем их. Они не соответствуют характеру пробела. При этом пробел от одного забытого слова не похож на пробел от другого, хотя оба пробела могут быть нами охарактеризованы лишь полным отсутствием содержания. В моем сознании совершаются два совершенно различных процесса, когда я тщетно стараюсь припомнить имя Спалдинга или имя Баулса. При каждом припоминаемом слове мы испытываем особое чувство недостатка, которое в каждом отдельном случае бывает различно, хотя и не имеет особого названия. Такое ощущение недостатка отличается от недостатка ощущения: это вполне интенсивное ощущение. У нас может сохраниться ритм забытого слова без соответствующих звуков, составляющих его, или нечто, напоминающее первую букву, первый слог забытого слова, но не вызывающее в памяти всего слова. Всякому знакомо неприятное ощущение пустого размера забытого стиха, который, несмотря на все усилия припоминания, не заполняется словами.

В чем заключается первый проблеск понимания чего-нибудь, когда мы, как говорится, схватываем смысл фразы? По всей вероятности, это совершенно своеобразное ощущение. А разве читатель никогда не задавался вопросом: какого рода должно быть то душевное состояние, которое мы переживаем, намереваясь что-нибудь сказать? Эго вполне определенное намерение, отличающееся от всех других, совершенно особенное состояние сознания, а между тем много ли входит в него определенных чувственных образов, словесных или предметных? Почти никаких. Повремените чуть-чуть, и перед сознанием явятся слова и образы, но предварительное намерение уже исчезнет. Когда же начинают появляться слова для первоначального выражения мысли, то она выбирает подходящие, отвергая несоответствующие. Это предварительное состояние сознания может быть названо только «намерением сказать то-то и то-то».

Можно допустить, что добрые 2/3 душевной жизни состоят именно из таких предварительных схем мыслей, не облеченных в слова. Как объяснить тот факт, что человек, читая — какую-нибудь книгу вслух в первый раз, способен придавать чтению правильную выразительную интонацию, если не допустить, что, читая первую фразу, он уже получает смутное представление хотя бы о форме второй фразы, которая сливается с сознанием смысла данной фразы и изменяет в сознании читающего его экспрессию, заставляя сообщать голосу надлежащую интонацию? Экспрессия такого рода почти всегда зависит от грамматической конструкции. Если мы читаем «не более», то ожидаем «чем», если читаем «хотя», то знаем, что далее следует «однако», «тем не менее», «все-таки». Это предчувствие приближающейся словесной или синтаксической схемы на практике до того безошибочно, что человек, не способный понять в иной книге ни одной мысли, будет читать ее вслух выразительно и осмысленно.

Читатель сейчас увидит, что я стремлюсь главным образом к тому, чтобы психологи обращали особенное внимание на смутные и неотчетливые явления сознания и оценивали по достоинству их роль в душевной жизни человека. Гальтон и Гекели, как мы увидим в главе «Воображение», сделали некоторые попытки опровергнуть смешную теорию Юма и Беркли, будто мы можем сознавать лишь вполне определенные образы предметов. Другая попытка в этом направлении сделана нами, если только нам удалось показать несостоятельность не менее наивной мысли, будто одни простые

объективные качества предметов, а не отношения познаются нами из состояний сознания. Но все эти попытки недостаточно радикальны. Мы должны признать, что определенные представления традиционной психологии лишь наименьшая часть нашей душевной жизни.

Традиционные психологи рассуждают подобно тому, кто стал бы утверждать, что река состоит из бочек, ведер, кварт, ложек и других определенных мерок воды. Если бы бочки и ведра действительно запрудили реку, то между ними все-таки протекала бы масса свободной воды. Эту-то свободную, незамкнутую в сосуды воду психологи и игнорируют упорно при анализе нашего сознания. Всякий определенный образ в нашем сознании погружен в массу свободной, текущей вокруг него «воды» и замирает в ней. С образом связано сознание всех окружающих отношений, как близких, так и отдаленных, замирающее эхо тех мотивов, по поводу которых возник данный образ, и зарождающееся сознание тех результатов, к которым он поведет. Значение, ценность образа всецело заключается в этом дополнении, в этой полутени окружающих и сопровождающих его элементов мысли, или, лучше сказать, эта полутень составляет с данным образом одно целое — она плоть от плоти его и кость от кости его; оставляя, правда, самый образ тем же, чем он был прежде, она сообщает ему новое назначение и свежую окраску.

Назовем сознание этих отношений, сопровождающее в виде деталей данный образ, психическими обертонами.

Физиологические условия психических обертонов. Всего легче символизировать эти явления, описав схематически соответствующие им физиологические процессы. Отголосок психических процессов, служащих источником данного образа, ослабевающее ощущение исходного пункта данной мысли, вероятно, обусловлены слабыми физиологическими процессами, которые мгновение спустя стали живы; точно так же смутное ощущение следующего за данным образом, предвкушение окончания данной мысли, должно быть, зависят от возрастающего возбуждения нервных токов или процессов, а этим процессам соответствуют психические явления, которые через мгновение будут составлять главное содержание нашей мысли. Нервные процессы, образующие физиологическую основу нашего сознания, могут быть во всякую минуту своей деятельности охарактеризованы следующей схемой (рис. 4). Пусть горизонтальная линия означает линию времени; три кривые, начинающиеся у точек а, b, с, выражают соответственно нервные процессы, обуславливающие представление этих трех букв. Каждый процесс занимает известный промежуток времени, в течение которого его интенсивность растет, достигает высшей точки и, наконец, ослабевает. В то время как процесс, соответствующий сознанию а, еще не замер, процесс с уже начался, а процесс b достиг высшей точки. В тот момент, который обозначен вертикальной линией, все три процесса сосуществуют с интенсивностями, обозначаемыми высотами кривых.

Рис. 4

Интенсивности, предшествовавшие вершине с, были мгновением раньше большими, следующие за ней будут больше мгновение спустя. Когда я говорю: а, b, с, то в момент произнесения b, ни а, ни с не отсутствуют вполне в моем сознании, но каждое из них по-своему примешивается к более сильному b, так как оба эти процесса уже успели достигнуть известной степени интенсивности. Здесь мы наблюдаем нечто совершенно аналогичное обертонам в музыке: отдельно они не различаются ухом, но, смешиваясь с основной нотой, модифицируют ее; таким же точно образом зарождающиеся и ослабевающие нервные процессы в каждый момент примешиваются к процессам, достигшим высшей точки, и тем видоизменяют конечный результат последних.

Содержание мысли. Анализируя познавательную функцию при различных состояниях нашего сознания, мы можем легко убедиться, что разница между поверхностным знакомством с предметом и знанием о нем сводится почти всецело к отсутствию или присутствию психических обертонов. Знание о предмете есть знание о его отношениях к другим предметам. Беглое знакомство с предметом

выражается в получении от него простого впечатления. Большинство отношений данного предмета к другим мы познаем только путем установления неясного сродства между идеями при помощи психических обертонов. Об этом чувстве сродства, представляющем одну из любопытнейших особенностей потока сознания, я скажу несколько слов, прежде чем перейти к анализу других вопросов.

Между мыслями всегда существует какое-нибудь рациональное отношение. Во всех наших произвольных процессах мысли всегда есть известная тема или идея, около которой вращаются все остальные детали мысли (в виде психических обертонов). В этих деталях обязательно чувствуется определенное отношение к главной мысли, связанный с нею интерес и в особенности отношение гармонии или диссонанса, смотря по тому, содействуют они развитию главной мысли или являются для нее помехой. Всякая мысль, в которой детали по качеству вполне гармонируют с основной идеей, может считаться успешным развитием данной темы. Для того чтобы объект мысли занял соответствующее место в ряду наших идей, достаточно, чтобы он занимал известное место в той схеме отношений, к которой относится и господствующая в нашем сознании идея.

Мы можем мысленно развивать основную тему в сознании главным образом посредством словесных, зрительных и иных представлений; на успешное развитие основной мысли это обстоятельство не влияет. Если только мы чувствуем в терминах родство деталей мысли с основной темой и между собой и если мы сознаем приближение вывода, то полагаем, что мысль развивается правильно и логично. В каждом языке какие-то слова благодаря частым ассоциациям с деталями мысли по сходству и контрасту вступили в тесную связь между собой и с известным заключением, вследствие чего словесный процесс мысли течет строго параллельно соответствующим психическим процессам в форме зрительных, осязательных и иных представлений. В этих психических процессах самым важным элементом является простое чувство гармонии или разлада, правильного или ложного направления мысли.

Если мы свободно владеем английским и французским языками и начинаем говорить по-французски, то при дальнейшем ходе мысли нам будут приходить в голову французские слова и почти никогда при этом мы не собьемся на английскую речь. И это родство французских слов между собой не есть нечто, совершающееся бессознательным механическим путем, как простой физиологический процесс: во время процесса мысли мы сознаем родство. Мы не утрачиваем настолько понимания французской речи, чтобы не сознавать вовсе лингвистического родства входящих в нее слов. Наше внимание при звуках французской речи всегда поражается внезапным введением в нее английского слова.

Наименьшее понимание слышимых звуков выражается именно в том, что мы сознаем в них принадлежность известному языку, если только мы вообще сознаем их. Обыкновенно смутное сознание того, что все слышимые нами слова принадлежат одному и тому же языку и специальному словарю этого языка и что грамматические согласования соблюдены при этом вполне правильно, на практике равносильно признанию, что слышимое нами имеет определенный смысл. Но если внезапно в слышимую речь введено неизвестное иностранное слово, если в ней слышится ошибка или среди философских рассуждений вдруг попадает какое-нибудь площадное, тривиальное выражение, мы получим ощущение диссонанса и наше полусознательное согласие с общим тоном речи мгновенно исчезает. В этих случаях сознание разумности речи выражается скорее в отрицательной, чем в положительной форме.

Наоборот, если слова принадлежат тому же словарю и грамматические конструкции строго соблюдены, то фразы, абсолютно лишенные смысла, могут в ином случае сойти за осмысленные суждения и проскользнуть, несколько не поразив неприятным образом нашего слуха. Речи на молитвенных собраниях, представляющие вечно одну и ту же перетасовку бессмысленных фраз, и напыщенная риторика получающих гроши за строчку газетных писак могут служить яркими иллюстрациями этого факта. «Птицы заполняли вершины деревьев их утренней песнью, делая воздух сырым, прохладным и приятным», — вот фраза, которую я прочитал однажды в отчете об атлетическом состязании, состоявшемся в Джером-Парке. Репортер, очевидно, написал ее второпях, а многие

читатели прочитали, не вдумываясь в смысл.

Рис. 5

Итак, мы видим, что во всех подобных случаях само содержание речи, качественный характер представлений, образующих мысль, имеют весьма мало значения, можно даже сказать, что не имеют никакого значения. Зато важное значение сохраняют по внутреннему содержанию только остановочные пункты в речи: основные посылки мысли и выводы. Во всем остальном потоке мысли главная роль остается за чувством родства элементов речи, само же содержание их почти не имеет никакого значения. Эти чувства отношений, психические обертоны, сопровождающие термины данной мысли, могут выражаться в представлениях весьма различного характера. На диаграмме (рис. 5) легко увидеть, как разнородные психические процессы ведут одинаково к той же цели. Пусть А будет некоторым впечатлением, почерпнутым из внешнего опыта, от которого отправляется мысль нескольких лиц. Пусть Z будет практическим выводом, к которому всего естественнее приводит данный опыт. Одно из данных лиц придет к выводу по одной линии, другое — по другой; одно будет при этом процессе мысли пользоваться английской словесной символикой, другое — немецкой; у одного будут преобладать зрительные образы, у другого — осязательные; у одного элементы мысли будут окрашены эмоциональным волнением, у другого — нет; у одних лиц процесс мысли совершается разом, быстро и синтетически, у других — медленно и в несколько приемов. Но когда предпоследний элемент в мысли каждого из этих лиц приводит их к одному общему выводу, мы говорим, и говорим совершенно правильно, что все лица, в сущности, думали об одном и том же. Каждое из них было бы чрезвычайно изумлено, заглянув в предшествующий одинаковому выводу душевный процесс другого и увидав в нем совершенно иные элементы мысли.

Четвертая особенность душевных процессов, на которую нам нужно обратить внимание при первоначальном поверхностном описании потока сознания, заключается в следующем: сознание всегда бывает более заинтересовано в одной стороне объекта мысли, чем в другой, производя во все время процесса мышления известный выбор между его элементами, отвергая одни из них и предпочитая другие. Яркими примерами этой избирательной деятельности могут служить явления направленного внимания и обдумывания. Но немногие из нас сознают, как непрерывна деятельность внимания при психических процессах, с которыми обыкновенно не связывают этого понятия. Для нас совершенно невозможно равномерно распределить внимание между несколькими впечатлениями. Монотонная последовательность звуковых ударов распадается на ритмические периоды то одного, то другого характера, смотря потому, на какие звуки мы будем мысленно переносить ударение. Простейший из этих ритмов двойной, например: тик-так, тик-так, тик-так. Пятна, рассеянные по поверхности, при восприятии мысленно объединяются нами в ряды и группы. Линии объединяются в фигуры. Всеобщность различений «здесь» и «там», «это» и «то», «теперь» и «тогда» является результатом того, что мы направляем внимание то на одни, то на другие части пространства и времени.

Но мы не только делаем известное ударение на некоторых элементах восприятий, но и объединяем одни из них и выделяем другие. Обыкновенно большую часть находящихся перед нами объектов мы оставляем без внимания. Я попытаюсь вкратце объяснить, как это происходит.

Начнем анализ с низших форм психики: что такое сами чувства наши, как не органы подбора? (См. с. 25). Из бесконечного хаоса движений, из которых, по словам физиков, состоит внешний мир, каждый орган чувств извлекает и воспринимает лишь те движения, которые колеблются в определенных пределах скорости. На эти движения данный орган чувств реагирует, оставляя без внимания остальные, как будто они вовсе не существуют. Из того, что само по себе представляет беспорядочное неразличимое сплошное целое, лишенное всяких оттенков и различий, наши органы чувств, отвечая на одни движения и не отвечая на другие, создали мир, полный контрастов, резких ударений,

внезапных перемен и картинных сочетаний света и тени.

Если, с одной стороны, ощущения, получаемые нами при посредстве органа чувств, обусловлены известным соотношением концевых аппаратов органа с внешней средой, то, с другой, из всех этих ощущений внимание наше избирает лишь некоторые наиболее интересные, оставляя в стороне остальные. Мы замечаем лишь те ощущения, которые служат знаками объектов, достойных нашего внимания в практическом или эстетическом отношении, имеющих названия субстанций и потому возведенных в особый чин достоинства и независимости. Но помимо того особого интереса, который мы придаем объекту, можно сказать, что какой-нибудь столб пыли в ветреный день представляет совершенно такую же индивидуальную вещь и в такой же мере заслуживает особого названия, как и мое собственное тело.

Что же происходит далее с ощущениями, воспринятыми нами от каждого отдельного предмета? Между ними рассудок снова делает выбор. Какие-то ощущения он избирает в качестве черт, правильно характеризующих данный предмет, на другие смотрит как на случайные свойства предмета, обусловленные обстоятельствами минуты. Так, крышка моего стола называется прямоугольной, согласно одному из бесконечного числа впечатлений, производимых ею на сетчатку и представляющих ощущение двух острых и двух тупых углов, но все эти впечатления я называю перспективными видами стола; четыре же прямых угла считаю его истинной формой, видя в прямоугольной форме на основании некоторых собственных соображений, вызванных чувственными впечатлениями, существенное свойство этого предмета.

Подобным же образом истинная форма круга воспринимается нами, когда линия зрения перпендикулярна к нему и проходит через его центр, все другие ощущения, получаемые нами от круга, суть лишь знаки, указывающие на это ощущение. Истинный звук пушки есть тот, который мы слышим, находясь возле нее. Истинный цвет кирпича есть то ощущение, которое мы получаем, когда глаз глядит на него на недалеком расстоянии не при ярком освещении солнца и не в полумраке; при других же условиях мы получаем от кирпича другое впечатление, которое служит лишь знаком, указывающим на истинное; именно в первом случае кирпич кажется краснее, во втором — синее, чем он есть на самом деле. Читатель, вероятно, не знает предмета, которого он не представлял бы себе в каком-то типичном положении, какого-то нормального разреза, на определенном расстоянии, с определенной окраской и т. д. Но все эти существенные характерные черты, которые в совокупности образуют для нас истинную объективность предмета и контрастируют с так называемыми субъективными ощущениями, получаемыми когда угодно от данного предмета, суть такие же простые ощущения. Наш ум делает выбор в известном направлении и решает, какие именно ощущения считать более реальными и существенными.

Далее, в мире объектов, индивидуализированных таким образом с помощью избирательной деятельности ума, то, что называется опытом, всецело обуславливается воспитанием нашего внимания. Вещь может попадаться человеку на глаза сотни раз, но если он упорно не будет обращать на нее внимания, то никак нельзя будет сказать, что эта вещь вошла в состав его жизненного опыта. Мы видим тысячи мух, жуков и молей, но кто, кроме энтомолога, может почерпнуть из своих наблюдений подробные и точные сведения о жизни и свойствах этих насекомых? В то же время вещь, увиденная раз в жизни, может оставить неизгладимый след в нашей памяти. Представьте себе, что четыре американца путешествуют по Европе. Один привезет домой богатый запас художественных впечатлений от костюмов, пейзажей, парков, произведений архитектуры, скульптуры и живописи. Для другого во время путешествия эти впечатления как бы не существовали: он весь был занят собиранием статистических данных, касающихся практической жизни. Расстояния, цены, количество населения, канализация городов, механизмы для замыкания дверей и окон — вот какие предметы поглощали все его внимание. Третий, вернувшись домой, дает подробный отчет о театрах, ресторанах и публичных собраниях и больше ни о чем. Четвертый же, быть может, во все время путешествия окажется до того погружен в свои думы, что его память, кроме названий некоторых мест, ничего не сохранит. Из той же массы воспринятых впечатлений каждый путешественник избрал то, что наиболее соответствовало

его личным интересам, и в этом направлении производил свои наблюдения.

Если теперь, оставив в стороне случайные сочетания объектов в опыте, мы зададимся вопросом, как наш ум рационально связывает их между собой, то увидим, что и в этом процессе подбор играет главную роль. Всякое суждение, как мы увидим в главе «Мышление», обуславливается способностью ума раздробить анализируемое явление на части и извлечь из последних то именно, что в данном случае может повести к правильному выводу. Поэтому гениальным человеком мы назовем такого, который всегда сумеет извлечь из данного опыта истину в теоретических вопросах и указать надлежащие средства в практических.

В области эстетической наш закон еще более несомненен. Артист заведомо делает выбор в средствах художественного воспроизведения, отбрасывая все тона, краски и размеры, которые не гармонируют друг с другом и не соответствуют главной цели его работы. Это единство, гармония, «конвергенция характерных признаков», согласно выражению Тэна, которая сообщает произведениям искусства их превосходство над произведениями природы, всецело обусловлены элиминацией. Любой объект, выхваченный из жизни, может стать произведением искусства, если художник сумеет в нем оттенить одну черту как самую характерную, отбросив все случайные, не гармонирующие с ней элементы. Делая еще шаг далее, мы переходим в область этики, где выбор заведомо царит над всем остальным. Поступок не имеет никакой нравственной ценности, если он не был выбран из нескольких одинаково возможных, Бороться во имя добра и постоянно поддерживать в себе благие намерения, искоренять в себе соблазнительные влечения, неуклонно следовать тяжелой стезей добродетели — вот характерные проявления этической способности. Мало того, все это лишь средства к достижению целей, которые человек считает высшими. Этическая же энергия *par excellence* (по преимуществу) должна идти еще дальше и выбирать из нескольких целей, одинаково достижимых, ту, которую нужно считать наивысшей. Выбор здесь влечет за собой весьма важные последствия, налагающие неизгладимую печать на всю деятельность человека. Когда человек обдумывает, совершить преступление или нет, выбрать или нет ту или иную профессию, взять ли на себя эту должность, жениться ли на богатой, то выбор его в сущности колеблется между несколькими равно возможными будущими его характерами. Решение, принятое в данную минуту, предопределяет все его дальнейшее поведение. Шопенгауэр, приводя в пользу своего детерминизма тот аргумент, что в данном человеке, со сложившимся характером при данных условиях возможно лишь одно определенное решение воли, забывает, что в такие критические с точки зрения нравственности моменты для сознания сомнительна именно предполагаемая законченность характера. Здесь для человека не столь важен вопрос, как поступить в данном случае, — важнее определить, каким существом ему лучше стать на будущее время. Рассматривая человеческий опыт вообще, можно сказать, что способность выбора у различных людей имеет очень много общего. Род человеческий сходится в том, на какие объекты следует обращать особое внимание и каким объектам следует давать названия; в выделенных из опыта элементах мы оказываем предпочтение одним из них перед другими также весьма аналогичными путями. Есть, впрочем, совершенно исключительный случай, в котором выбор не был произведен ни одним человеком вполне аналогично с другим. Всякий из нас по-своему разделяет мир на две половинки, и для каждого почти весь интерес жизни сосредоточивается на одной из них, но пограничная черта между обеими половинками одинакова: «я» и «не-я». Интерес совершенно особенного свойства, который всякий человек питает к тому, что называет «я» или «мое», представляет, быть может, загадочное в моральном отношении явление, но во всяком случае должен считаться основным психическим фактом. Никто не может проявлять одинаковый интерес к собственной личности и к личности ближнего. Личность ближнего сливается со всем остальным миром в общую массу, резко противопоставляемую собственному «я». Даже полураздавленный червь, как говорит где-то Лотце, противопоставляет своему страданию всю остальную Вселенную, хотя и не имеет о ней и о себе самого ясного представления. Для меня он — простая частица мира, но и я для него — такая же простая частица. Каждый из нас раздваивает мир по-своему.

Дав общую характеристику психических явлений, обратимся теперь к более тонкому анализу

душевной жизни и в следующей главе прежде всего познакомимся ближе с фактом самосознания, к которому нас привело предшествующее исследование.

Глава XII

Личность

Личность и «я». О чем бы я ни думал, я всегда в то же время более или менее осознаю самого себя, свое личное существование. Вместе с тем ведь это я сознаю, так что мое самосознание является как бы двойственным — частью познаваемым и частью познающим, частью объектом и частью субъектом; в нем надо различать две стороны, из которых для краткости одну мы будем называть личностью, а другую — «я». Я говорю «две стороны», а не «две обособленные сущности», так как признание тождества нашего «я» и нашей личности даже в самом акте их различения есть, быть может, самое неукоснительное требование здравого смысла, и мы не должны упускать из виду это требование с самого начала, при установлении терминологии, к каким бы выводам относительно ее состоятельности мы ни пришли в конце исследования. Итак, рассмотрим сначала 1) познаваемый элемент в сознании личности, или, как иногда говорят, наше эмпирическое Ego, и затем 2) познающий элемент в нашем сознании, наше «я», чистое Ego, как выражаются некоторые авторы.

А. Познаваемый элемент в личности

Эмпирическое «я» или личность. Трудно провести черту между тем, что человек называет самим собой и своим. Наши чувства и поступки по отношению к некоторым принадлежащим нам объектам в значительной степени сходны с чувствами и поступками по отношению к нам самим. Наше доброе имя, наши дети, наши произведения могут быть нам так же дороги, как и наше собственное тело, и могут вызывать в нас те же чувства, а в случае посягательства на них — то же стремление к возмездии. А тела наши — просто ли они наши или это мы сами? Бесспорно, бывали случаи, когда люди отрекались от собственного тела и смотрели на него как на одеяние или даже тюрьму, из которой они когда-нибудь будут счастливы вырваться.

Очевидно, мы имеем дело с изменчивым материалом: тот же самый предмет рассматривается нами иногда как часть нашей личности, иногда просто как «наш», а иногда — как будто у нас нет с ним ничего общего. Впрочем, в самом широком смысле личность человека составляет общая сумма всего того, что он может назвать своим: не только его физические и душевные качества, но также его платье, дом, жена, дети, предки и друзья, его репутация и труды, его имение, лошади, его яхта и капиталы. Все это вызывает в нем аналогичные чувства. Если по отношению ко всему этому дело обстоит благополучно — он торжествует; если дела приходят в упадок — он огорчен; разумеется, каждый из перечисленных нами объектов неодинаково влияет на состояние его духа, но все они оказывают более или менее сходное воздействие на его самочувствие. Понимая слово «личность» в самом широком смысле, мы можем прежде всего подразделить анализ ее на три части в отношении 1) ее составных элементов; 2) чувств и эмоций, вызываемых ими (самооценка); 3) поступков, вызываемых ими (заботы о самом себе и самосохранение).

Составные элементы личности могут быть подразделены также на три класса: 1) физическую личность, 2) социальную личность и 3) духовную личность.

Физическая личность. В каждом из нас телесная организация представляет существенный компонент нашей физической личности, а некоторые части тела могут быть названы нашими в теснейшем смысле слова. За телесной организацией следует одежда. Старая поговорка, что человеческая личность состоит из трех частей: души, тела и платья, — нечто большее, нежели простая шутка. Мы в такой степени присваиваем платье нашей личности, до того отождествляем одно с другой, что немногие из нас, не колеблясь ни минуты, дадут решительный ответ на вопрос, какую бы из двух альтернатив они выбрали: иметь прекрасное тело, облеченное в вечно грязные и рваные лохмотья, или под вечно

новым костюмом скрывать безобразное, уродливое тело. Затем ближайшей частью нас самих является наше семейство, отец и мать, жена и дети — плоть от плоти и кость от кости нашей. Когда они умирают, исчезает часть нас самих. Нам стыдно за их дурные поступки. Если кто-нибудь обидел их, негодование вспыхивает в нас тотчас, как будто мы сами были на их месте. Далее следует наш домашний очаг, наш home. Происходящее в нем составляет часть нашей жизни, его вид вызывает в нас нежнейшее чувство привязанности, и мы неохотно прощаем гостю, который, посетив нас, указывает недостатки в нашей домашней обстановке или презрительно к ней относится. Мы отдаем инстинктивное предпочтение всем этим разнообразным объектам, связанным с наиболее важными практическими интересами нашей жизни. Все мы имеем бессознательное влечение охранять наши тела, облекать их в платья, снабженные украшениями, лелеять наших родителей, жену и детей и приискивать себе собственный уголок, в котором мы могли бы жить, совершенствуя свою домашнюю обстановку.

Такое же инстинктивное влечение побуждает нас накапливать состояние, а сделанные нами ранее приобретения становятся в большей или меньшей степени близкими частями нашей эмпирической личности. Наиболее тесно связаны с нами произведения нашего кровного труда. Немногие люди не почувствовали бы своего личного уничтожения, если бы произведение их рук и мозга (например, коллекция насекомых или обширный рукописный труд), созидавшееся ими в течение целой жизни, вдруг оказалось уничтоженным. Подобное же чувство питает скупой к своим деньгам. Хотя и правда, что часть нашего огорчения при потере предметов обладания обусловлена сознанием того, что мы теперь должны обходиться без некоторых благ, которые рассчитывали получить при дальнейшем пользовании утраченными ныне объектами, но все-таки во всяком подобном случае сверх того в нас остается еще чувство умаления нашей личности, превращения некоторой части ее в ничто. И этот факт представляет собой самостоятельное психическое явление. Мы сразу попадаем на одну доску с босяками, с теми *ravures diables* (отребьем), которых мы так презираем, и в то же время становимся более чем когда-либо отчужденными от счастливых сынов земли, властелинов суши, моря и людей, властелинов, живущих в полном блеске могущества и материальной обеспеченности. Как бы мы ни взывали к демократическим принципам, невольно перед такими людьми явно или тайно мы переживаем чувства страха и уважения.

Социальная личность. Признание в нас личности со стороны других представителей человеческого рода делает из нас общественную личность. Мы не только стадные животные, не только любим быть в обществе себе подобных, но имеем даже прирожденную склонность обращать на себя внимание других и производить на них благоприятное впечатление. Трудно придумать более дьявольское наказание (если бы такое наказание было физически возможно), чем если бы кто-нибудь попал в общество людей, где на него совершенно не обращали внимания. Если бы никто не оборачивался при нашем появлении, не отвечал на наши вопросы, не интересовался нашими действиями, если бы всякий при встрече с нами намеренно не узнавал нас и обходился с нами как с неодушевленными предметами, то нами овладело бы своего рода бешенство, бессильное отчаяние. Здесь облегчением были бы жесточайшие телесные муки, лишь бы при них мы чувствовали, что при всей безвыходности нашего положения мы все-таки не пали настолько низко, чтобы не заслуживать ничьего внимания.

Собственно говоря, у человека столько социальных личностей, сколько индивидов признают в нем личность и имеют о ней представление. Посягнуть на это представление — значит посягнуть на самого человека. Но, принимая во внимание, что лица, имеющие представление о данном человеке, естественно распадаются на классы, мы можем сказать, что на практике всякий человек имеет столько же различных социальных личностей, сколько имеется различных групп людей, мнением которых он дорожит. Многие мальчики ведут себя довольно прилично в присутствии родителей или преподавателей, а в компании невоспитанных товарищей бесчинствуют и бранятся, как пьяные извозчики. Мы выставяем себя в совершенно ином свете перед нашими детьми, нежели перед клубными товарищами; мы держим себя иначе перед нашими постоянными покупателями, чем перед нашими работниками; мы — нечто совершенно другое по отношению к нашим близким друзьям, чем по отношению к нашим хозяевам или к нашему начальству. Отсюда на практике получается деление

человека на несколько личностей; это может повести к дисгармоничному раздвоению социальной личности, например, в случае, если кто-нибудь боится выставить себя перед одними знакомыми в том свете, в каком он представляется другим; но тот же факт может повести к гармоничному распределению различных сторон личности, например, когда кто-нибудь, будучи нежным по отношению к своим детям, является строгим к подчиненным ему узникам или солдатам.

Самой своеобразной формой социальной личности является представление влюбленного о личности любимой им особы. Ее судьба вызывает столь живое участие, что оно покажется совершенно бессмысленным, если прилагать к нему какой-либо иной масштаб, кроме мерила органического индивидуального влечения. Для самого себя влюбленный как бы не существует, пока его социальная личность не получит должной оценки в глазах любимого существа, в последнем случае его восторг превосходит все границы.

Добрая или худая слава человека, его честь или позор — это названия для одной из его социальных личностей. Своеобразная общественная личность человека, называемая его честью, — результат одного из тех раздвоений личности, о которых мы говорили. Представление, которое складывается о человеке в глазах окружающей его среды, является руководящим мотивом для одобрения или осуждения его поведения, смотря по тому, отвечает ли он требованиям данной общественной среды, которые он мог бы не соблюдать при другой житейской обстановке. Так, частное лицо может без зазрения совести покинуть город, зараженный холерой, но священник или доктор нашли бы такой поступок несовместимым с их понятием о чести. Честь солдата побуждает его сражаться и умирать при таких обстоятельствах, когда другой человек имеет полное право скрыться в безопасное место или бежать, не налагая на свое социальное «я» позорного пятна.

Подобным же образом судья или государственный муж в силу своего положения находит бесчестным заниматься денежными операциями, не заключающими в себе ничего предосудительного для частного лица. Нередко можно слышать, как люди проводят различие между отдельными сторонами своей личности: «Как человек я жалею вас, но как официальное лицо я не могу вас пощадить»; «В политическом отношении он мой союзник, но с точки зрения нравственности я не выношу его». То, что называют мнением среды, составляет один из сильнейших двигателей в жизни. Вор не смеет обкрадывать своих товарищей; карточный игрок обязан платить карточные долги, хотя бы он вовсе не платил иных своих долгов. Всегда и везде кодекс чести фешенебельного общества возбранял или разрешал известные поступки единственно в угоду одной из сторон нашей социальной личности. Вообще вы не должны лгать, но в том, что касается ваших отношений к известной даме, — лгите, сколько вам угодно; от равного себе вы принимаете вызов на дуэль, но вы засмеетесь в глаза лицу низшего по сравнению с вами общественного положения, если это лицо вздумает потребовать от вас удовлетворения, — вот примеры для пояснения нашей мысли.

Духовная личность. Под духовной личностью, поскольку она связана с эмпирической, мы не разумеем того или другого отдельного преходящего состояния сознания. Скорее, мы разумеем под духовной личностью полное объединение отдельных состояний сознания, конкретно взятых духовных способностей и свойств. Это объединение в каждую отдельную минуту может стать объектом нашей мысли и вызвать эмоции, аналогичные эмоциям, производимым в нас другими сторонами нашей личности. Когда мы думаем о себе как о мыслящих существах, все другие стороны нашей личности представляются относительно нас как бы внешними объектами. Даже в границах нашей духовной личности некоторые элементы кажутся более внешними, чем другие. Например, наши способности к ощущению представляются, так сказать, менее интимно связанными с нашим «я», чем наши эмоции и желания. Самый центр, самое ядро нашего «я», поскольку оно нам известно, святое святых нашего существа — это чувство активности, обнаруживающееся в некоторых наших внутренних душевных состояниях. На это чувство внутренней активности часто указывали как на непосредственное проявление жизненной субстанции нашей души. Так ли это или нет, мы не будем разбирать, а отметим здесь только своеобразный внутренний характер душевных состояний, обладающих свойством казаться активными, каковы бы ни были сами по себе эти душевные состояния. Кажется, будто они

идут навстречу всем другим опытным элементам нашего сознания. Это чувство, вероятно, присуще всем людям.

За составными элементами личности в нашем изложении следуют характеризующие ее чувства и эмоции.

Самооценка. Она бывает двух родов: самодовольство и недовольство собой. Самолюбие может быть отнесено к третьему отделу, к отделу поступков, ибо сюда по большей части относят скорее известную группу действий, чем чувствований в узком смысле слова. Для обоих родов самооценки язык имеет достаточный запас синонимов. Таковы, с одной стороны, гордость, самодовольство, высокомерие, суетность, самопочитание, заносчивость, тщеславие; с другой — скромность, униженность, смущение, неуверенность, стыд, унижение, раскаяние, сознание собственного позора и отчаяние. Указанные два противоположных класса чувствований являются непосредственными, первичными дарами нашей природы. Представители ассоцианизма, быть может, скажут, что это вторичные, производные явления, возникающие из быстрого суммирования чувств удовольствия и неудовольствия, к которым ведут благоприятные или неблагоприятные для нас душевные состояния, причем сумма приятных представлений дает самодовольство, а сумма неприятных — противоположное чувство стыда. Без сомнения, при чувстве довольства собой мы охотно перебираем в уме все возможные награды за наши заслуги, а, отчаявшись в самих себе, мы предчувствуем несчастье; но простое ожидание награды еще не есть самодовольство, а предвидение несчастья не является отчаянием, ибо у каждого из нас имеется еще некоторый постоянный средний тон самочувствия, совершенно не зависящий от наших объективных оснований быть довольными или недовольными. Таким образом, человек, поставленный в весьма неблагоприятные условия жизни, может пребывать в невозмутимом самодовольстве, а человек, который вызывает всеобщее уважение и успех которого в жизни обеспечен, может до конца испытывать недоверие к своим силам.

Впрочем, можно сказать, что нормальным возбудителем самочувствия является для человека его благоприятное или неблагоприятное положение в свете — его успех или неуспех. Человек, эмпирическая личность которого имеет широкие пределы, который с помощью собственных сил всегда достигал успеха, личность с высоким положением в обществе, обеспеченная материально, окруженная друзьями, пользующаяся славой, едва ли будет склонна поддаваться страшным сомнениям, едва ли будет относиться к своим силам с тем недоверием, с каким она относилась к ним в юности. («Разве я не взрастила сады великого Вавилона?») Между тем лицо, потерпевшее несколько неудач одну за другой, падает духом на половине житейской дороги, проникается болезненной неуверенностью в самом себе и отступает перед попытками, вовсе не превосходящими его силы. Чувства самодовольства и унижения одного рода — их можно считать первичными видами эмоций наряду, например, с гневом и болью. Каждое из них своеобразно отражается на нашей физиономии. При самодовольстве иннервируются разгибающие мышцы, глаза принимают уверенное и торжествующее выражение, походка становится бодрой и несколько покачивающейся, ноздри расширяются и своеобразная улыбка играет на губах. Вся совокупность внешних телесных выражений самодовольства в самом крайнем проявлении наблюдается в домах умалишенных, где всегда можно найти лип, буквально помешанных на собственном величии; их самодовольная наружность и чванная походка составляют печальный контраст с полным отсутствием всяких личных человеческих достоинств. В этих же «замках отчаяния» мы можем встретить яркий образец противоположного типа — добряка, воображающего, что он совершил смертный грех и навек загубил свою душу. Это тип, униженно пресмыкающийся, уклоняющийся от посторонних наблюдений, не смеющий с нами громко говорить и глядеть нам прямо в глаза. Противоположные чувства, подобные страху и гневу, при аналогичных патологических условиях могут возникать без всякой внешней причины. Из ежедневного опыта нам известно, в какой мере барометр нашей самооценки и доверия к себе поднимается и падает в зависимости скорее от чисто органических, чем от рациональных причин, причем эти изменения в наших субъективных показаниях нимало не соответствуют изменениям в оценке нашей личности со стороны друзей.

Заботы о себе и самосохранение. Под это понятие подходит значительный класс наших основных инстинктивных побуждений. Сюда относится телесное, социальное и духовное самосохранение. Заботы о физической личности. Все целесообразнорефлекторные действия и движения питания и защиты составляют акты телесного самосохранения. Подобным же образом страх и гнев вызывают целесообразное движение. Если под заботами о себе мы условимся разуметь предвидение будущего в отличие от самосохранения в настоящем, то мы можем отнести гнев и страх к инстинктам, побуждающим нас охотиться, искать пропитание, строить жилища, делать полезные орудия и заботиться о своем организме. Впрочем, последние инстинкты в связи с чувством любви, родительской привязанности, любознательности и соревнования распространяются не только на развитие нашей телесной личности, но и на все наше материальное «я» в самом широком смысле слова.

Наши заботы о социальной личности выражаются непосредственно в чувстве любви и дружбы, в желании обращать на себя внимание и вызывать в других изумление, в чувстве ревности, стремлении к соперничеству, жажде славы, влияния и власти; косвенным образом они проявляются во всех побуждениях к материальным заботам о себе, поскольку последние могут служить средством к осуществлению общественных целей. Легко видеть, что непосредственные побуждения заботиться о своей социальной личности сводятся к простым инстинктам. В стремлении обращать на себя внимание других характерно то, что его интенсивность несколько не зависит от ценности достойных внимания заслуг данного лица, ценности, которая была бы выражена в сколько-нибудь осязательной или разумной форме.

Мы из сил выбиваемся, чтобы получить приглашение в дом, где бывает большое общество, чтобы при упоминании о каком-нибудь из виденных нами гостей иметь возможность сказать: «А, я его хорошо знаю!» — и раскланиваться на улице чуть не с половиною встречаемых. Конечно, нам всего приятнее иметь друзей, выдающихся по рангу или достоинствам, и вызывать в других восторженное поклонение. Теккерей в одном из романов просит читателей сознаться откровенно, не доставит ли каждому из них особенного удовольствия прогулка по улице Pall Mall с двумя герцогами под ручку. Но, не имея герцогов в кругу своих знакомых и не слыша гула завистливых голосов, мы не упускаем и менее значительных случаев обратить на себя внимание. Есть страстные любители предавать свое имя гласности в газетах — им все равно, в какую газетную рубрику попадет их имя, в разряд ли прибывших и выбывших, частных объявлений, интервью или городских сплетен; за недостатком лучшего они не прочь попасть даже в хронику скандалов. Патологическим примером крайнего стремления к печатной гласности может служить Гито, убийца президента Гарфильда. Умственный горизонт Гито не выходил из газетной сферы. В предсмертной молитве этого несчастного одним из искреннейших выражений было следующее: «Здесьняя газетная пресса в ответе пред Тобой, Господи».

Не только люди, но местность и предметы, хорошо знакомые мне, в известном метафорическом смысле, расширяют мое социальное «я». «Ga me connait» (оно меня знает), — говорил один французский работник, указывая на инструмент, которым владел в совершенстве. Лица, мнением которых мы вовсе не дорожим, являются в то же время индивидами, вниманием которых мы не брезгуем. Не один великий человек, не одна женщина, разборчивая во всех отношениях, с трудом отвергнут внимание ничтожного франта, личность которого они презирают от чистого сердца. В рубрику «Попечение о духовной личности» следует отнести всю совокупность стремлений к духовному прогрессу — умственному, нравственному и духовному в узком смысле слова. Впрочем, необходимо допустить, что так называемые заботы о своей духовной личности представляют в этом более узком смысле слова лишь заботу о материальной и социальной личности в загробной жизни. В стремлении магометанина попасть в ран или в желании христианина избежать мук ада материальность желаемых благ сама собой очевидна. С более положительной и утонченной точки зрения на будущую жизнь многие из ее благ (сообщество с усопшими родными и святыми и соприсутствие Божества) суть лишь социальные блага наивысшего порядка. Только стремление к искуплению внутренней (греховной) природы души, к достижению ее безгрешной чистоты в этой или

будущей жизни могут считаться заботами о духовной нашей личности в ее чистейшем виде. Наш широкий внешний обзор фактов, наблюдаемых в жизни личности, был бы неполон, если бы мы не выяснили вопроса о соперничестве и столкновениях между отдельными ее сторонами. Физическая природа ограничивает наш выбор одними из многочисленных представляющихся нам и желаемых нами благ, тот же факт наблюдается и в данной области явлений. Если бы только было возможно, то уж, конечно, никто из нас не отказался бы быть сразу красивым, здоровым, прекрасно одетым человеком, великим силачом, богачом, имеющим миллионный годовой доход, остряком, бонвиваном, покорителем дамских сердец и в то же время философом, филантропом, государственным деятелем, военачальником, исследователем Африки, модным поэтом и святым человеком. Но это решительно невозможно. Деятельность миллионера не мирится с идеалом святого; филантроп и бонвиван — понятия несовместимые; душа философа не уживается с душой сердцееда в одной телесной оболочке. Внешним образом такие различные характеры как будто и в самом деле совместимы в одном человеке. Но стоит действительно развить одно из свойств характера, чтобы оно тотчас заглушило другие. Человек должен тщательно рассмотреть различные стороны своей личности, чтобы искать спасения в развитии глубочайшей, сильнейшей стороны своего «я». Все другие стороны нашего «я» призрачны, только одна из них имеет реальное основание в нашем характере, и потому ее развитие обеспечено. Неудачи в развитии этой стороны характера суть действительные неудачи, вызывающие стыд, а успех — настоящий успех, приносящий нам истинную радость. Этот факт может служить прекрасным примером умственных усилий выбора, на которые я выше настойчиво указывал. Прежде чем осуществить выбор, наша мысль колеблется между несколькими различными вещами; в данном случае она выбирает одну из многочисленных сторон нашей личности или нашего характера, после чего мы не чувствуем стыда, потерпев неудачу в чем-нибудь, не имеющем отношения к тому свойству нашего характера, которое остановило исключительно на себе наше внимание.

Отсюда понятен парадоксальный рассказ о человеке, пристыженном до смерти тем, что он оказался не первым, а вторым в мире боксером или гребцом. Что он может победить любого человека в мире, кроме одного, — это для него ничего не значит: пока он не одолеет первого в состязании, ничто не принимается им в расчет. Он в собственных глазах как бы не существует. Тщедушный человек, которого всякий может побить, не огорчается из-за своей физической немощи, ибо он давно оставил всякие попытки к развитию этой стороны личности. Без попыток не может быть неудачи, без неудачи не может быть позора. Таким образом, наше довольство собой в жизни обусловлено всецело тем, к какому делу мы себя предназначим. Самоуважение определяется отношением наших действительных способностей к потенциальным, предполагаемым — дробью, в которой числитель выражает наш действительный успех, а знаменатель наши притязания:

самоуважение = успех/притязания

При увеличении числителя или уменьшении знаменателя дробь будет возрастать. Отказ от притязаний дает нам такое же желанное облегчение, как и осуществление их на деле, и отказываться от притязания будут всегда в том случае, когда разочарования беспрестанны, а борьбе не предвидится исхода. Самый яркий из возможных примеров этого дает история евангельской теологии, где мы находим убеждение в греховности, отчаяние в собственных силах и потерю надежды на возможность спастись одними добрыми делами. Но подобные же примеры можно встретить и в жизни на каждом шагу. Человек, понявший, что его ничтожество в какой-то области не оставляет для других никаких сомнений, чувствует странное сердечное облегчение. Неумолимое «нет», полный, решительный отказ влюбленному человеку как будто умеряют его горечь при мысли о потере любимой особы. Многие жители Бостона, *crede experto* (верь тому, кто испытал) (боюсь, что то же можно сказать и о жителях других городов), могли бы с легким сердцем отказаться от своего музыкального «я», чтобы иметь возможность без стыда смешивать набор звуков с симфонией. Как приятно бывает иногда отказаться от притязаний казаться молодым и стройным! «Слава Богу, — говорим мы в таких случаях, — эти иллюзии миновали!» Всякое расширение нашего «я» составляет лишнее бремя и лишнее притязание. Про некоего господина, который в последнюю американскую войну потерял все свое состояние до

последнего цента, рассказывают: сделавшись нищим, он буквально валялся в грязи, но уверял, что никогда еще не чувствовал себя более счастливым и свободным.

Наше самочувствие, повторяю, зависит от нас самих. «Приравняй свои притязания к нулю, — говорит Карлейль, — и целый мир будет у ног твоих. Справедливо писал мудрейший человек нашего времени, что жизнь начинается только с момента отречения».

Ни угрозы, ни увещания не могут воздействовать на человека, если они не затрагивают одной из возможных в будущем или настоящих сторон его личности. Вообще говоря, только воздействием на эту личность мы можем завладеть чужой волей. Поэтому важнейшая забота монархов, дипломатов и вообще всех стремящихся к власти и влиянию, заключается в том, чтобы найти у их «жертвы» сильнейший принцип самоуважения и сделать воздействие на него своей конечной целью. Но если человек отказался от того, что зависит от воли другого, и перестал смотреть на все это как на части своей личности, то мы становимся почти совершенно бессильны влиять на него. Стоическое правило счастья заключалось в том, чтобы заранее считать себя лишенными всего того, что зависит не от нашей воли, — тогда удары судьбы станут нечувствительными. Эпиктет советует нам сделать нашу личность неуязвимой, суживая ее содержание и в то же время укрепляя ее устойчивость: «Я должен умереть — хорошо, но должен ли я умирать, непременно жалуясь на свою судьбу? Я буду открыто говорить правду, и, если тиран скажет: «За твои речи ты достоин смерти», — я отвечу ему: «Говорил ли я тебе когда-нибудь, что я бессмертен? Ты будешь делать свое дело, а я — свое: твое дело — казнить, а мое — умирать бесстрашно; твое дело — изгонять, а мое — бестрепетно удаляться. Как мы поступаем, когда отправляемся в морское путешествие? Мы выбираем кормчего и матросов, назначаем время отъезда. На дороге нас застигает буря. В чем же должны в таком случае состоять наши заботы? Наша роль уже выполнена. Дальнейшие обязанности лежат на кормчем. Но корабль тонет. Что нам делать? Только одно, что возможно, — бесстрашно ждать гибели, без крика, без ропота на Бога, хорошо зная, что всякий, кто родился, должен когда-нибудь и умереть».

В свое время, в своем месте эта стоическая точка зрения могла быть достаточно полезной и героической, но надо признаться, что она возможна только при постоянной наклонности души к развитию узких и несимпатичных черт характера. Стоик действует путем самоограничения. Если я стоик, то блага, какие я мог бы себе присвоить, перестают быть моими благами, и во мне является наклонность вообще отрицать за ними значение каких бы то ни было благ. Этот способ оказывать поддержку своему «я» путем отречения, отказ от благ весьма обычен среди лиц, которых в других отношениях никак нельзя назвать стоиками. Все узкие люди ограничивают свою личность, отделяют от нее все то, чем они прочно не владеют. Они смотрят с холодным пренебрежением (если не с настоящей ненавистью) на людей, непохожих на них или не поддающихся их влиянию, хотя бы эти люди обладали великими достоинствами. «Кто не за меня, тот для меня не существует, т. е., насколько от меня зависит, я стараюсь действовать так, как будто он для меня вовсе не существовал». Таким путем строгость и определенность границ личности могут вознаградить за скудость ее содержания. Экспансивные люди действуют наоборот: путем расширения своей личности и приобщения к ней других. Границы их личности часто бывают довольно неопределенны, но зато богатство ее содержания с избытком вознаграждает их за это. *Nihil humanum a me alienum puto* (ничто человеческое мне не чуждо). «Пусть презирают мою скромную личность, пусть обращаются со мною, как с собакой; пока есть душа в моем теле, я не буду их отвергать. Они — такие же реальности, как и я. Все, что в них есть действительно хорошего, пусть будет достоянием моей личности». Великодушные этих экспансивных натур иногда бывает поистине трогательно. Такие лица способны испытывать своеобразное тонкое чувство восхищения при мысли, что, несмотря на болезнь, непривлекательную внешность, плохие условия жизни, несмотря на общее к ним пренебрежение, они все-таки составляют неотделимую часть мира бодрых людей, имеют товарищескую долю в силе ломовых лошадей, в счастье юности, в мудрости мудрых и не лишены некоторой доли в пользовании богатствами Вандербильдтов и даже самих Гогенцоллернов.

Таким образом, то суживаясь, то расширяясь, наше эмпирическое «я» пытается утвердиться во

внешнем мире. Тот, кто может воскликнуть вместе с Марком Аврелием: «О, Вселенная! Все, что ты желаешь, то и я желаю!», имеет личность, из которой удалено до последней черты все, ограничивающее, суживающее ее содержание — содержание такой личности всеобъемлюще.

Иерархия личностей. Согласно почти единодушно принятому мнению, различные виды личностей, которые могут заключаться в одном человеке, и в связи с этим различные виды самоуважения человека можно представить в форме иерархической шкалы с физической личностью внизу, духовной — наверху и различными видами материальных (находящихся вне нашего тела) и социальных личностей в промежутке. Часто природная склонность заботиться о себе вызывает в нас стремление расширять различные стороны личности; мы преднамеренно отказываемся от развития в себе лишь того, в чем не надеемся достигнуть успеха. Таким-то образом наш альтруизм является «необходимой добродетелью», и циники, описывая наш прогресс в области морали, не совсем без основания напоминают при этом об известной басне про лису и виноград. Но таков уж ход нравственного развития человечества, и если мы согласимся, что в итоге те виды личностей, которые мы в состоянии удержать за собой, являются (для нас) лучшими по внутренним достоинствам, то у нас не будет оснований жаловаться на то, что мы постигаем их высшую ценность таким тягостным путем.

Конечно, это не единственный путь, на котором мы учимся подчинять низшие виды наших личностей высшим. В этом подчинении, бесспорно, играет известную роль этическая оценка, и, наконец, немаловажное значение имеют здесь суждения, высказанные нами о поступках других лиц. Одним из курьезнейших законов нашей (психической) природы является то обстоятельство, что мы с удовольствием наблюдаем в себе известные качества, которые кажутся нам отвратительными у других. Ни в ком не может возбудить симпатии физическая неопрятность иного человека, его жадность, честолюбие, вспыльчивость, ревность, деспотизм или заносчивость. Предоставленный абсолютно самому себе, я, может быть, охотно позволил бы развиваться этим склонностям и лишь спустя долгое время оценил положение, которое должна занимать подобная личность в ряду других. Но так как мне постоянно приходится составлять суждения о других людях, то я вскоре приучаюсь видеть в зеркале чужих страстей, как выражается Горвич, отражение моих собственных и начинаю мыслить о них совершенно иначе, чем их чувствовать. При этом, разумеется, нравственные принципы, внушенные с детства, чрезвычайно ускоряют в нас появление склонности к рефлексии.

Таким-то путем и получается, как мы сказали, та шкала, на которой люди иерархически располагают различные виды личностей по их достоинству. Известная доля телесного эгоизма является необходимой подкладкой для всех других видов личности. Но чувственный элемент стараются приуменьшить или в лучшем случае уравновесить другими свойствами характера. Материальным видам личностей, в более широком смысле слова, отдается предпочтение перед непосредственной личностью — телом. Жалким существом почитаем мы того, кто не способен пожертвовать небольшим количеством пищи, питья или сна ради общего подъема своего материального благосостояния. Социальная личность в ее целом стоит выше материальной личности в ее совокупности. Мы должны более дорожить нашей честью, друзьями и человеческими отношениями, чем здоровьем и материальным благополучием. Духовная же личность должна быть для человека высшим сокровищем: мы должны скорее пожертвовать друзьями, добрым именем, собственностью и даже жизнью, чем утратить духовные блага нашей личности.

Во всех видах наших личностей — физическом, социальном и духовном — мы проводим различие между непосредственным, действительным, с одной стороны, и более отдаленным, потенциальным, с другой, между более близоруким и более дальновидным точками зрения на вещи, действуя наперекор первой и в пользу последней. Ради общего состояния здоровья необходимо жертвовать минутным удовольствием в настоящем; надо выпустить из рук один доллар, имея в виду получить сотню; надо порвать дружеские сношения с известным лицом в настоящем, имея в виду при этом приобрести более достойный круг друзей в будущем; приходится проигрывать в изяществе, остроумии, учености, дабы надежнее стяжать спасение души.

Из этих более широких потенциальных видов личностей потенциальная общественная личность

является наиболее интересной вследствие некоторых парадоксов и вследствие ее тесной связи с нравственной и религиозной сторонами нашей личности. Если по мотивам чести или совести у меня хватает духу осудить мою семью, мою партию, круг моих близких; если из протестанта я превращаюсь в католика или из католика в свободомыслящего; если из правоверного практика аллопата я становлюсь гомеопатом или каким-нибудь другим сектантом медицины, то во всех подобных случаях я равнодушно переношу потерю некоторой доли моей социальной личности, ободряя себя мыслью, что могут найтись лучшие общественные судьи (надо мной) сравнительно с теми, приговор которых направлен в данную минуту против меня.

Апеллируя к решению этих новых судей, я, быть может, гонюсь за весьма далеким и едва достижимым идеалом социальной личности. Я не могу рассчитывать на его осуществление при моей жизни; я могу даже ожидать, что последующие поколения, которые одобрили бы мой образ действий, если бы он им был известен, ничего не будут знать о моем существовании после моей смерти. Тем не менее чувство, увлекающее меня, есть, бесспорно, стремление найти идеал социальной личности, такой идеал, который по крайней мере заслуживал бы одобрение со стороны строжайшего, какой только возможен, судьи, если бы таковой был налицо. Этот вид личности и есть окончательный, наиболее устойчивый, истинный и интимный предмет моих стремлений, Этот судья — Бог, Абсолютный Разум, Великий Спутник. В наше время научного просвещения происходит немало споров по вопросу о действенности молитвы, причем выставляется много оснований pro и contra. Но при этом почти не затрагивается вопрос о том, почему именно мы молимся, на что не трудно ответить ссылкой на неудержимую потребность молиться. Не лишено вероятия, что люди так действуют наперекор науке и на все будущее время будут продолжать молиться, пока не изменится их психическая природа, чего мы не имеем никаких оснований ожидать. <...>

Все совершенствование социальной личности заключается в замене низшего суда над собой высшим; в лице Верховного Судии идеальный трибунал представляется наивысшим; и большинство людей или постоянно, или в известных случаях жизни обращаются к этому Верховному Судии. Последнее исчадие рода человеческого может таким путем стремиться к высшей нравственной самооценке, может признать за собой известную силу, известное право на существование.

Для большинства из нас мир без внутреннего убежища в минуту полной утраты всех внешних социальных личностей был бы какой-то ужасной бездной. Я говорю «для большинства из нас», ибо индивиды, вероятно, весьма различаются по степени чувств, какие они способны переживать по отношению к Идеальному Существо. В сознании одних лиц эти чувства играют более существенную роль, чем в сознании других. Наиболее одаренные этими чувствами люди, наверное, наиболее религиозны. Но я уверен, что даже те, которые утверждают, будто совершенно лишены их, обманывают себя и на самом деле хоть в некоторой степени обладают этими чувствами. Только нестадные животные, вероятно, совершенно лишены этого чувства. Может быть, никто не в состоянии приносить жертвы во имя права, не олицетворяя до некоторой степени принцип права, ради которого совершается известная жертва, и не ожидая от него благодарности.

Другими словами, полнейший социальный альтруизм едва ли может существовать; полнейшее социальное самоубийство едва ли когда приходило человеку в голову. <...>

Телеологическое значение забот о своей личности. На основании биологических принципов легко показать, почему мы были наделены влечениями к самосохранению и эмоциями довольства и недовольства собой. <...> Для каждого человека прежде всего его собственное тело, затем его ближайшие друзья и, наконец, духовные склонности должны являться в высшей степени ценными объектами. Начать с того, что каждый человек, чтобы существовать, должен иметь известный минимум эгоизма в форме инстинктов телесного самосохранения. Этот минимум эгоизма должен служить подкладкой для всех дальнейших сознательных актов, для самоотречения и еще более утонченных форм эгоизма. Если не прямо, то путем переживания приспособленнейшего все духи привыкли принимать живейший интерес в участии своих телесных оболочек, хотя и независимо от интереса к чистому «я», интереса, которым они также обладают.

Нечто подобное можно наблюдать и по отношению к судьбам нашей личности в воображении других лиц. Я бы теперь не существовал, если бы не научился понимать одобрительные или неодобрительные выражения лиц, среди которых протекает моя жизнь. Презрительные лее взгляды, которые окружающие меня люди бросают друг на друга, не должны производить на меня особенно сильного впечатления. Мои духовные силы также должны интересоваться меня более, чем духовные силы окружающих, и на том же основании. Меня бы не было в той среде, где я теперь нахожусь, если бы я не влиял культурным образом на других и не оказывал бы им поддержки. При этом закон природы, научивший меня однажды дорожить людскими отношениями, с тех пор навсегда заставляет меня дорожить ими.

Телесная, социальная и духовная личности образуют естественную личность. Но все они являются, собственно говоря, объектами мысли, которая во всякое время совершает свой процесс познания; поэтому при всей правильности эволюционной и биологической точек зрения нет оснований думать, почему бы тот или другой объект не мог первичным инстинктивным образом зародить в нас страсть или интерес. Явление страсти по происхождению и сущности всегда одно и то же, независимо от конечной цели; что именно в данном случае является объектом наших стремлений — это дело простого факта. Я могу в такой же степени и так же инстинктивно быть увлечен заботами о физической безопасности моего соседа, как и моей собственной телесной безопасности. Это и наблюдается на наших заботах о теле собственных детей. Единственной помехой для чрезмерных проявлений неэгоистических интересов является естественный отбор, который искореняет все то, что было бы вредным для особи и для ее вида. Тем не менее многие из подобных влечений остаются неупорядоченными, например половое влечение, которое в человечестве проявляется, по-видимому, в большей степени, чем это необходимо; наряду с этим еще остаются наклонности (например, наклонность к опьянению алкоголем, любовь к музыке, пению), влечения, не поддающиеся никаким утилитарным объяснениям. Альтруистические и эгоистические инстинкты, впрочем, координированы. Стоят они, насколько мы можем судить, на том же психологическом уровне. Единственное различие между ними в том, что так называемые эгоистические инстинкты гораздо многочисленнее. Итог. Следующая таблица может служить итогом сказанного выше. Эмпирическая жизнь нашей личности может быть подразделена следующим образом.

Б. Познающий элемент в личности

Сравнительно с эмпирической личностью, чистое Его представляет гораздо более сложный предмет для исследования. «Я» есть то, что в каждую данную минуту сознает, между тем как эмпирическая личность есть только одна из создаваемых объектов. Другими словами, чистое «я» есть мыслящий субъект. Немедленно возникает вопрос: что такое этот «мыслящий субъект»? Является он одним из преходящих состояний сознания или чем-то более глубоким и неизменным? Текучесть нашего сознания представляет саму воплощенную изменчивость. Между тем всякий из нас добровольно рассматривает свое «я» как нечто постоянное, неизменяющееся. Это обстоятельство побудило большую часть философов предполагать за изменчивыми состояниями сознания существование некоторого неизменного субстрата, деятеля, который и вызывает такие изменения. Этот деятель и есть мыслящий субъект. То или другое частное состояние сознания является простым орудием, средством в его руках. Душа, дух, трансцендентальное «я» — вот разнородные названия для этого наименее изменчивого субъекта мысли. Не подвергая пока этих понятий анализу, постараемся определить как можно точнее понятие изменчивого состояния сознания.

Единство в изменчивости сознания. Уже говоря об измерении ощущений с точки зрения Фехнера, мы видели, что нет никаких оснований считать их сложными. Но что верно об ощущениях простейших качеств, то распространяется и на мысли о сложных предметах, состоящих из многих частей. Это положение идет, к сожалению, вразрез с широко распространенным предрассудком и потому требует

более подробных доказательств. С точки зрения здравого смысла, равно как и с точки зрения почти всех психологических школ, не вызывает сомнения тот факт, что мысль слагается ровно из столько же идей, сколько в объекте мысли элементов, причем эти идеи бывают, по-видимому, смешаны, но в сущности они раздельны. «Не представляет никаких затруднений допустить, что ассоциация объединяет идеи неопределенного числа индивидов в одну сложную идею, — говорит Дж. Милль, — ибо это общеизвестный факт. Разве у нас нет идеи «армия»? И разве эта идея не есть комплекс идей неопределенного числа людей?».

Можно привести множество подобных цитат, и читатель с первого взгляда, пожалуй, готов склониться в их пользу. Предположим, он думает: «На столе лежит колода карт». Если он станет размышлять сам с собой, то ему придут в голову примерно следующие соображения: «Разве я не думаю о колоде карт? Разве идея карт не заключается в идее колоды? Разве я не думаю в то же время о столе, наконец, о ножках стола? Разве моя мысль не включает в себя частью идею колоды и частью идею стола? Далее, разве с каждой частью колоды не связана идея части каждой карты, а с идеей части стола идея части каждой ножки? Разве каждая из этих частей не есть идея? Но в таком случае разве моя мысль не есть некоторый комплекс идей, из которых каждая соответствует некоторому познаваемому элементу?» Удивительно неосновательны подобные соображения, хотя бы они и казались заслуживающими одобрения. Представляя комплекс идей, из которых каждая выражает известный элемент воспринимаемого факта, мы не представляем себе ничего такого, что давало бы нам знание о целом факте сразу. Согласно разбираемой гипотезе комплекса идей, идея, которая, например, сообщает нам знание о пиковом тузе, должна быть непричастна к идее ножки стола, ибо в силу данной гипотезы знание последнего факта нуждается в особой специальной идее; то же следует распространить и на все остальные идеи, из которых каждая окажется чуждой содержанию другой. И тем не менее фактически человеческий ум, познавая карты, познает и стол, и его ножку, все эти вещи познаются им в известных отношениях друг к другу и притом сразу. Наши понятия об отвлеченных числах (8, 4, 2) являются для познающего ума такими же единичными ощущениями, как и понятие единицы. Идея пары не есть пара идей. Читатель, быть может, спросит меня: «Разве вкус лимонада не равен вкусу лимона плюс вкус сахара?» Нет, возражу я на это, нельзя смешивать сочетание веществ с сочетанием ощущений. Физический лимонад состоит из лимона и сахара, но вкус его не есть простая сумма вкусов сахара и лимона, ибо, конечно, во вкусе лимонада вы всего меньше найдете вкус чистой лимонной кислоты, с одной стороны, и вкус сахарной сладости — с другой. Этих вкусов совершенно нет в лимонаде. Есть в лимонаде вкус, напоминающий до известной степени и лимон, и сахар, но этот вкус представляет во венком случае своеобразное состояние сознания.

Раздельные состояния сознания не могут смешиваться. Мысль, будто наши идеи суть лишь сочетания более мелких элементов сознания, не только невероятна — она включает в себе логическую невозможность. Высказывающие эту мысль упускают из виду характернейшие черты, какие нам известны относительно сочетаний.

Все известные нам комбинации представляют собой результат воздействий, оказываемых единицами (которые мы называем входящими в комбинации) на некоторую сущность, отличающуюся от них самих. Без этого представления посредующего фактора понятие комбинации не имеет смысла. Другими словами, сущности (назовете ли вы их силами, материальными частицами или психическими элементами) не могут слагаться сами по себе друг с другом в нечто качественно новое, как бы ни было велико их число. Каждое в сумме или остается тем, чем оно было, и сумма кажется существующей сама по себе только для постороннего зрителя, который упустил из виду составляющие элементы и рассматривает ее непосредственно, лишь как таковую, или же сумма может существовать в виде фактора, действующего на какую-нибудь другую сущность, внешнюю по отношению к ней. Мы говорим, что H_2 и O дают воду и тем самым проявляют новые свойства, но эта вода есть не что иное, как прежние атомы в новом расположении: $H - O - H$; новые свойства заключаются только в комбинированном действии, производимом атомами в их новом расположении (в виде воды) на внешнюю среду, например на наши органы чувств и на различные реагенты, в которых проявляются

химические свойства воды. Совершенно таким же образом силы многих людей суммируются, когда они все вместе тянут за веревку, силы множества мышечных волокон суммируются, прилагаясь к одному сухожилию.

В параллелограмме сил не силы слагаются в равнодействующую — диагональ, но тело, на которое они действуют, перемещается по направлению равнодействующей. Равным образом и музыкальные звуки не сочетаются сами по себе в консонансы или диссонансы. Консонансы и диссонансы суть названия для комбинированных воздействий звуков на внешнюю среду — на ухо.

Когда за элементарные единицы принимают ощущения, то суть дела остается неизменной. Возьмите сотню их, смешайте, соедините как можно теснее (если это может что-нибудь значить) — и все же каждое ощущение останется тем же, чем оно было, замкнутым само в себе, слепым, чуждым по отношению к другим ощущениям и к их значению. Образовав подобную группу из 100 ощущений, мы получим некоторое 101-е ощущение, возникнет новый акт сознания, обнимающий группу как таковую и представляющий совершенно новый факт. В силу какого-нибудь курьезного закона природы 100 первоначальных ощущений в отдельности могли бы предварять их творческий синтез (мы ведь часто знакомимся со слагаемыми элементами, прежде чем встретим их объединенными в сумму), но реального тождества между ними и их суммой и наоборот нет; нельзя вывести одно из другого или в сколько-нибудь понятном смысле говорить об эволюции суммы из совокупности слагаемых.

Возьмем какую-нибудь фразу из 12 слов и распределим эти слова по одному между 12 лицами, поставим их в ряд или соберем в тесную группу — и пусть каждое лицо мысленно произносит свое слово с наивозможно большей напряженностью, и все-таки никому не придет в голову целая фраза. Правда, мы говорим о «духе века», о «народном чувстве» и, вообще, различным образом олицетворяем «общественное мнение». Но нам хорошо известен этот условный способ выражения, и мы никогда не помышляем о том, чтобы «дух», «мнение» или «чувство» относились к некоторому добавочному собирательному сознанию, а не служили для обозначения совокупности сознаний отдельных индивидов, обозначаемой словами «век», «народ», «общество».

Отдельные сознания не сливаются в высшее сложное сознание. Этот факт всегда служил в психологии неотразимым доводом спиритуалистов против сторонников ассоцианизма. Последние утверждают, что ум состоит из множества отдельных идей, ассоциированных в одну. «Есть, — говорят они, — в нашем сознании идея a и идея b . Значит, есть также идея a и b , взятых вместе, т. е. $a+b$ ». Говорить так — все равно что утверждать, будто в алгебре квадрат a + квадрат b = квадрату $(a+b)$, т. е. $[a^2 + b^2 = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2]$. Подобное утверждение — очевидная нелепость. Идея a + идея b не тождественны с идеей $a+b$; здесь — одна идея, там — две; в последнем случае то, что познает a , познает также и b ; в первом случае нечто, познающее a , преднамеренно означено не знающим b . Короче говоря, две идеи в силу законов логики никогда не могут выражаться одной идеей. Если какая-нибудь идея (например, идея $a+b$) следует в опыте за двумя отдельными идеями (a и b), то мы должны ее считать продуктом позднейших особых факторов сравнительно с факторами, вызвавшими на свет существование предшествовавших идей a и b .

Впрочем, если вообще допускать существование потока сознания, то всего проще было бы предположить, что существующие идеи всегда сознаются как отдельная струя этого потока. При восприятии множества объектов в мозгу могут протекать многочисленные процессы. Но психическое явление, относящееся к этим многочисленным процессам, представляет одно цельное устойчивое или преходящее состояние сознания, воспринимающего разнородные объекты.

Душа как комбинирующее начало. Представители спиритуализма в философии всегда были склонны утверждать, что одновременно познаваемые (разнородные) объекты познаются чем-то, причем это нечто, по словам этих философов, не есть чисто переходящая мысль, но некоторая простая и неизменяющаяся духовная сущность, на которую воздействуют, сочетаясь, многочисленные идеи. В данном случае для нас безразлично, будем ли мы называть эту сущность «душой», «духом» или «я», — ее главной функцией все же окажется роль комбинирующей среды. В душе мы встретим носителя познания, отличающегося от того потока, в котором, как мы выше указали, таинственный процесс

познания мог совершаться с такой простотой. Кто же на самом деле является познающим субъектом: неизменная духовная сущность или преходящее состояние сознания? Если бы мы имели иные, до сих пор еще не предусмотренные основания для допущения души в нашу психологию, то в силу этих оснований она, может быть, оказалась бы также и познающим субъектом. <...> Вполне объяснить допущение души невозможно, но оно может фигурировать в психологии лишь как первичный, неразложимый далее факт.

Но имеются другие мотивы в пользу допущения души в психологии, важнейший из них — это чувство личного тождества.

Чувство личного тождества. В предшествующей главе мы показали, что мысли, существование которых достоверно, не носятся беспорядочно в нашей голове, но кажутся принадлежащими тому, а не другому определенному лицу. Каждая мысль среди множества других может отличить родственную от чуждых ей. Родственные мысли как будто живо чувствуют свое родство, чего вовсе нельзя сказать про мысли, чуждые одна другой; в результате моя вчерашняя личность чувствуется тождественной с моей личностью, умозакрывающей в данную минуту. Как чисто субъективное явление, это суждение не представляет ничего особенно таинственного. Оно принадлежит к большому классу суждений о тождестве, и нисколько не более замечательно выражение мысли о тождестве в первом лице, чем во втором или третьем; умственный процесс представляется по существу тождественным, скажу ли я: «Я тождествен с моей личностью в прошедшем» или: «Это перо то же, каким оно было и вчера». Одно так же легко думать, как и противоположное. Весь вопрос в том, будет ли подобное суждение правильным. Имеет ли место тождество в данном случае на самом деле?

Тождество в личности как познаваемом элементе. Если в суждении «Моя личность тождественна с моей вчерашней личностью» мы будем понимать личность в широком смысле слова, то, очевидно, что во многих отношениях она является не тождественной. Как конкретная личность, я отличаюсь от того, чем я был: тогда я был, например, голоден, а теперь сыт; тогда гулял — теперь отдыхаю; тогда я был беднее — теперь богаче; тогда моложе — теперь старше и т. д. И тем не менее в других отношениях, которые мы можем признать наиболее существенными, я не изменился. Мое имя, моя профессия, мои отношения к окружающим остались теми же; мои способности и запас памяти не изменились с тех пор заметным образом. Кроме того, моя тогдашняя и теперешняя личности непрерывны; изменения там происходили постепенно и никогда не касались сразу всего моего существа.

Таким образом, мое личное тождество с самим собой по характеру решительно ничем не отличается от тождества, устанавливаемого между какими-нибудь вещественными агрегатами. Это — умозаключение, основанное или на сходстве в существенных чертах, или на непрерывности сравниваемых явлений, Термин тождество личности должен иметь только то значение, которое гарантируется указанными основаниями; его не следует понимать в смысле абсолютного, метафизического единства, в котором должны ступаться все различия. Личность в ее настоящем и прошедшем лишь постольку тождественна, поскольку в ней действительно есть тождественность — не более. Ее тождество — родовое. Но это родовое тождество существует со столь же реальными родовыми особенностями, и если с одной точки зрения я представляю одну личность, то с другой я с таким же основанием могу считаться многими личностями.

То же можно сказать и о признаке непрерывности: он сообщает личности только единство «сплошности», цельности, некоторое вполне определенное эмпирическое свойство — и ничего более. Тождество в личности как познающем элементе. Всё, что до сих пор говорилось, относилось к личности как познаваемому элементу в сознании. В суждении «Я тождествен с самим собой» мы понимали «я» в широком смысле слова, как конкретную личность. Теперь попробуем рассматривать «я» с более узкой точки зрения, как познающий субъект, как то, к чему относятся и чем познаются все конкретные свойства личности, Разве в таком случае не окажется, что «я» в различные промежутки времени абсолютно тождественно? Нечто, постоянно выходящее из своих пределов настоящего, сознательно присваивающее себе личность прошедшего и исключаящее из себя то, что не принадлежит последней как чуждое, разве это нечто не представляет собой некоторого постоянного

неизменного принципа духовной деятельности, который всегда и везде тождествен с самим собой? В области философии и в обыденной жизни господствующим ответом на этот вопрос является утвердительный ответ; и тем не менее эту мысль трудно оправдать, подвергнув ее логическому анализу. Если бы не существовало преходящих состояний сознания, тогда действительно мы могли бы предположить, что неизменный, абсолютно тождественный сам с собою принцип является в каждом из нас непрестанно мыслящим субъектом. Но если признать отдельные состояния сознания за реальные факты, то нет надобности предполагать никакого субстанционального тождества для познающего субъекта.

Вчерашние и сегодняшние состояния сознания не имеют никакого субстанционального тождества, ибо в то время, как одни из них здесь, налицо, другие безвозвратно умерли, исчезли. Их тождество — функциональное, так как те и другие познают те же объекты, и поскольку прошлое моей личности является одним из этих объектов, постольку они тождественным образом к нему относятся, благоволя к нему, называя его своим и противопоставляя его всем другим познаваемым вещам. Это функциональное тождество личности представляется нам единственным видом тождества, которое необходимо допустить, исходя из фактов опыта. Ряд лиц с совершенно одинаковым по содержанию прошлым являются совершенно адекватными носителями того эмпирического тождества личности, которое в действительности имеет каждый из нас. Психология, как естественная наука, должна допустить существование потока психических состояний, совершенно аналогичного подобным же процессам мысли у последовательного ряда лиц, и притом потока таких душевных состояний, из которых каждое связано со сложными объектами познания, переживает по отношению к ним различные эмоции и делает между ними известный выбор.

Из всего сказанного логически вытекает следующее: психология имеет дело только с теми или другими состояниями сознания. Доказывать существование души — дело метафизики или богословия, но для психологии такая гипотеза субстанционального принципа единства излишня.

Как наше «я» присваивает себе содержание личности. Но почему же каждое последовательное состояние сознания присваивает себе прошедшее содержание личности? Выше я упомянул о том, что мой минувший жизненный опыт представляется мне в таком симпатичном свете, в каком мне никогда не является минувший опыт других. Постараемся найти для этого надлежащее объяснение. Моя настоящая личность ощущается мною с оттенком родственности и теплоты. В этом случае есть тяжелая теплая масса моего тела, есть и ядро моей духовной личности — чувство внутренней активности. Без одновременного сознания этих двух объектов для нас невозможно реализовать настоящую личность.

Всякий предмет, находящийся в отдалении, если он удовлетворяет этим условиям, будет сознаваться нами с таким же чувством теплоты и родственности.

Но какие отдаленные объекты действительно удовлетворяют этому условию? Очевидно, те, и только те, которые удовлетворяли этому условию прежде, во время их существования. Их мы будем всегда вспоминать с чувством живейшей симпатии; к ним, может быть, еще снова будут склоняться на самом деле импульсы нашей внутренней активности. Естественным следствием этого будет то, что мы станем ассимилировать минувшие состояния нашего сознания друг с другом и с теперешним чувством симпатии и интимности в нашей личности и в то же время отделять их в виде группы от посторонних объектов, не удовлетворяющих этому условию совершенно так же, как американский скотовод, выпустив на зиму табуны и стада пастись на какую-нибудь широкую западную прерию, весной, при появлении скупщика, из массы животных, принадлежащих различным лицам, выбирает и сортирует принадлежащих ему и имеющих особый знак.

Нечто совершенно аналогичное представляет для нас наш минувший опыт. Опыт других людей, как бы много я ни знал о нем, всегда лишен того живого клейма, которым обладают объекты моего собственного прошедшего опыта. Вот почему Петр, проснувшись в одной постели с Павлом и вспоминая то, о чем они думали оба перед сном, присваивает себе и отождествляет симпатичные идеи как свои и никогда не чувствует наклонности смешать их с холодными и бледными образами, в

которых ему представляется душевная жизнь Павла. Такая ошибка столь же невозможна, как невозможно смешать свое тело, которое видишь и чувствуешь, с телом другого человека, которое только видишь. Каждый из нас, проснувшись, говорит: «Вот опять здесь моя прежняя личность», — так же как он мог бы сказать; «Вот опять здесь прежняя кровать, прежняя комната, прежний мир». Подобным же образом в часы нашего бодрствования, несмотря на то что одно состояние сознания умирает, постоянно заменяясь другим, все же это другое состояние сознания среди познаваемых объектов находит своего предшественника и, усматривая в нем описанным выше образом неостывшую живость, благоволяет к нему, говоря: «Ты мое, ты — часть того же сознания, что и я». Каждая позднейшая мысль, обнимая собой и познавая предшествующие мысли, является конечным преемником и обладателем их содержания. По словам Канта, здесь совершается нечто аналогичное тому, как если бы упругие шары были одарены не только движением, но и осознанием этого движения и первый шар сообщал свое движение и осознание его второму, который сообщал бы и то и другое вместе со своим осознанием и движением третьему, пока, наконец, последний шар не заключал бы в себе все, сообщенное другими, и не осознал бы все это как свое собственное. Благодаря подобному фокусу, когда зарождающаяся мысль немедленно подхватывает исчезающую и присваивает себе ее содержание, в нашем сознании образуется связь между отдаленнейшими элементами нашей личности. Кто обладает последним по времени элементом сознания, обладает и предпоследним, ибо обладающий обладателем обладает и обладаемым. Невозможно указать никаких черт в личном тождестве, существование которых можно было бы доказать опытным путем и которые не были бы нами выше указаны; невозможно представить себе, как трансцендентальный принцип единства (если бы он был в данном случае налицо) мог бы ради известной цели объединить материал или познаваться не в качестве продукта потока сознания, в котором каждая последующая часть познает и, познавая, охватывает и присваивает себе все предшествовавшее, являясь представителем всего прошлого потока, с которым ее нельзя (реально) отождествлять.

Изменения и раздвоения личности. Личность, как и всякий другой агрегат, при росте изменяется. Преходящие состояния сознания, которые должны были бы сохранять сознание тождества личности с протекшими ранее процессами мысли, уклоняются от своей обязанности, теряя большие промежутки в прошлом из своего поля зрения и представляя другие части в неправильном порядке. Тождество личности, которое мы заключаем в себе при созерцании какой-нибудь длинной процессии, может, в сущности, быть лишь медленным изменением этой личности, в котором, однако, задерживаются некоторые общие элементы. Самый общий элемент личности, и притом самый однообразный, — это обладание общей памятью.

Человек в зрелом возрасте может резко отличаться от себя же самую в юности, но оба они, обращая мысленный взор к тому же детству, называют до детство своим. Таким образом, тождество между нашим «я» и нашей личностью относительно; в итоге это тождество является совершенно таким же, какое найдет в группе тех же воспринимаемых нами объектов и посторонний наблюдатель. Мы часто говорим о человеке: «Он так изменился, что его трудно узнать»; несколько реже люди сами дают о себе подобный отзыв. Перемены в личности, подмечаемые нашим «я» или внешним наблюдателем, могут быть в одном случае резкими, в другом — едва заметными. Рассмотрим их подробнее. Изменения личности могут быть подразделены на два больших класса: 1) изменения памяти и 2) изменения настоящей личности, телесной и духовной.

1. Изменения памяти так обыденны, что о них нам нет надобности говорить. Они представляют нормальное явление жизни, особенно в годы развития, и личность человека, слагаясь, переживает изменения *pari passu* (равномерно) одновременно с исчезновением фактов из памяти. Воспоминания о снах и фактах, пережитых в гипнотическом состоянии, редко сохраняются.

Обманы памяти также довольно часты, и своим появлением они искажают состав нашей личности. Многие, вероятно, сомневаются относительно подлинности фактов, приписываемых их прошлому. Быть может, они были очевидцами чего-нибудь, говорили что-нибудь, но, быть может, это все им только привиделось или пригрезилось. Содержание сновидений часто переплетается причудливым

образом с содержанием действительной жизни.

Наиболее обыденным источником ложной памяти являются наши сообщения другим лицам о нашем прошедшем опыте. В таких сообщениях мы стараемся придать подлинным фактам более простой и более интересный характер. Мы говорим, скорее, о том, что могло бы быть нами сказано или сделано, чем о том, что нами сказано или сделано на самом деле. В начале рассказа мы вполне сознаем различие между возможным и действительно бывшим. Но в ходе повествования фикции воображения вытесняют из памяти подлинные факты, водворяются в ней и начинают всецело господствовать. Таков обширный источник ложных судебных показаний. В рассказах о чудесном повествование часто вступает на ложную дорогу, а память следует за ним.

2. Сравнительно с изменениями памяти ненормальные изменения личности представляют собой гораздо более серьезное расстройство. Последние бывают трех родов, по нашему знакомству с причинами этих изменений личности столь мало, что всякая классификация в этой области имеет условное значение: 1) умственное помешательство, 2) раздвоение личности, 3) медиумизм.

В безумии часто пункт помешательства относится к прошедшему, причем больной придает ему светлую или темную окраску, смотря по характеру болезни. Но худшим видом изменения личности является извращение чувств и воли в настоящем: здесь память о прошедшем не искажена, но больной начинает думать, что его настоящая личность представляет собой совершенно иного человека.

Аналогичное этому факту, но нормальное явление происходит при быстром расширении и волевых, и интеллектуальных свойств характера при наступлении половой зрелости. Патологические явления в этой области настолько любопытны, что их следует рассмотреть подробнее.

Основанием для нашей личности, по словам Рибо, является чувство жизненности. «Оно составляет основу сознания, — говорит Рибо, — потому что всегда налично, всегда непрерывно действует, не зная ни покоя, ни отдыха, не замирая ни на одно мгновение и продолжаясь столько же, сколько продолжается сама жизнь, одной из форм которой оно является. Оно служит субстратом той сознающей себя личности, которую образует наша память; оно представляет среду, объединяющую между собой группы наших ассоциаций. Предположим на минуту, что наше тело можно было заменить другим: скелет, мышцы, внутренности, сосуды, кожа — все обновлено, оставлена лишь прежняя нервная система с запечатленными на ней памятью следами минувших опытов. Несомненно, что в таком случае приток массы непривычных органических ощущений вызвал бы в нас сильнейшее умственное расстройство: между сознанием минувших впечатлений, закрепленных памятью в нервной системе, и новой личностью, проявляющей свою деятельность в новом направлении с чрезвычайной интенсивностью, образовалось бы в этом случае непримиримое противоречие.

В чем именно могут заключаться различные изменения телесной чувствительности, создающие подобные противоречия, этого по большей части нормальный человек не в состоянии и представить себе. У одного больного есть вторая личность, повторяющая вслед за ним все его мысли. Другие, к числу которых следует отнести часть величайших исторических личностей, обладают внутри себя «демонами», которые беседуют с ними. Третьим кажется, будто кто-то «приготавливает» для них мысли. Четвертые воображают, что имеют два тела, лежащие в двух различных постелях. Некоторым больным кажется, что они потеряли часть своего тела: зубы, мозг или желудок; другим мерещится, что их тело сделано из дерева, стекла, масла. Иные утверждают, что тело их не существует, оно умерло или что оно есть предмет по отношению к ним совершенно внешний. Порой отдельные части тела теряют связь с осознанием остальных частей и рассматриваются больным как принадлежащие постороннему лицу и движимые враждебной волей. У таких больных иногда правая рука вступает в борьбу с левой как с врагом. Иногда пациент приписывает свои крики другим лицам и выражает при этом соболезнование их несчастному положению».

Литература по психопатологии переполнена рассказами о подобных обманах чувств. Тэн приводит рассказ Крисхабера о страданиях его пациента, рассказ, из которого можно видеть, как далек нормальный жизненный опыт от того душевного состояния, которое может внезапно владеть человеком: «На второй и на третий день болезни наблюдения стали для меня совершенно

невозможными на несколько недель; болезнь моя в это время была слишком мучительна. Только в первых числах января я мог дать себе отчет о переживаемых мною душевных состояниях. Вот мое первое ясное воспоминание; я был один, расстройство зрения уже начинало мучить меня, как вдруг это расстройство приняло несравненно более острый характер. Предметы стали мне казаться малыми, люди и все окружающие объекты — удаленными на громадные расстояния. Я осматривался с ужасом и удивлением: окружающий мир ускользал от меня. В то же время я заметил, что голос мой звучал на далеком от меня расстоянии и казался принадлежащим кому-то другому. Я ударял ногой о землю и ощущал при этом ее сопротивление, но оно казалось мне призрачным — не почва казалась рыхлой, но вес моего тела представлялся мне ничтожным... Казалось, я вовсе не имею веса... Предметы, видимые мною на далеком расстоянии, представлялись мне плоскими.

Когда я заговаривал с кем-нибудь, мой собеседник казался мне фигурой, вырезанной из плоского куска картона. Эти ощущения я испытывал около двух лет с перерывами. Мне постоянно казалось, что ноги мои не принадлежат мне. Почти то же и относительно рук. Голова же моя, по-видимому, вовсе не существовала. Мне казалось, что я действую автоматически, подчиняясь внешнему импульсу. Внутри меня было какое-то новое существо наряду со старым, которое не принимало в новом никакого участия. Я отлично помню, как я однажды сказал самому себе, что страдания этого нового существа безразличны для меня. Мои иллюзии никогда не вводили меня в заблуждение, но ум мой утомлялся от непрерывного исправления новых впечатлений, и нередко я прекращал борьбу с призрачным миром, всецело погружаясь в злополучную жизнь моей новой личности. Я ощущал страстное желание увидеть снова мой прежний мир и вернуть себе прежнюю личность. Это желание удержало меня от самоубийства. Я был одной из двух личностей — старой и презирал другую; она была мне ненавистна; это, конечно, было другое лицо, принявшее мою внешность и овладевшее функциями моего организма» («De l' Intelligence»).

В случаях, подобных этому, очевидно, «я» остается неизменным: изменяется только личность. Иначе говоря, пациент в настоящем обнимает одной мыслью и прежнюю, и новую личность, поскольку ему не изменяет память. Но внутри области того объективного мира, который при нормальном состоянии ума так легко поддавался признанию и присваивался личностью как ее собственный, возникают при этом странные осложнения. Прошедшее и настоящее, сознаваемые в этом мире, не поддаются объединению. Где моя прежняя личность? Что за новая личность у меня теперь? Тождественны ли они? Или я обладаю двумя самостоятельными личностями? Такие вопросы, сопровождаемые попытками дать на них хоть какой-нибудь удовлетворительный ответ, невольно возникают у пациента в начале его ненормальной жизни.

Изменение личности в простейшей форме основывается на изменении памяти. Всякий человек, как мы показали, начинает чувствовать в себе несовместимые элементы личности, если он начинает забывать свои обязанности, долги, занятия и привычки, и, сообразуясь со степенью его забывчивости, мы судим, насколько изменилась его личность. Но в патологическом явлении, известном под названием раздвоение личности, потеря памяти происходит внезапно, причем ей обыкновенно предшествует период беспамятства или обморока различной продолжительности. Во время гипноза мы легко можем вызвать изменение личности, или внушая гипнотизируемому забыть все происходившее с ним с такого-то времени, причем он по душевному складу становится, например, ребенком; или говоря ему, что он совершенно другое лицо, чем на самом деле. В последнем случае все факты, относящиеся к его собственной личности, временно ускользают из его сознания и он всецело переносится в новый характер с быстротой, пропорциональной живости артистического воображения, которой он обладает. Но в патологических случаях такое изменение личности самопроизвольно. Наиболее знаменитым в летописях медицины случаем является, быть может, случай Фелиды X., сообщенный Азам, доктором из Бордо. На 15-м году эта девушка стала впадать во вторичное состояние, которое выражалось в изменении ее общих наклонностей и характера, как будто нечто, задерживавшее до сих пор проявление новых черт характера, внезапно исчезло. В течение вторичного состояния личности она помнила первое, но, возвращаясь к первому, утрачивала о втором всякое воспоминание.

На 43-м году вторичное состояние сознания (которое в целом превосходило по качеству первичное) стало преобладать и сделалось господствующей частью жизни. В продолжение его она помнила события, относящиеся к другому состоянию, но полное забвение о вторичном состоянии при возвращении к первоначальному часто бывало для нее тягостным, например, когда превращение одной личности в другую совершалось в карете по дороге на похороны: достигнув места назначения, больная не могла понять, кто из ее знакомых умер. В одном из своих ранних вторичных состояний Фелида забеременела и, придя в первичное, не могла понять, как это произошло. Душевные страдания, вызываемые этими пробелами в памяти, иногда достигали у нее большой интенсивности, так что однажды она даже покушалась на самоубийство.

Жанэ описывает еще более замечательный случай: «Леония Б., жизнь которой представляется скорее неправдоподобным романом, чем подлинной историей, с 3 лет начала страдать припадками сомнамбулизма. Начиная с 16 лет она постоянно подвергалась всевозможными лицами гипнотизированию; теперь ей 45 лет. Ее первичная нормальная жизнь протекала среди бедной деревенской обстановки, вторичная — в гостиных и приемных докторов. В настоящее время эта бедная крестьянка в нормальном виде представляет сосредоточенную, грустную особу, спокойную, неподвижную, чрезвычайно кроткую с окружающими и крайне робкую: при взгляде на нее и в голову не придет, какую личность она скрывает в себе. Но достаточно загипнотизировать ее, чтобы тотчас наступило полное превращение личности. Ее лицо становится неузнаваемым. Ее глаза, правда, закрыты, но острота других чувств заменяет ей зрение. Она весела, шумна, подвижна, иногда просто невыносима. Она сохраняет свой добрый характер, но обнаруживает чрезвычайную склонность к резкой жестикуляции и иронии.

В высшей степени любопытно послушать ее после посещения гостями сеанса, на котором ее гипнотизировали. Она характеризует каждого из них, передразнивает их жесты, претендует на знание их смешных сторон и страстишек и про каждого рассказывает целую историю. К этому надо прибавить, что Леония обладает поразительным запасом воспоминаний, о существовании которых она даже не подозревает в нормальном состоянии, ибо тогда у нее полная амнезия. Она начинает утверждать, что ее имя не Леония, а Леонтина — имя, к которому ее приучили первые гипнотизеры. «Эта добрая женщина, — говорит она тогда, — не я: она слишком глупа». Себе самой — Леонтине или Леонии 2-й — она приписывает все ощущения, поступки, вообще все, пережитое ею в состоянии сомнамбулизма, связывая эти части довольно продолжительной своей жизни в одну историю. Леонии 1-й (так называет Жанэ эту женщину в состоянии бодрствования. — У. Д.) она приписывает все пережитое ею в часы бодрствования. Сначала я был поражен важным исключением из этого правила и был склонен думать, что в этой классификации ее воспоминаний есть, быть может, некоторая произвольность. В нормальном состоянии у Леонии (по ее словам) были муж и дети, но Леония 2-я, сомнамбулистка, признавая, что дети принадлежат ей, мужа приписывала «другой». Если и был понятен этот выбор между детьми и мужем, то все же факт оставался необъяснимым. Только впоследствии я узнал, что в молодости ее загипнотизировали перед первыми родами, а впоследствии она и сама произвольно впадала перед родами в сомнамбулическое состояние.

Таким образом, Леония 2-я была совершенно права, приписывая себе детей, ибо она действительно была их матерью, и закономерность, в силу которой состояние ее первичного транса составляло особую личность, не нарушалась. То же распространялось и на глубочайшее вторичное состояние транса. После возобновленных пассивов и новой потери сознания пациентка делается совершенно новой личностью, приходя в состояние, названное мной Леонией 3-й. Она становится серьезнее и степеннее — вместо того чтобы резвиться, как дитя, она начинает медленно говорить и мало двигаться. Свое тождество с Леонией 1-й она и в этом состоянии отрицает. «Это не я, — по-прежнему говорит она, — она добрая женщина, только глупа». Она отрицает также свое тождество с Леонией 2-й. «Как вы можете находить во мне какое-либо сходство с этим полоумным существом? — говорит она. — К счастью, между нами нет ничего общего!»

3. В медиумизме наступление и исчезновение вторичного состояния совершается внезапно; это

состояние обыкновенно непродолжительно — от нескольких минут до нескольких часов. Если вторичное состояние выразилось в достаточно сильной степени, то, придя в норму, пациент совершенно утрачивает всякое воспоминание о происходившем во время транса. Испытуемый в течение вторичного состояния говорит, пишет или действует как будто под воздействием посторонней личности и часто называет себя иным лицом и рассказывает его историю. Это чуждое влияющее начало в старину называлось обыкновенно «демон» и называется так теперь в некоторых религиозных сектах. У нас, американцев, этой личностью в самом страшном случае является какой-нибудь индеец или другое безвредное причудливо разговаривающее лицо. Часто оно выдает себя за духа некоего умершего человека, известного или неизвестного присутствующим, и тогда пациент является так называемым медиумом.

Медиумическое состояние во всех степенях представляет, по-видимому, особый вполне естественный вид изменения личности и в некоторых формах является обычным у лиц, не представляющих в других отношениях никаких бросающихся в глаза аномалий. Явление это очень сложно, и его лишь недавно начали изучать строго научным образом. Слабейшую степень медиумического состояния представляет автоматическое письмо; слабейшим проявлением можно считать случаи, когда субъект сознает те слова, которые пишет, но чувствует какой-то внешний импульс, принуждающий его писать. Далее следует бессознательное письмо, производимое даже во время чтения или разговора.

К низшим фазам медиумизма относятся также речь и игра на музыкальных инструментах по наитию; здесь также нормальная личность субъекта сознательно принимает участие в ряде действий, хотя их инициатива исходит как будто со стороны. В высшей фазе наступает полный транс: у медиума изменяются голос, характер речи и т. д. — и при пробуждении не сохраняется о минувшем трансе никаких воспоминаний до наступления нового транса. Интересно, что речи, произносимые медиумами в трансе, сходны у различных индивидов. У нас в Америке влияние обнаруживается особенно часто в виде курьезной болтливой личности, говорящей на своеобразном жаргоне, в виде индейца, который называет дам *squaw's*, мужчин — *brawe's*, дом — *wigwam* и т. д.; иногда попадает личность интеллигентная, более высокого полета, тогда ее речь переполнена туманным, водянистым философствованием оптимистического характера, где встречаются фразы о духе, гармонии, красоте, законе, прогрессе, развитии и др.

Несмотря на разнообразные характеры медиумов, добрая половина речей, произносимых ими в трансе, до того стереотипна, что кажется, будто все они принадлежат одному автору. Я не знаю, отличаются ли бессознательные формы личности особенной восприимчивостью к влиянию некоего «духа времени», *Zeitgeist'a*, который вдохновляет их, но указанный нами факт стереотипности мысли наблюдается во всех вторичных состояниях личности, развиваемых в спиритических кружках. Медиумический транс вначале не отличается от действий гипнотического внушения. Субъект входит в роль медиума просто потому, что присутствующие ожидают от него действий, соответствующих данной обстановке. Производит эти действия он с большей или меньшей живостью в зависимости от способности играть роль. Странно только, что лица, не знакомые со спиритическими традициями, в состоянии транса производят то же самое: говорят от имени умерших, переживают эмоции нескольких своих предсмертных агоний, сообщают сведения о своей счастливой жизни в «стране вечного лета» и изобличают недостатки у лиц, участвовавших в сеансе.

Я не имею никакой теории, которую мог бы предложить для объяснения многих фактов, увиденных собственными глазами. Тем не менее я убежден на основании многочисленных наблюдений над одним медиумом в состоянии транса, что «дух» может быть совершенно не похож на нормальную личность испытуемого. Могу указать случай, где «духом» был некий французский доктор, который, как я убедился, знал всевозможные обстоятельства жизни, а также живых и умерших родных и знакомых бесчисленного множества участников сеансов, которых женщина-медиум никогда не встречала прежде и не знала даже по имени. Я высказал мое голословное, не подтвержденное никакими доказательствами мнение по этому вопросу не ради того, чтобы склонить других в пользу моих взглядов, но вследствие убеждения, что серьезное изучение явлений транса крайне важно для

психологии. Надеюсь, что мои личные заявления такого рода побудят, может быть, двух-трех читателей подвергнуть исследованию эту сферу явлений, которую так называемые жрецы науки обыкновенно не удостоивают внимания.

Итог главы и психологическое заключение. Подводя итоги, мы можем сказать следующее. Сознание личности заключается в осознании потока мысли, в котором каждая часть в качестве субъекта помнит предшествующие, знает известные этим частям объекты, сосредоточивает на некоторых из них свои заботы как на своей личности и присваивает последней все остальные элементы познания. Эта личность есть эмпирически данный агрегат объективно познаваемых вещей. Познающее их «я» само не может быть агрегатом; равным образом для психологических целей нет надобности принимать его и за неизменную метафизическую сущность — душу или трансцендентальное; пребывание «вне времени» Его. Наше «я» — это мышление, в котором содержание в каждый момент различно, но которое имплицитно заключает в себе как непосредственно предшествующее, так и то, что в свою очередь заключалось в предшествующем. Мы опишем все данные опыты, не искаженные никакими гипотетическими примесями, кроме допущения существования преходящих процессов мысли или состояний сознания.

Если существование последних непосредственно доказуемо (а в том не сомневалась ни одна философская школа), то их можно принять за единственный познающий элемент в сознании, в допущении которого нуждается психология. Единственный способ, с помощью которого я мог бы ввести в психологию трансцендентальное начало познающего субъекта, заключается в том, чтобы отвергать возможность какого-либо непосредственного знания о существовании наших состояний сознания, знания, на которое претендует здравый смысл. Тогда существование этих состояний стало бы совершенно гипотетическим или заключалось в постулировании некоторого познающего начала, относящегося ко всему познаваемому. Но решение вопроса, в чем заключается это познающее начало, составило бы предмет метафизического исследования. При такой постановке вопроса было бы необходимо наряду с нашими психологическими задачами анализировать с объективным беспристрастием *prima facie* (на первый взгляд) понятие мирового духа или группы обособленных духовных субстанций, мыслящих через нашу индивидуальную личность.

Я полагаю, что в будущем предстоит немало исследований в этом направлении. Состояния сознания, наличность которых в нас не отвергает ни один психолог, не поддаются точному определению, если их отделить от познаваемых объектов. Но сомневаться в их существовании с нашей естественноисторической точки зрения нет оснований. Таким образом, вот то условное решение вопроса о личности, к которому мы пришли и которое должно быть в нашем курсе и конечным выводом: познающий элемент в сознании — это сами мысли.

Глава XIII

Внимание

Ограниченность сознания. Одной из характернейших особенностей нашей духовной жизни является тот факт, что, находясь под постоянным наплывом все новых и новых впечатлений, проникающих в область наших чувств, мы замечаем лишь самую ничтожную долю их. Только часть одного итога наших впечатлений входит в наш так называемый сознательный опыт, который можно уподобить ручейку, протекающему по широкому лугу. Несмотря на это, впечатления внешнего мира, исключаемые нами из области сознательного опыта, всегда воздействуют так же энергично на наши органы чувств, как и сознательные восприятия. Почему эти впечатления не проникают в наше сознание — тайна, для которой принцип «ограниченности сознания» (*die Enge des Bewusstseins*) представляет не объяснение, а одно только название.

Физиологическая подкладка. Область сознаваемого нами, конечно, покажется очень ограниченной, если сопоставить ее с обширной областью внешних воздействий на органы чувств и с массой

постоянно притекающих извне новых впечатлений. Очевидно, никакое впечатление не может попасть в область сознательного, если ему не удастся проникнуть по известному пути в мозговые полушария и вызвать там определенные физиологические процессы. Когда центростремительный ток проник в полушарие и производит там какие-то действия, другие токи оказываются на время задержанными. Они могут как бы заглядывать из-за дверцы в область сознания, но впечатление, завладевшее в данную минуту последним, вытесняет их обратно. Таким образом, физиологически ограниченность сознания зависит, по-видимому, от того, что деятельность полушарий стремится постоянно быть объединенным и неразрывным актом, определяющимся то одним, то другим током, но всегда представляющим одно целое. Мы называем интересующими нас в данную минуту те идеи, которые связаны с господствующим в мозгу комплексом физиологических процессов; таким образом, начало подбора в сознании, подробно разобранное нами выше, по-видимому, находит себе физиологические основания. Впрочем, в мозгу всегда есть склонность к распаду господствующего комплекса физиологических процессов. Их объединение редко бывает полным, задержанные токи редко бывают совершенно устранены, их действия проникают через границу и вторгаются в пределы сознательных физиологических процессов.

Рассеяние внимания. Иногда нормального объединения, по-видимому, почти не существует. В таких случаях нередко мозговая деятельность падает до минимума. Огромное большинство людей, по всей вероятности, несколько раз в день впадает в психическое состояние примерно следующего рода: глаза бесцельно устремлены в пространство, окружающие звуки и шумы смешиваются в одно целое, внимание до того рассеяно, что все тело воспринимается сразу как бы нечто неделимое и передний план сознания занят каким-то торжественным чувством необходимости заполнить чем-нибудь пустоту времени. На тусклом фоне нашего сознания чувствуется полное недоумение. Мы не знаем, что нужно делать: вставать ли, одеваться ли, писать ли ответ лицу, с которым мы недавно разговаривали; вообще мы стараемся сообщить движение нашей мысли, но в то же время чувствуем, что не можем сдвинуться с места; наша *pensee de derriere la tete* (подспудная мысль) не в силах прорвать летаргическую оболочку, окутавшую личность. Каждую минуту ожидаем мы, что эти чары рассеются, ибо мы не видим причин, почему бы им продолжаться. Но они оказывают свое действие все долее и долее, и мы по-прежнему находимся под их обаянием, пока (также без всяких видимых причин) нам не сообщается запас энергии, что-то (что именно, мы не знаем) дает нам силу очнуться, мы начинаем мигать глазами, встряхиваем головой; мысли, оттесненные до сих пор на задний план, становятся в нас господствующими, колеса жизни вновь приходят в движение.

Такова крайняя степень того, что мы называем рассеянием внимания. Существуют промежуточные степени между этим состоянием и противоположным ему явлением сосредоточенного внимания, при котором поглощение интересом минуты так велико, что нанесения физического страдания испытуемый не чувствует. Промежуточные ступени были исследованы экспериментальным путем. Таким образом, мы подошли к вопросу об объеме сознания.

Объем сознания. Сколько объектов, не объединенных в одну систему, можем мы одновременно сознательно воспринимать? Каттель производил опыты, передвигая ряд букв перед глазами с быстротой малой доли секунды, так что, по-видимому, исключалась всякая возможность направить внимание на их последовательность. Когда буквы составляли знакомые слова, то их можно было заметить втрое больше, чем в случае, когда комбинации букв были бессмысленны. Когда слова, расположенные рядом, составляли осмысленную фразу, то можно было уловить двойное количество букв по сравнению с ситуацией, когда сочетание слов было случайным. «Осмысленная фраза схватывалась целиком. Когда она не схватывалась целиком, то из нескольких слов, составляющих ее, почти ничего не улавливалось; когда же она угадывалась вся, то отдельные слова представлялись наблюдателю очень отчетливо».

Слово есть связанная с известным концептом система знаков — букв, система, в которой буквы воспринимаются сознанием сразу, а не поодиночке, как в случае, когда мы их осознаем отдельно. Осмысленная фраза, быстро проносящаяся перед глазами, представляет подобную же систему слов.

Связанная с концептом система знаков может означать различные объекты наглядного представления, может быть позднее заменена ими, но сама по себе как наличное в данную минуту душевное состояние она не заключается в осознании этих объектов. Например, когда я думаю «человек», то объект моей мысли отличается от представления бессвязного ряда букв: ч, е, л, о, в, е, к. Если буквенные символы даны нам в столь бессвязной последовательности, что мы не можем связать их совокупность с известным концептом, то охватить их сразу несколько гораздо труднее: стремясь удержать в памяти одни из них, мы упускаем из виду другие. Впрочем, в известных границах можно избежать этого. Подан производил соответствующие эксперименты, декламируя вслух одно стихотворение и одновременно читая про себя другое, или записывая одну фразу и вслух в то же время произнося другую, или, наконец, производя на бумаге вычисления, читал вслух стихи. Он пришел к следующим выводам: «Наиболее благоприятным условием для двойной одновременной умственной деятельности является применение ее к двум разнородным процессам мысли. Два однородных и одновременных процесса мысли (например, два умножения, два чтения, вслух и про себя, декламация и письмо) выполняются с большим трудом и приводят к более неопределенным результатам».

Полан сравнивал количество времени, необходимое для выполнения тех же двух разнородных операций мысли одновременно и последовательно, и нашел, что первое дает нередко в результате значительный выигрыш времени. «Я умножаю 421312212 на 2—эта операция занимает шесть секунд; для прочтения четверостишия также необходимо шесть секунд, но и для одновременного выполнения обеих операций достаточно шести секунд, так что при этом нет никакой потери времени».

Возвращаясь к вопросу, сколько разнородных объектов мысли могут быть одновременно у нас в сознании, иначе говоря, сколько совершенно не связанных между собой групп явлений или процессов могут одновременно занимать сознание, мы можем дать на него следующий ответ: с большим трудом более одной и то только в случае, когда процессы привычны, две-три без особого колебания внимания. Но когда процессы не отличаются столь автоматическим характером (например, о Цезаре известно, будто бы он писал письмо, диктуя в то же время четыре других), происходит быстрый переход сознания от одного процесса к другому и, следовательно, нет никакого выигрыша во времени. Когда предметом нашего внимания служат едва уловимые ощущения и мы напрягаем усилия, чтобы точно различить их, то наблюдается интерференция внимания между этими ощущениями. Подобных тонких экспериментов немало было сделано Вундтом. Он старался точно подметить положение быстро вращающейся стрелки в то мгновение, когда раздастся звонок. Здесь нужно было зафиксировать одновременность двух различных ощущений — зрительного и слухового. После ряда тщательных и упорных изысканий было найдено, что зрительное восприятие, по-видимому, одновременное со слуховым, фактически почти никогда не совпадало с ним во времени. Можно было только наблюдать, что одно восприятие на самом деле происходило или раньше, или позже другого. Различные виды внимания. Можно указать следующие виды внимания. Оно относится или к восприятиям (внимание чувственное), или к воспроизведенным представлениям (внимание интеллектуальное). Внимание может быть непосредственным или опосредованным-, непосредственным — в том случае, когда объект внимания интересен сам по себе, опосредованным — когда объект внимания лишь путем ассоциации связан с непосредственно интересующим меня предметом. Опосредованное внимание по-другому называют апперцептивным. Наконец, внимание может быть или пассивным, рефлекторным, произвольным, не сопряженным ни с каким усилием, или активным, произвольным.

Произвольное внимание всегда апперцептивное. Мы делаем сознательные усилия, чтобы направить наше внимание на известный объект только в том случае, если он связан лишь косвенно с каким-нибудь нашим интересом. Но чувственный и интеллектуальный виды внимания оба могут быть и произвольными, и произвольными. При произвольном внимании, направленном прямо на какой-нибудь объект восприятия, стимулом служит или значительная интенсивность, объем и внезапность ощущения, или стимул является инстинктивным, т. е. представляет такое восприятие,

которое скорее благодаря своей природе, чем силе, воздействует на какое-нибудь прирожденное стремление и поэтому приобретает непосредственную привлекательность. В главе «Инстинкт» мы увидим, как эти стимулы различаются у животных и каково большинство их у человека: странные предметы, движущиеся вещи, дикие животные, блестящие, красивые, металлические вещи, слова, удары, кровь и т. д.

Внимание ребенка и юноши характеризуется восприимчивостью к непосредственно воздействующим чувственным стимулам. В зрелом возрасте мы обыкновенно реагируем лишь на те стимулы, которые выделены нами благодаря связи с так называемыми постоянными интересами; к остальным же стимулам мы относимся безразлично. Но детство отличается значительной активностью и в то же время располагает слишком незначительными критериями для оценки новых впечатлений и выделения из них тех, которые заслуживают особенного внимания. Результатом является необыкновенная подвижность внимания у детей, подвижность, из-за которой первые регулярные уроки с ними превращаются в какой-то хаос.

Всякое сильное впечатление вызывает приспособление соответствующего органа чувств и влечет за собой у ребенка на все время действия полное забвение той работы, какая на него возложена. Учитель должен на первых же уроках принять меры к устранению этого произвольного, рефлекторного внимания, вследствие которого, по словам одного французского писателя, может показаться, что ребенок менее принадлежит самому себе, чем любому внешнему объекту, обратившему на себя его внимание. У некоторых лиц такое явление продолжается в течение всей жизни, и работа выполняется ими в те промежутки, когда это состояние внимания временно прекращается.

Произвольное внимание при восприятии бывает апперцептивным, если внешнее впечатление, не будучи само по себе сильным или инстинктивно привлекательным, связано с такими впечатлениями предшествующим опытом и воспитанием. Последние могут быть названы мотивами внимания.

Впечатление черпает в них интерес или даже, быть может, сливается с ними в один сложный объект, в результате чего они попадают в фокус внимания. Легкий стук сам по себе весьма неинтересный звук, он может затеряться во множестве окружающих нас звуков, но едва ли стук в оконный ставень ускользнет от внимания, если это условный знак любовника под окном его милой.

Герbart пишет: «Как поражает глаз стилиста нелитературно написанная фраза! Как неприятна для музыканта фальшивая нота или для светского человека нарушение хорошего тона! Как быстры наши успехи в известной отрасли знания, если ее основные начала усвоены нами так хорошо, что мы воспроизводим их мысленно с необыкновенной точностью и легкостью! Однако как медленно и неуверенно воспринимаем мы самые начала той или другой науки, если не получили надлежащей подготовки при помощи знакомства с концептами, еще более элементарными сравнительно с началами данной науки! Апперцептивное внимание хорошо наблюдать на очень маленьких детях, когда, слушая еще не понятные для них разговоры старших, они вдруг схватывают отдельное знакомое слово и повторяют его себе. Апперцептивное внимание можем мы подметить даже у собаки, которая оборачивается, когда ее называют по имени. До известной степени нечто подобное представляет умение, проявляемое некоторыми невнимательными школьниками во время урока, умение подмечать каждый момент в рассказе учителя. Я помню уроки нестрогого, но неинтересного преподавателя, у которого в классе стоял непрерывный шепот, шепот этот всегда моментально прекращался, как только учитель начинал рассказывать занятный анекдот. Как могли мальчики, которые, по-видимому, ничего не слышали из объяснения учителя, уловить начало анекдота? Без сомнения, большинство из них слышали кое-что из слов учителя, но основная часть этих слов не имела никакой связи с интересами и мыслями, занимавшими школьников в данную минуту, поэтому отрывочные слова, достигнув слуха, вновь улетучивались. Но как только слова вызвали прежние представления, которые образовывали серию тесно связанных между собой идей и легко вступали в связь с новыми впечатлениями, тотчас из сочетания старых идей и новых впечатлений получался в итоге интерес к воспринимаемым вполуха словам; они поднимались выше порога сознания — и внимание снова восстанавливалось».

Произвольное внимание, направленное на воспроизведенные представления, непосредственно,

если мы следим мыслью за рядом образов, которые сами по себе привлекательны и интересны; оно апперцептивно, когда объекты интересуют нас как средства для осуществления более отдаленной цели или просто благодаря ассоциации их с каким-нибудь предметом, который придает им ценность. Токи в мозгу, сопровождающие процессы мысли, могут представлять в таком случае столь тесно связанное целое, их объект может настолько поглотить наше внимание, что не только нормальные ощущения, но даже сильнейшая боль вытесняются ими из области сознания. Паскаль, Весли, Голл, как говорят, обладали способностью всецело отвлекать внимание от боли. Карпентер рассказывает о себе, как он нередко принимался за чтение лекции с невралгией столь сильной, что, казалось, не было никакой возможности довести лекцию до конца. Но едва он, переломив себя, принимался за чтение лекции и во время ее углублялся в последовательное развитие мыслей, как тотчас замечал, что боль несколько не отвлекала его, пока не наступал конец лекции и внимание не рассеивалось. Тогда боль возобновлялась с силой, превосходящей всякое терпение, так, что он удивлялся, как можно было перед этим забыть о ее существовании («Физиология ума»). Аналогичным примером служат солдаты, не чувствующие ран в разгар сражения.

Произвольное внимание. Карпентер говорит о сосредоточении внимания путем сознательных усилий. Этими усилиями и характеризуется то, что мы называли активным или произвольным вниманием.

Всякий знает, что это такое, но в то же время почти всякий согласится, что это нечто не поддающееся описанию. Мы прибегаем к произвольному вниманию, когда нам нужно уловить какой-нибудь оттенок в зрительном, слуховом, вкусовом, обонятельном или осязательном ощущении, а также когда мы хотим выделить какое-то ощущение из массы подобных или стараемся сосредоточиться на предмете, для нас мало привлекательном, и при этом противодействуем влечениям более сильных стимулов. В области умственной произвольное внимание проявляется в совершенно аналогичных случаях, например когда мы стараемся выделить и отчетливо представить себе идею, которая лишь смутно таится в нашем сознании, или когда мы с величайшими усилиями стараемся различить оттенки значения в синонимах, или упорно стараемся удержать в границах сознания мысль, которая настолько дисгармонична нашим стремлениям в данную минуту, что, не будь особых усилий с нашей стороны, она быстро уступила бы место иным образам более безразличного характера.

Чтобы представить себе лицо, которое испытывает сразу все формы произвольного внимания, вообразим человека, сидящего в обществе за обедом и намеренно выслушивающего скучнейшие нравоучения, которые ему вполголоса читает сосед, в то время как кругом раздается веселый смех гостей, беседующих о самых занимательных и интересных вещах.

Произвольное внимание продолжается не более нескольких секунд подряд. То, что называется поддержкой произвольного внимания, в сущности, есть повторение последовательных усилий сосредоточить внимание на известном предмете. Раз эти усилия нам удались, объект внимания вследствие своей привлекательности развивается; если его развитие нам интересно, то внимание на время становится произвольным. Выше мы заметили, что, по словам Карпентера, поток мысли увлекает нас, как только мы в него погрузимся. Этот пассивный интерес может быть более или менее продолжительным. Едва он успел вступить в силу, как внимание отвлекается какой-нибудь посторонней вещью; тогда посредством произвольного усилия мы вновь направляем мысль на прежний предмет; при неблагоприятных условиях такое колебание внимания может продолжаться часами. Впрочем, при этом надо не упускать из виду, что внимание сосредоточивается в данном случае не на тождественном в психическом смысле объекте, но на последовательном ряде объектов, только логически тождественных между собой. Никто не может непрерывно сосредоточивать внимание на неизменяющемся объекте мысли.

Есть объекты мысли, которые не поддаются развитию. Они попросту ускользают от нас, и, для того чтобы сосредоточить внимание на чем-нибудь, имеющем к ним отношение, требуется такой ряд непрерывно возобновляемых усилий, что человек с самой энергичной волей бывает вынужден отступить от них, тщетно употребив в течение некоторого времени все возможные средства к достижению цели, и предоставить своим мыслям следовать за более привлекательными стимулами.

Есть такие объекты мыслей, которых человек боится, как пуганая лошадь, которых он стремится избегать даже при самом беглом воспоминании о них. Таковы тающие капиталы для мота в разгар его расточительности. Но незачем приводить исключительный пример мотовства, когда для всякого человека, увлекаемого страстью, мысль об умах, утративших страсть обстоятельствах представляется несносной хотя бы на мгновение. <...>

При более спокойных душевных состояниях трудность сосредоточить внимание на предмете бывает так же велика, в особенности если мозг утомлен. Иное лицо, чтобы избежать скучной предстоящей работы, бывает готово ухватиться за любой предлог, каким бы ничтожным и случайным он ни был. Я, например, знаю одного господина, который готов разгребать угли в камине, расставлять стулья у себя в комнате, подбирать с полу соринки, приводить в порядок свой стол, разбирать газеты, хвататься за первую попавшуюся под руку книгу, стричь ногти, — словом, как-нибудь убивать утро. И все это он делает непреднамеренно, единственно только потому, что ему к полудню предстоит приготовить лекцию по формальной логике, которой он терпеть не может. Все он готов делать, только не это. Повторяю еще раз: объект внимания должен изменяться. Объект зрения с течением времени становится невидим, объект слуха перестает быть слышим, если мы будем неподвижно направлять на него внимание. Гельмгольц, подвергший самому точному экспериментированию свое внимание в области органов чувств, применяя зрение к объектам, не привлекающим внимания в обыденной жизни, высказывает несколько любопытных замечаний о борьбе двух полей зрения. Так называется явление, наблюдаемое нами, когда мы глядим каждым глазом на отдельный рисунок (например, в двух отделениях стереоскопа); в этом случае мы осознаем то один рисунок, то другой, то части обоих, но почти никогда не осознаем их оба вместе.

Рис. 6

Гельмгольц говорит по этому поводу: «Я чувствую, что могу направлять внимание произвольно то на одну, то на другую систему линий (рис. 6) и что в таком случае некоторое время только одна эта система сознается мною, между тем как другая совершенно ускользает от моего внимания. Это бывает, например, в случае, если я попытаюсь сосчитать число линий в той или другой системе. Но крайне трудно бывает надолго приковать внимание к одной какой-нибудь системе линий, если только мы не ассоциируем предмет нашего внимания с какими-нибудь особенными целями, которые постоянно обновляли бы его активность. Так мы поступаем, задаваясь целью сосчитать линии, сравнить их размеры и т. п. Равновесие внимания, мало-мальски продолжительное, ни при каких условиях не достижимо. Внимание, будучи предоставлено самому себе, обнаруживает естественную склонность переходить от одного нового впечатления к другому; как только его объект перестает быть интересным, не доставляя никаких новых впечатлений, внимание вопреки нашей воле переходит на что-нибудь другое. Если мы хотим сосредоточить внимание на определенном объекте, то нам необходимо постоянно открывать в нем все новые и новые стороны, в особенности когда какой-нибудь посторонний импульс отвлекает нас в сторону».

Эти слова Гельмгольца чрезвычайно важны. А раз они вполне применимы к вниманию в области органов чувств, то еще с большим правом мы можем применить их к вниманию в области интеллектуального разнообразия. *Conditio sine qua non* (непременное условие) для поддержки внимания по отношению к какому-нибудь объекту мысли заключается в постоянном возобновлении нашего внимания при изменении точки зрения на объект внимания и отношения к нему. Только при патологических состояниях ума сознанием овладевает неотвязчивая, однообразная *idée fixe*. Гений и внимание. Теперь мы можем легко видеть, почему так называемое поддерживаемое внимание развивается тем быстрее, чем богаче материалами, чем более свежестью и оригинальностью отличается воспринимающий ум. Такие умы пышно расцветают и достигают высокой степени развития. На каждом шагу они делают все новые и новые выводы, постоянно укрепляя свое внимание.

Интеллект же, бедный знаниями, неподвижный, неоригинальный, едва ли будет в состоянии долго сосредоточивать внимание на одном предмете, интерес к которому ослабевает чрезвычайно быстро. Относительно гениев установилось общее мнение, что они далеко превосходят других людей силой произвольного внимания. Можно выразить опасение, не представляет ли у большинства из них эта сила чисто пассивное свойство. В их головах идеи пестрят разнообразием; в каждом предмете гениальные люди умеют находить бесчисленное множество сторон и по целым часам могут сосредоточиваться на одной мысли. Но гений делает их внимательными, а не внимание образует из них гениев.

Вникнув в сущность дела, мы можем заметить, что гении отличаются от простых смертных не столько характером внимания, сколько природой тех объектов, на которые оно поочередно направляется. У гениев объекты внимания образуют связную серию, все части которой объединены между собой известным рациональным принципом. Вот почему мы называем внимание поддерживаемым, а объект внимания на протяжении нескольких часов тем же. У обыкновенного человека серия объектов внимания бывает большей частью бессвязной, не объединенной общим рациональным принципом, поэтому мы называем внимание такого человека неустойчивым, шатким.

Не лишено вероятия, что гений удерживает человека от приобретения привычек произвольного внимания и что среднее умственное дарование представляет почву, где можно всего более ожидать развития добродетелей воли в собственном смысле слова. Представляет ли дар внимания свойство гения или оно зависит от развития воли? Во всяком случае, чем долее человек может удерживать внимание на одном объекте, тем более представляется ему возможности вполне им овладеть. Способность же постоянно направлять рассеивающееся внимание составляет живой нерв в образовании каждого суждения, характера и воли. У кого нет этой способности, того нельзя назвать *compos sui* (владеющим собой). Воспитание, которое могло бы совершенствовать эту способность, было бы воспитанием *par excellence*. Но указать на такой идеал несравненно легче, чем дать практическое руководство к его достижению.

Относительно внимания общим педагогическим правилом может служить следующее: чем более интереса в данном занятии ожидает ребенка впереди, тем более будет напряжено его внимание. Поэтому при обучении ребенка нужно руководить его занятиями так, чтобы каждое новое сведение находилось в известной связи с ранее приобретенными знаниями, и, если возможно, вызывать в ребенке любопытство, так чтобы каждое новое полученное им сведение служило ответом или частью ответа на вопрос, еще ранее существовавший в уме ученика.

Физиологические условия внимания. Вот, по-видимому, наиболее важные из них: 1) по возникновению внимания к данному объекту необходимо, чтобы соответствующий кортикальный центр был возбужден и центральным путем — идеационно, и путем внешнего чувственного раздражения; 2) затем орган чувств должен быть приноровлен посредством приспособления соответствующего мышечного аппарата к наиболее отчетливому восприятию внешнего впечатления; 3) по всей вероятности, необходим известный приток крови к соответствующему кортикальному центру. Третьего условия я не буду касаться, так как относительно его мы не имеем никаких обстоятельных сведений, и я постулирую его лишь на основании общих аналогий. Первое и второе условия доказаны экспериментальным путем. Начнем ради удобства с рассмотрения второго условия.

Приспособление органа чувств. Оно наблюдается не только тогда, когда внимание направлено на внешнее чувственное впечатление, но и в случае, когда объектом внимания служит мысль. Что такое приспособление налицо, когда мы направляем внимание на внешний объект, само собой ясно. Глядя на что-нибудь или слушая что-нибудь, мы произвольно приспособляем глаза и уши, а также поворачиваем в нужном направлении голову и тело; обоняя и пробуя на вкус, мы приспособляем язык, губы и нос к данному предмету; осязая какую-нибудь поверхность, мы соответствующим образом двигаем осязающий орган. Во всех этих актах, производя произвольные целесообразные мышечные сокращения, мы задерживаем другие движения, нецелесообразные по отношению к тому результату, который мы имеем в виду. Так, пробуя что-нибудь на вкус, мы зажмуриваем глаза, прислушиваясь,

стараемся затаить дыхание и т. п. В результате получается более или менее массивное органическое чувство напряженности внимания. На это органическое чувство мы обыкновенно смотрим как на чувство нашей собственной активности, хотя оно возникает в нас посредством приспособления органов чувств. Таким образом, всякий объект, способный немедленно возбудить нашу чувствительность, вызывает рефлекторное приспособление органа чувств, которое сопровождается двумя результатами: во-первых, чувством активности и, во-вторых, возросшей ясностью в нашем сознании данного объекта.

При интеллектуальном внимании в нас наблюдаются такие же чувства активности. Насколько мне известно, Фехнер первым проанализировал эти чувства и отличил их от только что указанных более грубых форм того же чувства. Вот что он пишет: «Когда мы переносим наше внимание с объекта одного органа чувств на объект другого, мы испытываем некоторое вполне определенное и легко воспроизводимое произвольно, хотя и не поддающееся описанию, чувство перемены направления или изменения в локализации напряжения (*Spannung*). Мы чувствуем напряжения в известном направлении в глазах, с какой-нибудь стороны в ушах, напряжения, которые возрастают и изменяются в зависимости от степени нашего внимания в то время, когда мы смотрим или слушаем; это и есть то, что мы называем напряжением внимания. Локализация напряжения всего ярче наблюдается, когда внимание наше быстро колеблется между слухом и зрением и в особенности когда мы хотим тонко распознать данный объект при помощи осязания, обоняния и вкуса. <...> Когда я пытаюсь вызвать в памяти или воображении какой-нибудь живой образ, то я начинаю испытывать нечто совершенно аналогичное напряжению внимания при непосредственном зрительном или слуховом восприятии, но это аналогичное чувство локализуется совершенно иначе. В то время как при восприятии реального объекта (а также зрительных следов) напряжение направляется всецело к данному объекту — вперед, а при переходе внимания от одного органа чувств к другому оно только меняет соответственно направление от одного органа чувств к другому, не затрагивая остальную часть головы, при воображении и припоминании, наоборот, чувство напряжения всецело отвлекается от внешних органов чувств и скорее углубляется в ту часть головы, которая наполнена мозгом. Когда я хочу, например, припомнить местность или лицо, они возникнут передо мной с живостью, если я буду направлять внимание не вперед, а, скорее, если так можно выразиться, назад».

«Направленность внимания назад», ощущаемая нами, когда внимание занято воспроизведенными представлениями, по-видимому, состоит главным образом во вращении глазных яблок кнаружи и прямо противоположно движению глаз при направлении зрения на внешний объект. Впрочем, даже при внимании, направленном на чувственные объекты, приспособление органа чувств еще не самый существенный процесс, а второстепенный, который, как показывают наблюдения, может вовсе не иметь места. Вообще говоря, верно, что ни один объект, лежащий на крайних частях поля зрения, не может привлечь нашего внимания, не привлекая в то же время и нашего глаза, т. е. не вызывая вращения и аккомодации глаза и не локализуя таким образом изображения предмета на желтом пятне, самой чувствительной точке глаза. Но при помощи упражнения и при известном усилии можно направлять внимание на главный объект поля зрения, оставляя глаз неподвижным.

При этих условиях предмет никогда не различается нами вполне отчетливо (это невозможно по той причине, что изображение предмета получается здесь не на самом чувствительном месте сетчатки), но всякий может убедиться, что предмет создается более живо, если мы усилим к нему внимание. Так, учителя умеют следить за учениками, делая вид, будто не глядят на них. Женщины, вообще говоря, больше пользуются периферическим зрительным вниманием, чем мужчины. Гельмгольц сообщает один факт, столь любопытный, что я приведу здесь его наблюдение целиком. Однажды он производил опыты, желая слить в одно целое зрительное восприятие пары стереоскопических картин, освещавшихся на миг электрической искрой.

Картины помещались в темном ящике, который время от времени на мгновение освещался вспышкой; чтобы глаза не двигались в сторону, в середине каждой картины булавкой был сделан прокол, через который проникал дневной свет, так что оба глаза в промежутки мрака имели перед собой по одной

светлой точке. При параллельных зрительных осях обе эти точки сливались в одну, и малейшее движение глазного яблока тотчас же изобличалось раздвоением зрительных образов. Гельмгольц таким путем нашел, что при совершенной неподвижности глаз простые плоскостные фигуры могут восприниматься в качестве трехмерных при одной вспышке. Но сложные фигуры воспринимались трехмерными лишь при нескольких вспышках подряд.

Любопытно, говорит далее Гельмгольц, что при этом, хотя мы неподвижно фиксируем оба глаза на булавочных отверстиях и не даем раздваиваться их сложному изображению, тем не менее мы можем направить наше внимание на любую часть темного поля так, чтобы при вспышке получить впечатление лишь от той части картины, которая и лежит в направлении нашего внимания. Здесь внимание является совершенно независимым от положения и аккомодации глаз или от какого-либо известного нам изменения в этом органе и может свободно направляться сознательным волевым усилием на любую часть темного и однородного поля зрения. Это одно из наиболее важных наблюдений для будущей теории внимания («Physiologie Optik»).

Идеационное возбуждение центра. Но в чем же выражается направление внимания на периферическую часть картины, если при этом нет физической аккомодации глаза? Что происходит, когда мы распределяем или рассеиваем внимание по предмету, в котором ни одна часть не привлекает нашего внимания? Эти вопросы ведут нас к анализу второй характерной черты внимания — идеационного возбуждения, о котором мы упомянули выше. Усилие при направлении внимания на крайнюю часть картины заключается не в чем ином, как в стремлении сформировать себе возможно более ясно идею того, что там изображено. Воспроизведенная идея идет на помощь ощущению, делая его более ясным. Появление идеи может сопровождаться усилием; этого рода усилие и представляет в данном случае конечный результат напряжения внимания. Мы сейчас покажем, что в наших актах внимания всегда есть известная мысленная антиципация (предварение) объекта внимания. Льюис называет ее преперцепцией, и это название по-видимому, всего более подходит к мысленному ожиданию наступающего явления. При интеллектуальном внимании преперцепция, само собой, должна существовать как объект мысли, ибо в этом случае объектом служит простая идея, воспроизведенное представление или концепт. Следовательно: доказав существование преперцепции при чувственном внимании, мы докажем, что она налицо во всех процессах внимания. Впрочем, когда чувственное внимание достигло высшей точки, то невозможно определить, какой элемент восприятия проникает в сознание извне и какой изнутри, но если мы найдем, что приготовление к напряжению внимания всегда состоит отчасти из творческого пополнения данного объекта психическими продуктами воображения, то этим требуемое уже будет доказано.

При определении времени реакции мы, направляя внимание на то движение, которое нужно было делать, ускоряли наступление реакции. Это сокращение времени мы в IX главе объяснили тем, что уже заранее, до появления сигнала, нервные центры совершенно приготовлены к разряду. Таким образом, состояние выжидающего внимания перед наступлением реакции совпадает с приготовлением соответствующего нервного центра к разряду.

Если воспринимаемое впечатление очень слабо, то, чтобы уловить его, необходимо изолировать внимание, предварительно направив его на то же впечатление, но в более сильной форме. Вот что говорит по этому поводу Гельмгольц: «Если мы хотим наблюдать над обертонами, то можно посоветовать вслушиваться в слабо звучащую ноту, соответствующую искомому обертону, прежде чем производить звуковой анализ данной ноты... Если вы поставите перед ухом резонатор, соответствующий какому-нибудь обертону ноты C (do), например G (sol), и затем заставите звучать ноту C, то услышите G, значительно усиленное резонатором. Это усиление обертона приучает ухо быть более внимательным к искомым звукам. Если мы будем постепенно удалять резонатор, звук G станет ослабевать, но внимание, направленное резонатором на этот звук, улавливает его гораздо легче, и наблюдатель уже может после такого опыта слышать обертон C невооруженным ухом». Вундт объясняет такого рода опыты следующим образом: «Беглые и слабые зрительные впечатления дают в результате одно и то же. Попробуйте освещать рисунок электрической искрой, появляющейся через

большие промежутки времени: после первых двух-трех вспышек обыкновенно невозможно ничего разобрать. Но смутное впечатление от рисунка все-таки сохраняется в памяти; каждая последующая вспышка дополняет его, пока, наконец, не получится более ясное изображение. Первичным стимулом для внутренней активности здесь обыкновенно служит само внешнее впечатление. Мы слышим звук, в котором по некоторым ассоциациям чувствуем наличность известных обертонов, далее припоминаем их, наконец улавливаем их ухом в данном звуке. Или, предположим, мы видим минеральное вещество, которое и ранее нам случалось видеть; непосредственное впечатление вызывает соответствующий образ в нашей памяти, который в свою очередь сливается более или менее тесно с непосредственным восприятием. Различные свойства данного впечатления требуют особых благоприятных условий для распознавания, и мы заключаем при этом, что наше ощущение напряженности внутренней активности возрастает в зависимости от усиления яркости тех впечатлений, на которые мы направляем внимание».

Это можно представить схематически в виде воздействий на нервную клетку с двух сторон. В то время как предмет воздействует на нее извне, другие нервные клетки действуют на нее изнутри. Для полной активности данной нервной клетки необходимо взаимодействие обоих факторов. Данный объект воспринимается с полнейшим вниманием только тогда, когда он одновременно образует и восприятие, и воспроизведенное представление.

Приведем еще несколько опытов, которые после сказанного будут вполне понятны. К опытам с освещением стереоскопических фигур электрической искрой Гельмгольц присоединяет следующее наблюдение: «Помещая в стереоскоп рисунки столь простые, что было трудно видеть их двойными, мне удалось добиться этого даже при мгновенном освещении, когда я старался живо представить себе, как они должны были бы выглядеть двойными. Здесь на восприятие влияло одно только внимание, так как глаз оставался совершенно неподвижным».

Разбирая вопрос о борьбе двух полей зрения, Гельмгольц снова говорит: «Это явление не есть соперничество в интенсивности между двумя ощущениями: оно зависит от напряженности или рассеянности внимания. В самом деле, едва ли есть другое явление, на котором можно было бы с большим удобством исследовать причины, обуславливающие наше внимание. Недостаточно при этом сознательно глядеть сначала одним глазом, потом другим: мы должны образовать в уме ясное представление того, что мы надеемся увидеть. Тогда ожидаемый образ действительно появится».

Рис. 7 и 8

На рис. 7 и 8, где этот опыт не дает определенных результатов, можно вызвать смену одной из кажущихся фигур другой, напряженно воображая заранее ту фигуру, которую мы желаем видеть. То же наблюдается и на рисунках, на которых известные линии образуют своей комбинацией фигуру, не имеющую отношения к тому, что можно непосредственно видеть на рисунке и вообще на всех изображениях, где какой-либо предмет не бросается в глаза и его едва можно отличить от заднего плана. Случается, что мы долго не замечаем предмета, но, раз заметив его, мы произвольно можем делать его объектом нашего внимания при помощи того умственного дубликата, который вводится в данное восприятие нашим воображением. Кто может сразу угадать в бессмысленной французской фразе: «*Pas de lieu Rhone que nous*» английскую поговорку: «*Paddle your own canoe*»? Но едва ли человек, раз заметив звуковое сходство обеих фраз, не будет в состоянии возобновить его в памяти. Ожидая удара часов, мы так проникаемся мыслью о наступающем звуке, что нам кажется, будто уже бьет желанный или страшный час. То же испытываем мы и в ожидании звука чьих-нибудь шагов. При малейшем шелесте в лесу охотнику мерещится дичь, беглецу — преследователи. Влюбленный при виде каждой женской шляпки воображает, что под ней скрывается головка его кумира.

Появление образа в уме и есть внимание: преперцепция (предварение восприятия) есть половина перцепции (восприятия) искомого объекта. Именно по этой причине у людей открыты глаза лишь на те

стороны в воспринимаемых впечатлениях, которые они ранее приучились различать. Любой из нас может заметить известное явление, после того как на него нам было кем-нибудь указано, но то же явление без постороннего указания не сумеет открыть и один человек из десяти тысяч. Даже в поэзии и изобразительных искусствах необходимо, чтобы кто-нибудь указывал нам, на что именно нужно обращать особенное внимание, что заслуживает наибольшего удивления, пока наш вкус не достигнет полного развития и наша оценка эстетических явлений не станет безошибочной.

В детских садах детей ради упражнения расспрашивают, сколько характерных черт они могут назвать в данном предмете, например в цветке или чучеле птицы. Они сразу перечисляют знакомые им черты: листья, хвост, клюв, ноги, но в то же время могут часами глядеть на птицу, не замечая ноздрей, когтей, чешуи и т. д., пока не обратишь на это внимание детей, после чего они всякий раз указывают на них. Короче говоря, мы обыкновенно видим лишь те явления, которые преперципируем. Преперципируем же мы лишь объекты, которые были указаны нам другими под каким-либо ярлыком, а он запечатлелся в нашем уме. Потеряв накопленный нами запас таких ярлыков, мы почувствовали бы себя в окружающем мире лишенными всякой умственной опоры.

Педагогические замечания. Во-первых, необходимо укреплять внимание в детях, которые крайне небрежны в занятиях, беспорядочно перескакивают мысль с одного предмета на другой. Учитель должен заботиться о том, чтобы сделать привлекательным предмет занятий, ассоциировать его с чем-нибудь интересующим ребенка; в худшем случае, когда нельзя придать интерес самим занятиям, можно пообещать награду за внимательное отношение к занятиям и наказание — за невнимательное. Если предмет не вызывает в ребенке произвольного внимания, то приходится черпать интерес со стороны. Но всего лучше, когда сама тема занятий интересна, и, обучая детей, мы должны всегда стараться связывать новые сведения, сообщаемые им, с теми объектами, с которыми у них соединены преперцепции. То, что давно и хорошо известно, тотчас становится объектом внимания и влечет за собой новые впечатления, образуя для последних то, что, по психологической терминологии Гербарта, называется *Apperceptionsmasse*. Разумеется, талант учителя заключается именно в том, чтобы знать, какую *Apperceptionsmasse* надо выбрать. Психология может здесь дать только общее правило.

Во-вторых, необходимо искоренить ту рассеянность внимания, которая бывает у людей более зрелого возраста при чтении или слушании. Если внимание есть воспроизведение данного ощущения изнутри, то привычка читать только глазами или слушать только ухом может быть искоренена при помощи отчетливого расчленения слышимых или видимых слов; таким путем можно укрепить внимание. Это подтверждается опытом. Можно сделать себя гораздо более внимательным к разговору, если мысленно повторять каждое услышанное слово, а не пассивно слушать слова. Значительное число моих студентов, испытав этот прием, нашли его весьма полезным.

Внимание и свобода воли. До сих пор я рассматривал внимание в качестве психического процесса, всецело зависящего от физиологических условий. И я действительно убежден, что выбор объектов внимания именно так предопределен. Ничто не может привлечь наше внимание независимо от автоматической деятельности нервной системы. Другой вопрос: насколько зависима от последней та интенсивность внимания, с которой мы воспринимаем объект, уже попавший, так сказать, в поле нашего духовного зрения? Нередко нужно умственное усилие, чтобы удержать внимание на одном и том же предмете. Если это усилие не есть простая иллюзия, если оно представляет духовную силу, неопределенную по величине, в таком случае, разумеется, эта сила совместно с физиологическими процессами дает общий сложный результат. Хотя она и не вносит в сознание новой идеи, но задерживает и закрепляет там бесчисленное множество идей, которые без ее помощи исчезли бы гораздо быстрее.

Задержка может быть не более секунды, но это время могло иметь решающее значение, ибо при непрерывной смене различных соображений, когда две противоположные группы их, борясь между собой, находятся почти в равновесии, достаточно и одной лишней секунды внимания, направленного на одну из этих групп, чтобы дать ей окончательный перевес. Утвердившись в сознании, наше решение

влияет на поступки, а от поступков может зависеть вся наша судьба. В главе «Воля» мы увидим, что драма нашей волевой жизни всецело зависит от едва заметного перевеса в степени внимания, сообщаемого одной из борющихся за преобладание моторных идей. Но чувство реальности волевой жизни, главный стимул произвольных действий, зависит от сознания того, что они действительно обусловлены нашим свободным решением, а не predeterminedены тысячи лет тому назад роковым ходом явлений. Это кажущееся чувство свободы, придающее истории и человеческой жизни такую трагическую окраску, может не быть простой иллюзией. Произвольное усилие, вполне возможно, не есть простой результат механических процессов, а некоторая первичная и притом неопределенная по степени сила... В этом вопросе для здравомыслящего человека последним словом должно быть «Ignore-mus» (мы не знаем), потому что взаимодействующие в данном случае силы по своей тонкости не поддаются измерению. Впрочем, психология, поскольку она претендует быть наукой, должна, как и всякая другая наука, постулировать в своих явлениях полный детерминизм, следовательно, и свободную волю, если таковая существует, рассматривать как естественную причину. Так буду поступать в данной книге и я, следуя в этом отношении примеру других психологов. В то же время я должен признаться, что подобный прием хотя и представляет методологические удобства, позволяя располагать факты в простом порядке и в «научной форме», однако не дает окончательного решения в том или другом направлении, изучающем проблему свободы воли.

Глава XIV

Образование концептов

Различные состояния сознания могут означать одно и то же. Функция ума, при помощи которой мы выделяем, обособляем и отождествляем между собой численно различные объекты речи, называется концепцией. Ясно, что одно и то же состояние сознания, когда в нем мыслятся несколько различных объектов, включает в себе несколько концептов и, имея функцией несколько концептов, может быть названо состоянием сложной концепции.

Мы можем образовывать концепты различного характера: концепты реальностей, за которыми признается объективное существование, например паровоз; фантастические образы, например сирена; наконец, простые логические фикции (*entia rationis*), например разность, ничто.

Но что бы мы ни представляли себе, наша концепция всегда бывает о чем-нибудь одном и ни о чем другом, т. е. по содержанию она не может быть заменена чем-нибудь иным, хотя и может быть многим пополнена. Образование каждого концепта обусловлено тем, что из массы психического материала, доставляемого внешним миром, наше внимание ясно выделяет что-нибудь и фиксирует перед сознанием. Колебания при этом возникают лишь тогда, когда мы недоумеваем, есть ли данный предмет тот именно, который мы имеем в виду, так что для полноты умственной функции мы должны при образовании концепта мысленно сказать себе не только: «Я имею в виду вот это», но и: «Я не имею в виду того».

Таким образом, каждый концепт вечно остается тем, что он есть, и никогда не переходит в другой. Ум может изменять свои состояния, их значимость, по временам может пренебрегать одним концептом, предпочитать другой, но и оставленный концепт сам по себе никаким понятным для нас способом не может измениться в другой, заменяющий его. Я могу видеть, что бумага, за минуту перед тем белая, обгорела и почернела.

Но мое понятие «белый» не превратилось в понятие «черный». Наоборот, наряду с восприятием черноты оно остается в моем сознании, сохраняя прежнее значение и тем давая мне возможность заметить в бумаге черноту как качественную переменную. Если бы этот концепт не сохранился во мне, я сказал бы: «Вот чернота» — и этим мое познание и ограничилось бы. Таким образом, среди изменчивости мнений и внешних впечатлений мир понятий или объектов мысли остается неизменным и неподвижным, как Платоновое царство идей.

Иные концепты представляют предметы, другие — качества, третьи — события. Для любого предмета,

качества или события может быть образован соответствующий концепт, вполне удовлетворительный для целей отождествления, если только нам удалось обособить и выделить его объект из окружающей обстановки. Достаточно даже просто назвать его «то» или «это». Выражаясь на специальном языке логики, мы сказали бы, что при помощи означения нужно составить понятие о данном объекте, не прибегая совершенно к соозначению или пользуясь минимумом соозначения. При этом важно только, чтобы мы знали, о чем идет речь; представлять данный объект нет надобности даже в том случае, когда он вполне представим.

Можно предположить в этом смысле, что живые существа, занимающие низшее место в организованном мире по умственным способностям, имеют своего рода концепты. Для этого необходимо только, чтобы они обладали способностью узнавать явления предшествующего опыта. Полип можно было бы назвать существом, мыслящим концептами, если бы можно было допустить, что в нем есть способность узнавать явления минувшего опыта. Это чувство тождественности ощущений составляет основу, остов нашего сознания. В различных состояниях сознания мы можем мыслить об одном и том же. Другими словами, ум может всегда мыслить о том же и сознавать это.

Концепты абстрактных или общих и проблематических объектов мысли. Здесь мы рассмотрим совершенно специфический элемент мысли — одно из самых неуловимых, ускользающих от самонаблюдения явлений сознания, которое психолог не может анализировать подобно тому, как энтомолог исследует свойства насекомого, насаженного на булавку. Согласно моей терминологии, я сказал бы, что это явление связано с психическими обертонами данного объекта мысли, которым, без сомнения, соответствует множество зарождающихся и замирающих нервных процессов, не поддающихся наблюдению вследствие своей тонкости и сложности (см. главу XI). Геометр, имея перед собой одну определенную фигуру, отлично знает, что его рассуждения применимы так же успешно к бесконечному множеству других фигур и что, видя линии известной длины, известного цвета, в известном расположении, он при анализе их не имеет в виду этих деталей. Употребляя слово «человек» в двух различных значениях, я могу в обоих случаях произносить то же слово и представлять себе тот же образ, но в самый момент произнесения я могу разумеать две совершенно различные вещи. Так, когда я говорю: «Удивительный человек этот Джонс!» — я хорошо знаю, что под понятие «человек», которое я имею в виду в данном случае, не подойдут Наполеон Бонапарт или Адам Смит. Но когда я говорю: «Что за удивительное существо человек!», то знаю так же хорошо, что имею в виду всех людей без исключения. Связанное со словом осознание его значения представляет род чувства, благодаря которому простые звуки или зрительные образы становятся чем-то понятным; это нечто дает вполне определенное направление ходу наших мыслей, которые затем воплощаются в слова и образы. Как бы ни были конкретны а определенные объекты нашего обычного воображения, они всегда сопровождаются «венчиком» отношений, и этот «венчик» играет такую же роль при познании данного объекта, как и сам объект. Путем, который хорошо известен всякому, мы доходим до того, что начинаем мыслить о целых классах предметов так же хорошо, как о единичных явлениях, об отдельных свойствах и атрибутах предметов так же, как и о целых объектах; другими словами, мы, выражаясь языком логиков, начинаем образовывать в нашем уме абстракты, или универсалии.

Мы начинаем мыслить о проблематических объектах, относительно которых нельзя иметь вполне ясного представления, так же как и о явлениях, представляемых нами во всех деталях.

Проблематический объект мысли характеризуется только связанными с ним отношениями. Мы думаем о некотором явлении, которое должно быть вызвано другими известными нам явлениями. Но мы при этом еще не знаем, каково будет ожидаемое нами явление при своей реализации; иначе говоря, хотя мы и мыслим о нем, но не можем представить его себе. Это не мешает нам мыслить о данном объекте в его отношениях к другим явлениям и отличать его от всех других объектов мысли. Таково, например, для нас представление машины *perpetuum mobile*. Такого рода машина есть вполне определенное *quaesitum* (проблема), и мы всегда в состоянии сказать, может ли любая данная машина удовлетворить тем условиям, которые сделали бы ее *perpetuum mobile*. Вопрос о проблематичной мыслимости известной вещи не зависит от возможности или невозможности осуществить ее в действительности.

«Круглый квадрат» или «черная белизна» — определенные понятия, и в процессе образования понятий совершенно случайно то обстоятельство, что в природе мы не находим ничего, соответствующего указанным понятиям, и потому не можем составить никакого их образа.

До сих пор между номиналистами и концептуалистами продолжается спор о том, может ли наш ум создавать всеобщие или абстрактные понятия, или, лучше сказать, идеи о всеобщих, абстрактных объектах. Но в сравнении с изумительным фактом, что наши мысли, несмотря на несходство в различных отношениях, могут быть о том же, для нас, право, несущественно, есть ли это «то же» в нашей мысли единичный объект, целый класс объектов, абстрактное свойство или нечто непредставимое. Наша мысль — беспорядочное смешение единичных, частных, неопределенных, проблематичных и всеобщих объектов. Отдельный конкретный объект так же мыслится нами, будучи выделен и обособлен от остальных объектов нашего сознания, как и самое бессодержательное и широкое по логическому объему свойство, которым он может обладать, например «бытие», если рассматривать это свойство подобным же образом.

С любой точки зрения манера приписывать поразительные мощные свойства общим понятиям должна вызывать у нас удивление. Едва можно понять, почему, начиная с Сократа и до наших дней, философы сходились в пренебрежении к познанию частного и в поклонении перед познанием всеобщего, если принять во внимание, что более привлекательным познанием должно быть, познание более привлекательных объектов, а такими будут только конкретные единичные явления. Единственное значение общих понятий в том, что они помогают нам открывать новые мысли об индивидуальных объектах. Направление мысли на индивидуальный объект, быть может, требует для своего возникновения даже более сложных нервных процессов, чем распространение известной мысли на целый класс объектов, и самое таинство познания равно непостижимо при познании как общих, так и единичных объектов. Таким образом, традиционный культ универсалий может служить лишь образцом фальшивого сентиментализма, философского *idola specus* («идола пещеры», заблуждения). То, что мы познаем как тождественное, всегда познается нами в новом состоянии сознания. После сказанного в главе XI едва ли нужно это добавлять. Например, мое кресло есть один из предметов, о которых я имею определенное понятие: я видел его вчера и при взгляде на него теперь снова узнаю его. Но если я думаю о нем сегодня, как о том же кресле, на которое я смотрел вчера, то очевидно, что само представление этого кресла как того же самого есть уже некоторое осложнение мысли, благодаря которому ее внутренний психический состав должен был измениться. Короче говоря, логически невозможно, чтобы тот же объект мысли мы познавали как абсолютно тождественный при повторении той же мысли. На самом деле мысли, которые мы считаем имеющими то же значение, могут резко отличаться одна от другой. Тот же объект мыслится нами то в устойчивом, то в переходном состоянии, то в виде образа, то в виде одного символа, то в виде другого, но мы все-таки как-то умеем узнать, какой именно из всех возможных объектов мысли в нашем сознании. Психология самонаблюдения должна отказаться от выяснения этого факта: тончайшие перемены в душевной жизни нельзя описать при помощи грубой психологической терминологии. Психолог должен ограничиться, с одной стороны, простым засвидетельствованием того, что самые разнородные элементы сознания образуют психический субстрат, при помощи которого познается тождественное, с другой — фактическим опровержением противоположной точки зрения.

Глава XV

Различение

Различение и ассоциация. На с. 30 я говорил, что первый объект познания ребенка составляет тот зачаток, из которого впоследствии развивается познание Вселенной через присоединение новых элементов извне и различение других изнутри. Другими словами, опыт складывается одновременно при помощи ассоциации и диссоциации, и психологию следует излагать и аналитически, и синтетически. Наши первичные чувственные данные познания, с одной стороны, раздробляются при помощи

внимания, а с другой — связываются с другими чувственными данными или посредством движений, перемещающих наши органы чувств в пространстве, или благодаря чередованию новых объектов, замещающих прежние.

«Простые впечатления» Юма, «простые идеи» Локка суть абстракции мысли, никогда не осуществляющиеся в опыте. Жизнь с самого начала дает нам конкретные объекты, смутно сливающиеся с остальным миром, который облекает их в пространство и время, и в то же время потенциально делимые на внутренние элементы и части. Эти объекты мы то разъединяем, то слагаем. И то и другое одинаково необходимо для развития нашего познания об объектах, и трудно сказать, какой из двух процессов мы чаще применяем. Но если допустить, что «простые ощущения», элементы, из которых традиционный ассоцианизм строит всю душевную жизнь, суть продукты различения, доведенного до высшей степени, то нам придется, по-видимому, начать разбор данного вопроса с анализирующих способностей внимания и различения.

Что такое различение? Усмотрение какой-либо части данного объекта есть акт различения. Уже на с. 21 я описал, как мы нередко самопроизвольно впадаем в состояние не различения даже по отношению к объектам, которые уже ранее научились различать. Такие анестезирующие средства, как хлороформ, закись азота (N_2O) и т. д., вызывают иногда временные состояния сознания, когда способность к различению еще более ослабляется; особенно резко это замечается при численном различении. Так, под влиянием анестезирующих средств мы видим свет, слышим звуки, но, сколько зрительных или слуховых впечатлений (одно или много) воспринято нами, мы не в состоянии сказать. В тех случаях, когда части объекта были уже различены нами и каждая из них уже стала объектом особого акта различения, мы с трудом можем восстановить перед сознанием первоначальную цельность. Но на самом деле это убеждение иллюзорно, так как нет сомнения, что любое число впечатлений, получаемое нами от любого числа чувственных раздражений, одновременно проникая в сознание, которое еще не восприняло каждого из них поодиночке, дает сознанию единый, неразделенный объект. Иначе говоря, все объекты, которые могут осознаваться слитно, именно так и осознаются, раздельно же осознается только то, что должно так осознаваться. В настоящей главе мы рассмотрим, что заставляет нас осознавать впечатления раздельно.

Условия, благоприятствующие акту различения. Я рассмотрю последовательно различия с разных точек зрения: 1) поскольку они непосредственно ощущаются; 2) поскольку мы о них заключаем; 3) поскольку мы их выделяем из сложных комплексов.

Непосредственно ощущаемые различия. Для непосредственного различения необходимо, во-первых, чтобы воспринимаемые объекты различались по времени, пространству или качеству. Употребляя физиологические термины, можно сказать, что подлежащие различению элементы должны вызывать различные нервные процессы. Но, как мы видели выше, это условие, будучи необходимым, в то же время еще недостаточно. Для различения прежде всего необходимо, чтобы нервные процессы были достаточно различны. Никто не может при всем желании не отличить черной полосы от белого фона или не заметить контраста между низкой и немедленно следующей за ней высокой нотой. Здесь различение совершается произвольно. Но в случаях, где объективная разница не так велика, для различения может потребоваться значительное усилие внимания.

Во-вторых, ощущения, вызываемые разными объектами, должны воздействовать на тот же орган чувств не одновременно, но следуя непосредственно друг за другом. Легче сравнивать тоны, звучащие один за другим, а не одновременно; две тяжести или температуры — последовательно одну за другой той же рукой, а не сразу двумя руками. Подобным же образом легче различать световые или цветовые оттенки, двигая глаз от одного оттенка к другому, так чтобы они оба падали последовательно на ту же часть сетчатки. Определяя наименьшие расстояния ножками циркуля при прикосновении их к участкам кожи, мы обнаружили, что последовательные прикосновения различаются гораздо быстрее, чем одновременные. В последнем случае при прикосновениях к спине и бедрам расстояние между ножками циркуля может быть в два или три дюйма, и все-таки мы будем ощущать всего одно прикосновение. Наконец, при определении запахов и вкусов сравнивать одновременные впечатления

почти невозможно.

Причиной, почему последовательность впечатлений так благоприятствует различению, по-видимому, служит то, что в этом случае есть настоящее чувство различия, вызванное резким переходом от одного восприятия к другому, не сходному с первым. Это ощущение обладает специфическим свойством, не зависящим вовсе от характера тех психических элементов, между которыми устанавливается различие. Короче говоря, оно есть одно из переходных состояний сознания или чувств отношения, о которых я говорил выше (см. главу XI); раз возникнув, оно связывается в памяти с предшествующими и последующими устойчивыми состояниями сознания и позволяет нам получить сравнительное суждение о двух ощущениях.

Когда разница между двумя следующими друг за другом ощущениями очень мала, переход от одного ощущения к другому должен произойти возможно скорее, причем то и другое следует сравнить в памяти; таким путем можно добиться лучших результатов. Нельзя составить точного суждения о различии между двумя сходными по вкусу винами, если, пробуя второе, мы еще чувствуем во рту вкус первого. Подобным же образом при сравнении звуков, температур и т. п. мы должны уловить момент, когда интенсивность обоих сравниваемых ощущений одинаково ослабевает. Впрочем, там, где разница между ощущениями велика, это условие несущественно, и мы можем сравнивать непосредственно воспринимаемое ощущение с другим, только припоминаемым нами. Чем более промежуток времени между двумя сравниваемыми ощущениями, тем более неопределенна для нас разница между ними.

Ощущаемое таким образом непосредственно различие между двумя впечатлениями не зависит от нашей способности составлять какое-либо понятие об одном из данных впечатлений. Я могу раздельно ощущать два прикосновения к коже и все-таки не знать, которое из них ниже и которое выше. Я могу слышать два соседних музыкальных тона и не знать, который из них верхний. Подобным же образом я могу различать два близких друг к другу цвета, оставаясь в неведении относительно того, который из них голубее или желтее или чем один отличается от другого.

Я сказал, что при непосредственном следовании m за n внезапное различие между ними ощущается. Оно ощущается всякий раз, как мы будем переходить от m к n и обратно, перемещая внимание от одного объекта к другому, причем при помощи этих переходов будем стараться уловить разницу в тех случаях, когда она так мала, что уловить ее трудно. Но независимо от ощущения разницы в короткий момент перехода она ощущается нами также захваченной и как бы воплощенной во втором элементе сравнения, который осознается нами, как нечто отличающееся от первого элемента. Очевидно, что в этом случае «второй элемент» не простое n , а некоторый очень сложный объект и смена впечатлений выражается не просто рядом m , «разница», n , а: m , «разница», n , отличающееся от m .

Первое и третье состояния сознания в данном случае устойчивы, второе изменчиво. При нашей физико-психической организации мы лишены возможности воспринять непосредственно одни за другим элементы m и n и сохранить их в сознании в чистом виде. Это значило бы, что нами вовсе не было сделано между ними сравнения. Благодаря механизму, который нам еще совершенно непонятен, мы ощущаем резкость различия между сравниваемыми элементами, причем второй элемент не есть чистое m , но n , отличающееся от m . Чистая идея n никогда не бывает в сознании, после того как m исчезло.

Различия, о которых мы заключаем. Не должно смешивать с непосредственными восприятиями различия случаи различения совершенно иного характера, когда мы заключаем, что объекты не одинаковы, зная что-нибудь о каждом из них самом по себе и поэтому относя их к двум разным группам явлений. Если промежуток между двумя опытами продолжителен, то мы часто в суждении о них руководствуемся не столько непосредственным воспроизведением в памяти более раннего опыта, сколько припоминанием некоторых фактов по его поводу. Например, я знаю, что сегодня солнце светит не так ярко, как в известный день на прошлой неделе, потому что я сказал тогда, что свет его ослепительно ярок, а сегодня я бы не сделал такого замечания. Или, например, я чувствую себя теперь бодрее, чем прошлым летом, потому что теперь могу заниматься психологическим анализом, а тогда

не мог. Мы постоянно сравниваем ощущения, со свойствами которых наше воображение не имеет никакого непосредственного знакомства, например страдание и наслаждение. Весьма трудно живо воспроизводить в воображении любое из чувствований этого порядка. Ассоцианисты могут разглагольствовать об идее наслаждения как о приятной идее и об идее страдания как о неприятной идее, но здравый человеческий смысл, не увлеченный софистическими хитросплетениями, против них и заодно с Гомером, говорящим, что воспоминание о минувших страданиях может быть радостным, и с Данте, по мнению которого нет большей муки, как вспоминать в горе минувшее счастье.

Выделение элементов из сложных комплексов. Можно с уверенностью высказать общее положение: всякое цельное впечатление, воспринятое нашим сознанием, остается в нем непроанализированным, пока составляющие его элементы не будут восприняты нами в отдельности или в новых комбинациях, в иной обстановке. Мы бы никогда не смогли различить элементы абсолютно неизменяющейся группы, состоящей из свойств, нигде более порознь не встречающихся. Если бы все холодное было мокро, а мокрое — холодно, если бы только твердые вещи были колючи, а остальные нет, то вероятно ли, чтобы мы различали холодное и влажное, твердое и колючее? Если бы все жидкости были прозрачны, а нежидкости не прозрачны, то мы не скоро выработали бы в языке особые названия для жидкости и прозрачности. Если бы теплота прямо зависела от высоты предмета над земной поверхностью (чем выше находился бы предмет, тем выше была бы его температура), то для понятий «теплота» и «высота» у нас имелось бы одно слово.

Мы имеем группу ощущений, которые неизменно связаны с одними и теми же явлениями, и потому нет никакой возможности выделить эти ощущения из окружающей обстановки. Группы ощущений, связанные с сокращениями диафрагмы и расширением легких, с сокращениями некоторых мышц и вращением некоторых связок, могут служить тому примерами. Мы научаемся определять многочисленные причины таких групп ощущений и строим теории о сложении самих ощущений путем «слияния», «интеграции», «синтеза» и т. п. Но путем непосредственного самонаблюдения никогда не был произведен анализ ощущений. Всего очевиднее в этом можно убедиться при рассмотрении эмоций. Каждой эмоции соответствует определенное внешнее проявление в виде учащения дыхания, биения сердца, возбужденного выражения лица и т. п. Эти проявления сопровождаются физическими ощущениями. Таким образом, эмоции неизбежно, по необходимости связаны с телесными ощущениями. Благодаря этому невозможно уловить эмоцию как чисто духовное состояние сознания или обособить ее от низших ощущений, т. е. нельзя доказать существование эмоции как психического факта, обособленного от низших душевных явлений; по крайней мере автор настоящей книги сильно сомневается в возможности подобного доказательства.

Итак, вообще говоря, если в данном объекте мы одновременно воспринимаем группу впечатлений $abcd$, то от них получается цельное своеобразное ощущение, которое характеризует для нашего сознания индивидуальность данного объекта и становится показателем его присутствия в опыте; только путем дальнейших опытов мы научаемся различать в нем a , b , c и d .

Посмотрим теперь, в чем заключаются эти последние опыты. Если какое-нибудь свойство или какой-нибудь составной элемент a данного объекта был предварительно познан нами отдельно или каким-нибудь путем стал для нас самостоятельным объектом опыта, так что мы имеем о нем (отчетливое или смутное — все равно) представление, не связанное с bed , то этот составной элемент a может подлежать психологическому анализу независимо от общего впечатления $abcd$. Анализом объекта я называю поочередное направление внимания на различные его стороны. В XIII главе мы видели, что одним из условий для направления внимания на объект является образование особого представления этого объекта, которое как бы идет изнутри навстречу воспринимаемому извне впечатлению.

Из того, что внимание служит условием для анализа, а особый акт представления — условием для внимания, следует, что последний акт обуславливает и сам психический анализ. Только такие психические элементы, с которыми мы уже знакомы и которые можем воспроизводить отдельно, можно отличить от общего чувственного впечатления. Возникновение отдельного образа составного

элемента как бы благоприятствует вычленению последнего из группы и обособлению от остальных ее элементов, и, таким образом, сложное психическое явление распадается перед нашим сознанием на составные части.

Все факты, приведенные в главе XIII в доказательство того, что внимание обусловлено внутренним воспроизведением, показывают: это внутреннее воспроизведение необходимо и для различения. Так, разыскивая какой-нибудь предмет, книгу, мы скорее находим ее, если кроме названия мы отчетливо представляем себе ее внешность. Присутствие ассафетиды (род сои) в устерширском соусе незаметно для того, кто не пробовал одну ассафетиду. В «холодном» цвете художник никогда не будет в состоянии вскрыть значительное преобладание голубого, если не ознакомится со свойствами последнего отдельно. Все наблюдаемые нами цвета суть смеси. Даже чистейшие цвета спектра воспринимаются нами с примесью белого. Абсолютно чистый зеленый, красный и фиолетовый цвета никогда не встречаются и никогда не могут различаться в так называемых основных цветах, с которыми мы имеем дело в опыте; поэтому последние считаются нами чистыми. Пусть читатель припомнит, что обертон может быть выделен нами из созвучных с ним нот в звуке данного музыкального инструмента только в случае, если ухо наше воспринимало его перед этим отдельно. Когда мы стараемся вообразить тот звук, который желаем услышать, он действительно выделяется для нашего уха из сложного гона.

Мы можем различать элементы, которые нельзя изолировать друг от друга, если при этом изменяется окружающая обстановка. Весьма немногие элементы опыта могут быть совершенно изолированы друг от друга. В большинстве случаев бывает так, что элемент *a*, входящий в сложное явление *abcd*, обладает различной степенью связности с *bcd* от известного минимума до некоторого максимума или является в соединении с другими качествами *acfg* или *ahik*. При благоприятных условиях нам удастся, оперируя элементом *a*, выделить его, подметив разницу между ним и другими окружающими элементами, хотя это выделение может быть лишь приблизительным. Таким путем возможно проанализировать данное сложное явление. Акт выделения элемента из группы других в таком случае называется абстракцией, а отвлеченный от других элемент — абстрактом.

Колебание в качественной интенсивности менее содействует процессу абстракции, чем разнообразие комбинаций, в которые элемент может входить. Ассоциированное то с одним объектом, то с другим стремится к диссоциации с тем и другим и мало-помалу становится для нашего сознания самостоятельным представлением — абстрактом. Это положение можно назвать законом диссоциации при изменении сопровождающих элементов. Практическим результатом данного закона является тот факт, что ум, раз диссоциировавший и отвлекший известное свойство от других, может всегда подвергнуть это свойство анализу при каждой новой встрече с ним в опыте.

Мартини хорошо поясняет закон: «Если мы увидели в первый раз красный шар из слоновой кости, который тотчас же был унесен, то в нас остается представление этого шара, в котором все его свойства сливаются в нераздельное целое. Пусть вслед за этим перед нашими глазами предстанет белый шар, и тогда — только тогда, а не раньше — в силу контраста на первый план в нашем сознании выступит один из атрибутов шара — цвет. Если белый шар заменить яйцом, то наше внимание будет направлено на форму шара, которая раньше не бросалась резко в глаза, и, таким образом, то, что раньше было просто объектом сознания, обособленным от окружающей обстановки, теперь становится для нас сначала красным, затем красным и круглым предметом и т. д.».

Почему повторение того элемента в различных группах содействует его разрыву с любой из них и полному обособлению в области нашего сознания, составляет загадку, отгадывать которую здесь нет надобности.

Способность различения развивается при упражнении. Когда личный или практический интерес делает для нас результаты различения привлекательными, способность наша к различению удивительно изоощряется. Продолжительное упражнение в различении так же благотворно влияет на соответствующую способность, как и личный интерес. Оба эти фактора позволяют незначительным степеням объективного различения влиять на сознание так же, как при других условиях на него могло

бы влиять только значительное объективное различие.

Положение «практика ведет к совершенствованию» в сфере двигательных упражнений бесспорно. Но двигательные акты зависят отчасти от чувственного различения. Игра на бильярде, стрельба в цель, пляска на канате требуют способности весьма тонко различать малейшие изменения в ощущениях и отвечать на них соответствующими мышечными сокращениями. Всем известна артистическая способность различения в чисто чувственной области у покупателей — любителей гастрономических тонкостей. Есть люди, способные различить вкус старой мадеры из верхней или нижней части бутылки; иной, пощупав муку, скажет, из какой пшеницы она смолота. Слепая и глухонемая Л. Бриджмен до такой степени изоощрила чувство осязания, что могла узнать на ощупь руку той особы, с которой здоровалась за год до этого; а ее сестра по несчастью Ю. Брзе, как рассказывают, сортировала в Гартфордском приюте выстиранное белье своих многочисленных товаров при помощи необыкновенно развитого чувства обоняния.

Зависимость способности различения от упражнения так хорошо всем известна, что почти никто из психологов не считал нужным искать для этого объяснения. По их мнению, по-видимому, практика должна утончать способность различения — дальше этого они не идут. По большей части психологи говорят: «В данном случае внимание направлено на объект различения; внимание же мы направляем на более привычные вещи, а объект внимания всегда сознается отчетливее». Ответ хотя и справедлив, но слишком общий, более подробных соображений по этому вопросу мы со своей стороны дать здесь не можем.

Глава XVI

Ассоциация

Порядок наших идей. После различения следует ассоциация. Очевидно, что весь прогресс познания должен заключаться в соединении обоих процессов, ибо объекты, являясь первоначально в цельном виде, анализируются нами, разлагаются на части, объекты разделенные объединяются и образуют в сознании сложные группы. Таким образом, анализ и синтез суть два непрерывно идущих рука об руку психических процесса: один с каждым новым шагом подготавливает путь другому совершенно так же, как при нормальной ходьбе человек пользуется поочередно то одной, то другой ногой, причем движение одной ноги обуславливает движение и другой.

Смена образов и мыслей, из которых слагаются наши умственные процессы, быстрое мелькание одной идеи за другой, переходы от одного предмета к прямо противоположному, переходы, изумляющие при первом взгляде своей резкостью, но при более внимательном анализе обнаруживающие цепь промежуточных звеньев, которые связывают совершенно естественным и осмысленным образом очень различные объекты, — такой загадочный невесомый поток мыслей с незапамятных времен вызывал изумление у всех, кто обращал внимание на эту вечно предстоящую перед нашим сознанием тайну. В особенности философы стремились рассеять хоть до некоторой степени таинственный мрак, покрывающий эти явления, пытались дать им простое объяснение. Философы поставили себе задачу найти принципы связи между мыслями, в силу которых они как бы вырастают одна из другой, и, таким образом, выяснить особенности в последовательности и сосуществовании наших идей.

Но, приступая к анализу этого явления, мы сразу наталкиваемся на вопрос: какого рода связь хотим мы определить — мыслимую связь или связь между мыслями? Это две совершенно различные вещи, и только для одной из них есть надежда найти объясняющие принципы. Бесконечно сложная путаница всех возможных видов мыслимой связи не может быть сформулирована просто. Любая связь объектов может быть мыслима: связь сосуществования, последовательности, сходства, контраста, противоречия, причины и действия, средства и цели, рода и вида, части и целого, субстанции и акциденции, раннего и позднего, большого и малого, лендлорда и арендатора, хозяина и слуги и т. д. — видов такой связи бесконечно много. Единственное упрощение, к которому можно было бы прибегнуть при анализе различных видов связи, заключается в сведении всех возможных видов

отношений к немногим типам, аналогичным тем, которые иные авторы называют категориями рассудка. Следуя той или другой категории, мы могли бы переходить от какого угодно объекта мысли к другому. Если бы мы в данную минуту пытались определить этот род связи между отдельными моментами мышления, то настоящую главу пришлось бы теперь же закончить, ибо краткой характеристикой категорий может служить указание на то, что все они суть мыслимые отношения и что ум переходит от одного мыслимого объекта к другому тем или другим рациональным путем. Определяется ли чередование наших идей какими-нибудь законами? Но что же фактически определяет путь, который принимают в своем течении наши мысли? Почему в данное время в данном месте мы начинаем думать о b , если только что перед этим подумали об a , а в другое время и в другом месте о c , а не о b ? Почему мы иногда целые годы тщетно бьемся над разрешением какой-нибудь практической или научной проблемы, причем наша мысль отказывается найти желанное решение; и почему в один прекрасный день, гуляя по улице и нимало не помышляя о решении проблемы, мы вдруг находим в своем сознании долгожданный ответ, который возникает в нас с такой легкостью, будто мы никогда и не пытались его искать, и для которого послужило поводом, быть может, впечатление, полученное нами от цветов на шляпке шедшей впереди нас дамы или нечто совершенно неуловимое? Нужно сознаться, что процессы мысли обусловлены весьма странными явлениями. «Чистый разум» только один из тысячи возможных факторов в наших процессах мысли. Кто из нас в состоянии сосчитать все нелепые идеи, предположения, крайне неосуществимые замыслы, которые могут прийти в голову в течение одного дня? Кто поклянется, что предрассудки и неосновательные мнения играют в его психической жизни меньшую роль, чем просвещенные взгляды? И все-таки, по-видимому, и для ценных, и для ничтожных элементов нашего мышления существует один и тот же способ происхождения.

Эти законы суть законы мозговых процессов. Вероятно, мысль зависит от механических условий, по меньшей мере определяющих порядок, в котором объекты предстают перед сравнивающей и выбирающей мыслью. Не лишен интереса тот факт, что Локк и многие позднейшие французские и немецкие психологи признали необходимым допустить существование особого механического процесса, с помощью которого можно было бы объяснить заблуждения мысли, предубеждения, нарушающие правильность умственных процессов и делающие их бесплодными. Психологи усмотрели этот механический процесс в законе привычки или в том, что мы называем теперь ассоциацией по смежности. Но этим авторам никогда не приходило в голову, что тот же процесс, который идет рука об руку с действительным образованием и распределением в сознании одних идей, быть может, в состоянии производить и другие идеи и что привычные ассоциации, как ускоряющие ход мысли, так и задерживающие его, могут иметь общий механический источник. Согласно этой последней точке зрения, Гартли усматривал в привычке вполне удовлетворительный принцип объяснения для чередования наших идей и, таким образом, становился открыто на детерминистическую точку зрения, пытаясь распространить и на рациональные, и на иррациональные элементы мысли общий принцип объяснения.

Каким путем в голове человека мысль A сменяется в следующий момент мыслью B ? Или почему обыкновенно в нем мысль A вызывает за собой мысль B ? Гартли попытался объяснить эти явления, используя данные о физиологии мозга. Я полагаю, что в основных пунктах своей теории он был прав, и ограничусь здесь простым пересмотром его выводов, которые, со своей стороны, дополню некоторыми детальными соображениями.

Не идеи ассоциируются между собой, а объекты. Во избежание некоторых неясностей мы будем говорить, что ассоциация (поскольку это касается причины психического процесса) происходит между мыслимыми объектами, а не идеями; мы будем говорить об ассоциации объектов, а не идей. И поскольку слово «ассоциация» указывает на причину психического процесса, речь будет идти об ассоциации между собой мозговых процессов, которые, группируясь известным образом, определяют своими сочетаниями порядок психических процессов.

Основной принцип. Я теперь постараюсь показать, что явлениями ассоциации закон причинности

управляет в форме закона приучения нервных тканей к восприятию впечатлений. Наличие известных материалов для нашей мысли зависит от того, каким путем один элементарный нервный процесс стремится вызвать за собой другой, который уже вызывался им прежде. Число элементарных нервных процессов, действующих в данную минуту в мозгу, и природа тех из них, которые вызывают к деятельности другие процессы, определяют общий характер мозговой деятельности. Она в свою очередь определяет содержание мысли в данную минуту. В зависимости от того, каким является для нас этот сложный результат элементарных процессов, мы называем его продуктом ассоциации по смежности, по сходству или по контрасту или еще по какому-нибудь свойству, смотря по тому, сколько основных родов ассоциации мы насчитываем. Впрочем, самое образование мне какой бы то ни было ассоциации должно объясняться чисто количественными различиями в деятельности элементарных нервных процессов, совершающихся в данный момент по закону приучения нервной ткани.

Я намерен высказать положение, которое сейчас же станет вполне понятным, и в то же время перед нами откроется значение факторов, которые, взаимодействуя с законом приучения нервной ткани, нарушают правильное течение процессов мысли. Положим в основание всех дальнейших рассуждений следующий закон: если два элементарных нервных процесса действовали одновременно или непосредственно один за другим, то один из них, повторяясь, стремится распространить свое возбуждение и на другой.

Но фактически каждый элементарный нервный процесс неизбежно в различные времена вступал в соединения со многими другими процессами. Отсюда необходимо решить вопрос, какой из них будет вызван данным нервным процессом. Какой процесс повлечет за собой появление а, b или с ? Чтобы ответить, мы должны установить второй постулат, опирающийся на факты напряжения нервных тканей и суммирования возбуждений, из которых каждое в отдельности находится в скрытом состоянии, а общий их результат проявляется открыто. За а последует скорее b, чем с, если к возбуждению нервного пути а присоединится действие наполовину возбужденного нервного пути d, который ранее возбуждался вместе только с путем b, а не с путем а. Короче: степень активности в любой точке мозговой коры представляет собой совокупность стремлений всех остальных точек к разряду именно в данной точке, причем стремления эти пропорциональны 1) числу повторений в других точках возбуждения, обусловившего возбуждение в данной точке, 2) интенсивности этих возбуждений и 3) отсутствию активности в пункте, противодействующем деятельности данного пункта и функционально с ним не связанном, активности, которая могла бы видоизменить конечный результат нервных разрядов.

Приводя основной закон в такой крайне сложной форме, мы получим в результате нашего анализа чрезвычайные упрощения. Пока рассмотрим явления ассоциации при произвольном течении мыслей, наблюдаемом при грезах и бесцельной задумчивости, Процессы мышления, направленные сознательными усилиями воли к известной цели, мы разберем впоследствии.

Произвольное течение мыслей. Сосредоточим наше внимание на двух стихах из «Locksley Hall» Теннисона:

I, the heir of all the ages in the foremost files of time
Yet I doubt not the ages one increasing purpose runs.

(Я, наследник всех веков в передовых отрядах времени
Я не сомневаюсь, что некий замысел проходит через века.)

Почему, когда мы читаем на память одну из этих строчек и доходим до слов the ages, та часть второй строчки, которая следует за словами the ages и как бы вырастает из них, не возникает внезапно в нашей памяти вместо второй половины первого стиха и не искажает смысла фразы? Просто потому, что мозговые процессы, связанные со словом, которое непосредственно следует за the ages, обусловлены не только мозговым процессом, связанным со словами the ages, но и этим процессом плюс всеми процессами, связанными с предшествующими словами фразы. Слово ages само по себе с момента наибольшей активности связанных с ним нервных процессов могло бы безразлично повлечь за собою и in и one. Таким образом, любое из слов, предшествующих ages (напряжение нервного

процесса, соответствующего каждому из них в данный момент, слабее нервного процесса, соответствующего припоминанию слова *ages*), могло бы повлечь за собой одно из множества слов, перед которыми ему случалось находиться. Но когда процессы, соответствующие фразе *I, the heir of the ages*, одновременно возникают в мозгу, последний (*ages*) в наивысшей, другие в более слабых степенях возбуждения, тогда разряд принимает то направление, которое они стремятся вызвать все одинаково. За ними последует *in*, а не *one* или какое-нибудь другое слово, ибо его нервный процесс вибрировал в унисон не только с нервным процессом слова *ages*, но и с нервными процессами более слабой активности, соответствующими остальным предшествующим словам. Это явление — хороший пример влияния на мысль психических обертонов, о которых мы говорили в главе XI.

Но если бы какое-нибудь из предшествующих слов, например *heir* (наследник), находилось в чрезвычайно прочной ассоциации с каким-нибудь из нервных путей, которые вовсе не связаны в опыте с поэмой «*Locksley Hall*»; если бы, например, декламирующий с нетерпением ожидал вскрытия завещания (которое могло бы сделать его наследником миллионного состояния), то весьма возможно, что путь разряда нервных процессов, соответствующих словам поэмы, внезапно прервался бы на слове *heir*. Эмоциональный интерес, вызванный у данного лица словом, был бы так велик, что ассоциации, связанные только с этим словом, возобладали бы над ассоциацией данного слова с другими словами стиха. Иначе говоря, декламирующий внезапно вспомнил бы о своем личном положении, и стихи улетучились бы из его памяти.

Читая лекции, я должен был ежегодно запоминать в алфавитном порядке фамилии большого числа студентов, сидящих в аудитории. В конце концов я научился вызывать их по фамилии, когда они сидели на указанных местах. Встречаясь со студентом на улице, я по лицу (впрочем, только в начале года) никогда не мог вспомнить его фамилии, но случалось, что внешность напоминала мне место студента в аудитории, лицо его соседа, затем место встреченного студента в алфавитном списке и, наконец, обыкновенно как результат сложного ряда ассоциаций, его фамилию.

Отец желает показать гостям, какой прогресс в умственном развитии сделало его довольно тупое детище, обучаясь в детском саду. Держа нож перпендикулярно над столом, он спрашивает сына: «Ну, мой мальчик, как ты назовешь это?» — на что следует уверенный ответ: «Это ножик!» — ответ, который упорно повторяет ребенок, несмотря на изменения формы вопроса, пока, наконец, отец не вспоминает, что в детском саду этот вопрос сопровождался показом не ножика, а карандаша. Тогда он вынимает из кармана длинный карандаш, держит его перпендикулярно столу и получает желанный ответ: «Это — вертикальное положение». Чтобы вызвать в памяти ребенка слова «вертикальное положение», нужно было воспроизвести все детали обучения в детском саду.

Полное воспроизведение. Если бы закон «сложной ассоциации», как называет его Бэн, не видоизменялся под внешними влияниями, то деятельность его идеально выражалась в том, что ум наш был бы поглощен непрерывным созерцанием хаотической смеси конкретных воспоминаний, в которых не была бы упущена ни одна подробность. Для примера предположим, что мы вспоминаем званый обед, на котором когда-то присутствовали. Единственная вещь, которая могла нам напомнить все подробности обеда, был бы первый конкретный факт, следующий за ним. Все подробности этого факта могли бы, в свою очередь, вызывать в памяти следующий факт и т. д. Если, например, *a, v, c, d*, в суть элементарные нервные пути, возбужденные воспоминанием о последнем факте обеда, который мы назовем *A, a, l, m, n, o, p* суть пути, возбужденные воспоминанием о возвращении домой с обеда морозной ночью, которое мы обозначим через *B*, то мысль об *A* вызовет мысль о *B*, ибо *a, v, c, d, e* все разрядятся в *l* по тем путям, по которым совершился их первоначальный разряд.

Рис. 9

Подобным же образом они разрядятся в *m, n, o* и *p*, а эти последние нервные пути, в свою очередь, своим возбуждением усилят действие других, ибо в опыте *B* они обыкновенно вибрировали в унисон.

Линии на рис. 9 символически изображают суммирование разрядов в каждом элементарном нервном процессе, входящем в состав В, и обусловленную этим суммированием внешних влияний силу, с какой В целиком возникает в сознании.

Гамильтон первым употребил слово «реинтеграция» для обозначения всякой ассоциации вообще. Только что описанные нами процессы могут быть названы реинтеграциями, ибо они неизбежно вели бы к полному восстановлению в памяти содержания больших промежутков минувшего опыта, если бы посторонние влияния не искажали их. Избегнуть полной реинтеграции можно было бы только при помощи вторжения в сознание нового и сильного чувственного восприятия или при помощи безудержного стремления какого-нибудь из элементарных нервных путей к независимому от других разряжению в иной части мозга. Такое стремление могло быть в мозгу того декламатора, который, согласно нашему примеру, забыл стих из «Locksley Hall», запнувшись на слове *heir*. Ниже мы постараемся выяснить картину образования в мозгу таких стремлений. Если бы они не существовали, то при каждом воспоминании панорама минувшего, развертываясь перед нами, роковым образом повторялась до конца, пока какой-нибудь внешний звук, свет или прикосновение не нарушали потока воспоминаний.

Назовем этот процесс полной реинтеграцией или, еще лучше, полным восстановлением прошлого в памяти. Сомнительно, чтобы существовала абсолютно полная реинтеграция. Тем не менее при наблюдении различных лиц нам бросается в глаза большая или меньшая склонность припоминать явления в форме, близкой к полной реинтеграции. Каждому из нас хорошо знакомы типы нестерпимо болтливых старух, сухих существ, лишенных всякого воображения, которые, рассказывая о каком-нибудь событии, не опускают ни малейшей частности и уснащают рассказ множеством и существенных, и совершенно ничтожных подробностей; эти типы — рабы буквального воспроизведения минувших явлений, совершенно не способные охарактеризовать прошлое в общих чертах. Для комедий такие старухи дают всегда весьма благодарную тему. Классическим примером здесь может служить нянька Джульетты. Прекрасные образцы подобных типов — некоторые деревенские характеры у Элиот и некоторые мелкие фигуры у Диккенса. Самым удачным примером, пожалуй, служит в романе Остен «Эмма» мисс Бэтс.

Вот как она реинтегрирует: «Но откуда вы-то могли это слышать, — воскликнула мисс Бэтс. — Откуда вы могли это слышать, мистер Найтли? Ведь еще нет пяти минут, как я получила записку от мистера Коль, да нет, не могло пройти и пяти, ну, самое большое десяти минут — я только что надела шляпку и спенсер и уже собралась выходить, пошла вниз еще раз напомнить Патти об окороке. Жан стоял в проходе (ведь ты стоял, Жан?), потому что мама боялась, что у нас нет достаточно большой посуды для соленья. Я сказала, что пойду вниз и посмотрю, а Жан и говорит: «Не сходить ли мне за тебя, ведь у тебя, кажется, легкий насморк, а Патти мыла кухню сегодня — там сыро». А я говорю ему: «Хорошо, милый мой». Тут-то и явилась записка: «Госпоже Гокинс, в Бат» — вот и все, что я прочла... Но вы-то как могли слышать об этом, мистер Найтли? Ведь как только мистер Коль сказал жене о записке, она в ту же минуту села и написала мне: «Госпоже Гокинс».

Неполное воспроизведение. Анализ этого явления покажет нам, почему обычное самопроизвольное течение мыслей никогда не принимает формы полной реинтеграции. При оживании в памяти явлений минувшего опыта не все подробности одной мысли одинаково определяют собой характер последующей. Всегда известный ингредиент преобладает над остальным. Внушаемые им ассоциации часто в этом случае отличаются от тех, при помощи которых он связан со многими подробностями психического процесса, и нередко это стремление к образованию ассоциаций, чуждых данному потоку мыслей, совершенно изменяет его характер. Как в восприятии наше внимание сосредоточивается на немногих сторонах созерцаемого явления, так точно и здесь, при воспроизведении минувших впечатлений, наблюдается такое же неравномерное распределение внимания на некоторых подробностях, преобладающих над остальным содержанием воспоминаний. В огромном большинстве случаев трудно а priori определить при самопроизвольном течении мыслей, какого рода должны быть эти подробности. С психологической точки зрения про них можно сказать, что наиболее влиятельным

фактором при самопроизвольном течении мыслей служат психические элементы, представляющие для нас наибольший интерес.

На языке физиологии закон интереса должен быть сформулирован следующим образом: некоторые физиологические процессы в мозгу всегда одерживают перевес над другими, сопутствующими им процессами при каждом совместном возникновении.

«При реинтеграции, — говорит Годжсон, — постоянно совершаются два процесса: с одной стороны — распадение, уничтожение, таяние, с другой — обновление, созидание, возникновение... Ни один объект представления не остается долго перед сознанием в том же виде — мало-помалу он бледнеет, распадается и становится тусклым. Впрочем, части объекта, представляющие наибольший интерес, при постепенном исчезновении данного объекта всего менее поддаются разрушению... Эта неравномерность различных частей воспроизведенного представления, неравномерность, выражающаяся в относительно большей устойчивости интересного сравнительно с неинтересным, сохраняется некоторое время, пока данное представление не сменится другим».

Закон этот применим лишь там, где интерес равномерно распределен по всем частям воспроизведенного представления. Всего менее он наблюдается в умах с узкими и мелкими интересами, у тех людей, которые вследствие бедности и пошлости своей эстетической натуры не могут возвыситься над мелочами личной жизни и окружающей среды.

Впрочем, большинство из нас одарено лучшей организацией; самопроизвольное течение мыслей большей частью совершается у нас беспорядочно, постоянно принимая новые и новые направления интереса то в одной, то в другой части каждого сложного представления, возникающего в сознании. Например, мы часто подмечаем в себе в два следующих непосредственно друг за другом момента мысли о предметах, отделенных друг от друга значительным промежутком пространства и времени. Только после внимательного наблюдения за ходом наших мыслей мы можем здесь подметить, согласно закону Годжсона, вполне естественный переход от одного объекта мысли к другому. Например, теперь (1879 г.), глядя на стенные часы, я заметил, что думаю о недавнем сенатском постановлении о бумажных деньгах. Вид часов напомнил мне о часовщике, который на днях исправлял в них бой. Часовщик напомнил мне о ювелирном магазине, где я его видел в последний раз; магазин этот — о запонках, которые я покупал там; запонки — о стоимости золотой монеты и о ее недавнем понижении; последнее — о стоимости бумаг, а это, естественно, напомнило о том, как долго они будут находиться в обращении, и о предложении Байярда по этому вопросу.

Каждый из этих образов представлял известный интерес. Нетрудно указать в данном случае те интересы, которые служили поворотными пунктами в течении моей мысли. В часах на мгновение наиболее интересным мне показался механизм боя, потому что прежде они били очень звучно, а теперь испортились, и их слабый звук вызывал во мне разочарование. Но при иных условиях часы могли бы напомнить о друге, который подарил их мне, и о тысяче других обстоятельств, связанных с часами. Ювелирный магазин напомнил о запонках, потому что они одни из всего остального товара там представляли для меня интерес собственности. Этот интерес к запонкам, их ценности мог мне напомнить о золоте как материале, из которого они сделаны и который составляет их главную ценность, и т. д. Если читатель, остановившись на каком-нибудь объекте своей мысли, задастся вопросом: «Каким путем дошел я до этой мысли?», то ему, наверное, удастся всегда восстановить в памяти ряд представлений, непрерывно связанных между собой сложной нитью в пунктах интереса. Таков процесс ассоциации идей при самопроизвольном течении мыслей у людей средних способностей. Мы можем назвать этот процесс обычной или смешанной ассоциацией или неполным воспроизведением в памяти минувших явлений.

Какой элемент ассоциации должен выступать на первый план при неполном воспроизведении? Когда известная часть в потоке нашей мысли благодаря интересу сделалась настолько преобладающей, что стала способной образовывать собственные ассоциации, предопределяющие характер дальнейшего течения мыслей, то сумеем ли мы определить, какую именно из ассоциаций образует она, ибо таких ассоциаций может быть множество? Годжсон говорит по этому поводу: «Интересные элементы в

данном тускнеющем представлении могут свободно комбинироваться с любым объектом и с любой частью объекта, с которыми им случалось когда-либо быть в комбинации. Любая из этих комбинаций может возобновиться в нашем сознании: одна — должна непременно, но какая? На подобный вопрос может быть только один ответ: та, которая являлась прежде наиболее привычной. В нашем сознании сразу начинает формироваться новый объект, части его группируются около остатка прежнего представления; появляясь одна за другой, они начинают принимать прежнюю группировку, но едва начался этот процесс, как закон интереса вступает в действие и вмешивается в образование новой комбинации, направляя внимание на интересные элементы нового объекта в ущерб всем остальным, и тот же процесс повторяется опять с бесконечно разнообразными вариациями.

Ограничивая течение мысли переходами от интересного к наиболее привычному в обыденном смысле слова, Годжсон слишком суживает характеристику процесса ассоциации. Далеко не всегда какой-то образ вызывает вслед за собой тот, который всего чаще с ним ассоциировался, хотя частое повторение ассоциации, конечно, один из наиболее сильных стимулов к ее возобновлению. Если я внезапно произнесу слово «рак», то читатель скорее всего представит себе известное животное, если он зоолог, или известное патологическое явление, если он врач. Произнося слово «реакция», я заставляю натуралиста думать о химическом обмене веществ (например, щелочная реакция), а историка — о социологическом явлении (например, католическая реакция). Произнося слова «постель», «умывальник», «утро», я непременно заставляю читателя думать о его утреннем туалете. Но часто повторяющиеся ассоциации иногда никак не влияют на перемену направления мысли. Вид известной книги чаще всего вызывал во мне мысль о ее содержании и никогда не ассоциировался с идеей самоубийства. Но вот с минуту назад я бросил на нее взгляд, и в голове моей мелькнула мысль о самоубийстве. Отчего? Да просто оттого, что я вчера получил письмо, в котором сообщалось о покончившем недавно с собой авторе этой книги.

Итак, в нашей мысли самые свежие и самые привычные ассоциации возобновляются с одинаковой легкостью. Этот факт до очевидности подтверждается опытом и потому не нуждается в пояснениях. Если мы видели сегодня утром нашего знакомого, то упоминание его имени скорее вызовет в нашей памяти ту обстановку, в которой это произошло, чем что-нибудь относящееся к его более отдаленному прошлому. Если вчера вечером мы читали «Ричарда III», а сегодня кто-нибудь упомянул о Шекспире, то вероятнее, что мы вспомним именно об этой трагедии, а не о «Гамлете» или «Отелло». Возбуждение определенных путей в мозгу или определенные виды общего возбуждения мозга оставляют после себя известного рода восприимчивость или повышенную чувствительность, которая постепенно ослабевает. Пока эта повышенная чувствительность к некоторым впечатлениям еще не изгладилась в мозгу, до тех пор как общая деятельность мозга, так и возбуждение известных путей в нем могут быть вызваны такими причинами, которые в другое время не оказали бы на них подобного воздействия. Таким образом, недавность опыта — важнейшее условие для воспроизведения его впечатлений. (Я имею здесь в виду промежутки в несколько часов.) Гальтон нашел, что в детстве и юности слова играют большую роль в качестве фактора, вызывающего ассоциацию, чем в зрелом возрасте и в старости. (В высшей степени любопытное описание по этому вопросу см.: «Inquiries into the Human Faculty».)

В непосредственном восприятии для вероятности воспроизведения живость имеет такое же значение, как привычка и время воздействия. Если нам случилось раз в жизни быть свидетелями смертной казни, то впоследствии всякий разговор или чтение об этом почти наверняка будет вызывать в воображении однажды увиденную картину. Таким образом, событие, пережитое нами однажды в молодости благодаря потрясающему действию, произведенному им на нас, или его эмоциональной интенсивности, может в позднейшие годы стать типичным примером, иллюстрирующим даже такие явления, которые имеют весьма отдаленное отношение к увиденной когда-то сцене. Если человек в детстве беседовал с Наполеоном, то всякий раз, когда при нем будут упоминать о великих людях, великих событиях, сражениях, царствах, о превратностях судьбы, об острове на океане, с его губ будет готов сорваться рассказ о памятном свидании с императором. Если читатель внезапно увидит в книге

слово «зуб», есть половина вероятности, что, вызвав образ, соответствующий этому слову, человек представит себе тот случай из жизни, когда он был пациентом у дантиста. Ежедневно он чистит свои зубы; и в это самое утро он тер их щеткой, жевал ими во время обеда, чистил их после еды, и все-таки слово «зуб» вызвало в нем более редкую и отдаленную по времени ассоциацию только потому, что данная ассоциация отличалась значительно большей интенсивностью.

Четвертым фактором, определяющим характер воспроизведения, служит сходство в эмоциональном тоне между нашим расположением духа в данную минуту и воспроизведенной идеей. Те же объекты связываются в ассоциации с различными элементами, когда мы веселы и когда грустны. Наша неспособность вызвать в себе ряд веселых картин, когда мы в дурном настроении духа, представляет поистине поразительное явление. Воображение меланхоликов вечно занято картинами болезней, войны, бури, мрака, ужаса и разрушения. Сангвиники, будучи в хорошем расположении духа, совершенно не способны предаваться мрачным мыслям и страху из-за дурных предзнаменований. Цветы и сияние солнца, весенние грезы и радужные надежды — вот содержание быстро сменяющихся в их уме ассоциаций. Читая в дурном настроении духа описание путешествия в полярные страны или в глубь Африки, мы ужасаемся грозным силам природы; перечитывая то же описание в хорошем расположении духа, мы приходим в восторг при мысли об энергии человека, преодолевающей все препятствия, которые природа ставит его стремлениям. Немногие романы читаются с таким веселым чувством, как «Три мушкетера» Дюма. А между тем я могу засвидетельствовать, что, читая этот роман во время морской болезни, я почерпнул из него только чувство глубочайшего отвращения к той жестокости и резне, виновниками которой были герои романа — Атос, Портос и Арамис.

Итак, причинами, благодаря которым интересный элемент тускнеющего представления вызывает за собой то, а не другое новое представление, служат привычка, «недавность», живость и эмоциональное родство представлений. Мы можем с уверенностью сказать, что в большинстве случаев данное представление вызовет за собой по ассоциации привычное, недавнее, живое или эмоционально сходное представление. Если все эти свойства характеризуют элемент, входящий в состав вновь образующейся ассоциации, то можно предвидеть, что данный элемент будет играть важную роль и в образовании последующего объекта мысли. Впрочем, вопреки тому факту, что смена представлений подчинена строгому детерминизму и сводится к немногим классам, характерные черты которых обусловлены предшествующим опытом, необходимо все-таки сознаться, что возникновение огромного числа звеньев в цепи представлений не поддается никакому определенному закону. Это можно видеть на примере, приведенном мною на с. 164, о часах. Почему образ ювелирного магазина напомнил мне о запонках, а не о цепочке, которую я купил там после запонок, которая стоила дороже и с которой были связаны гораздо более интересные эмоциональные ассоциации? Читатель, занимаясь самонаблюдением, легко может почерпнуть массу аналогичных фактов. Ввиду этого мы должны допустить даже в формах обычной смешанной ассоциации, которые лежат ближе всего к неполной реинтеграции, что случай решает, какой именно элемент ассоциации будет вызван интересной стороной тускнеющего представления; разумеется, случай — для нашего ума. На самом же деле, без сомнения, образование каждой новой ассоциации предопределено физиологическими причинами, которые вследствие тонкости и изменчивости не поддаются нашему анализу.

Ассоциация по сходству. Рассматривая смешанные ассоциации, мы постоянно предполагали, что интересная часть тускнеющего объекта мысли довольно значительна и настолько сложна, что сама по себе образует конкретный объект. Гамильтон рассказывает, например, что однажды воспоминание о горе Бэн-Ломонд привело его к мысли о прусской системе воспитания, причем звеньями ассоциации были немец, которого он встретил на Бэн-Ломонде, Германия и т. д. В Бэн-Ломонде как объекте опыта интересом, определяющим дальнейшее течение мыслей, было присутствие сложного образа отдельного человека. Но теперь предположим, что заинтересованное в данном объекте внимание еще более утончается и подчеркивает в нем лишь одну часть, которая сама по себе так незначительна, что не может быть изображением конкретного предмета, а представляет собой отвлеченное свойство. Кроме того, предположим, что эта часть объекта сохраняется перед нашим сознанием (или, на языке

физиологии, продолжают обуславливающие ее мозговые процессы), после того как другие стороны данного объекта стусевались. В таком случае малый остаток представления окружит себя собственными элементами ассоциации тем путем, который мы описали выше, и тогда отношение между исчезнувшим и вновь образовавшимся объектами мысли будет отношением сходства. Пара таких объектов образует то, что называется ассоциацией по сходству.

Сходные объекты, сопровождающие один другого в такой ассоциации, всегда суть нечто сложное. Это постоянно подтверждается опытом. Простые идеи, атрибуты или качества не обнаруживают стремления напоминать об аналогичных свойствах. Мысль о каком-нибудь оттенке голубого цвета не вызывает мысли о другом оттенке, за исключением случаев, когда ради сравнения или установления номенклатуры мы специально сопоставляем различные оттенки цвета.

Два сложных объекта сходны, когда оба имеют одно или несколько общих свойств, хотя во всех других отношениях между ними нет ничего общего. Луна похожа на пламя газового рожка и на мячик, хотя между пламенем и мячиком нет сходства. Устанавливая сходство между двумя сложными объектами, мы всегда должны указывать, в чем оно заключается. Луна и пламя газового рожка похожи как светлые тела — и только; луна и мячик как круглые тела — и только. Мячик и пламя ни в каком отношении не сходны, т. е. у них нет ни одного общего качества. Сходство двух сложных объектов есть тождество в каком-нибудь отношении того и другого. Поскольку известное свойство наблюдается в двух явлениях, хотя бы не сходных между собой в других отношениях, постольку они сходны между собой.

Рис. 10

Теперь обратимся к ассоциациям по сходству. Нели вслед за мыслью о луне в нашей голове явилась мысль о мячике, а за мыслью о мячике — мысль об одной из железных дорог, принадлежащих г-ну X., то такое чередование представлений обусловлено тем, что одно из свойств луны (округлость) отделилось от остальных атрибутов и окружило себя группой новых качеств (упругость, кожаная оболочка, быстрое подчинение человеческому произволу и т. д.), и тем, что последнее свойство мячика снова оторвалось от комплекса остальных свойств и снова окружило себя группой новых атрибутов, которые образовали понятия «железнодорожный туз», «подъем и падение бумаг на бирже» и др.

Рис. 11 и 12

Постепенный переход от полного воспроизведения к ассоциации по сходству посредством того, что мы называли неполным воспроизведением, может быть изображен в виде диаграмм. Рис. 10 изображает полное воспроизведение, рис. 11 — неполное, рис. 12 — ассоциацию по сходству. А во всех трех диаграммах изображает тускнеющий объект мысли, В — вновь образующийся. При полном воспроизведении всей части А равно принимает участие в В. При неполном воспроизведении значительнейшая часть А не играет никакой роли в образовании В. Только часть М вызывает В. При ассоциации по сходству часть М значительно меньше, чем в предыдущем случае, и, вызвав новую группу элементов ассоциации, она не стусевывается, но упорно продолжает действовать наряду с ними, образуя тождественную часть в обеих идеях и тем самым делая их сходными.

Почему один элемент в тускнеющем объекте мысли отделяется от остальных и действует, как мы сказали, самостоятельно? Почему другие элементы не принимают в образовании нового представления никакого участия? Все это загадки, которые мы не беремся отгадывать, ограничиваясь простым указанием на факт. Может быть, более тонкий анализ законов нервной деятельности даст когда-нибудь ключ к решению этих загадок; может быть, также, что в нервной деятельности мы не найдем объясняющего принципа для указанных явлений, и тогда придется предположить в них активность самого сознания. Но мы во всяком случае не будем вдаваться в детали.

Общий взгляд на произвольное течение мыслей.

Подводя итоги сказанному, мы видим, что разница между тремя видами ассоциации чисто количественная и сводится к большему возбуждению нервных путей, соответствующему той части исчезающего объекта мысли, которая служит формирующим началом для следующей мысли. Но *modus operandi* (способ действия) этой части во всех случаях тот же, независимо от ее величины. Элементы, образующие новый объект мысли, готовы возникнуть перед сознанием каждую минуту, потому что соответствующие им нервные пути были однажды возбуждены сразу вслед за нервными элементами, соответствующими предыдущему объекту мысли или его активной части. Этот физиологический закон, закон привычки, распространяется в конце концов на ток, пробегающий по нервным путям. Направление и виды его модификаций зависят от не известных нам условий, благодаря которым в мозгу одних лиц ток сосредоточивается в малых участках, в мозгу других он распространяется во всю ширину пути. Отгадать эти условия для нас, по-видимому, нет никакой возможности. Каковы бы они ни были, во всяком случае в них коренится глубокое различие между гением и прозаической натурой — рабом привычки и рутинного образа мыслей. В главе «Мышление» мы возвратимся к этому вопросу.

Произвольное течение мыслей. До сих пор мы рассматривали процесс ассоциации в форме произвольного течения мыслей. Образы фантазии сменяют друг друга независимо от нашего желания, то следуя прочно проложенным путям обыденной привычки, то носясь беспорядочными скачками по всему протяжению пространства и времени. Таковы грезы, мечты. Но значительная доля в потоке наших идей связана обыкновенно со стремлениями к известным целям, с сознательным интересом; в таком случае течение мыслей называют произвольным.

С физиологической точки зрения мы должны предположить, что стремление к цели выражается в преобладании деятельности вполне определенных мозговых процессов за все время течения наших мыслей. Наше обыденное мышление не простые грезы, не бесцельное блуждание — оно всегда вращается около какого-нибудь центрального интереса, около основной темы, к которой большинство наших представлений имеет известное отношение и к которой мы после минутных отступлений возвращаемся снова. Мы предположили, что такой интерес поддерживается непрерывным возбуждением нервных путей. В смешанных ассоциациях, которые мы изучали до сих пор, части каждого объекта мысли, служащие для нее поворотными пунктами, представляют для нас интерес, в значительной доле обусловленный их отношением к общему интересу, который временно овладел нашим сознанием. Пусть Z будет нервный процесс, обуславливающий общий интерес, тогда если a является объектом мысли, а b имеет более ассоциаций с Z , нежели a или c , то b станет интересной, руководящей частью объекта и будет вызывать только элементы своих ассоциаций. Ибо энергия, вызванная возбуждением нервного пути b , будет увеличена активностью Z , которая не повлияет ни на a , ни на c , вследствие отсутствия всякой предшествующей связи между Z и a и между Z и c . Если я, например, думаю о Париже, будучи голоден, то весьма вероятно, что объектом моей мысли будут парижские рестораны.

Проблемы. Но как в теоретической области, так и в практической жизни существуют интересы более тонкие, принимающие формы определенных образов-целей, которые мы стремимся осуществить. Цепь идей, возникающих под влиянием такого интереса, обыкновенно составляет мысль о средствах, необходимых для осуществления данной цели. Если мысль о цели сама собой не указывает на средства, то нахождение последних образует проблему, совершенно своеобразную самостоятельную цель, к достижению которой мы сильно стремимся, но природы которой мы не можем себе ясно представить, как бы мы ни желали этого.

То же самое наблюдается, когда мы хотим припомнить что-нибудь забытое или найти логическое основание для суждения, сделанного интуитивным путем. Желание здесь влечет нас в том направлении, которое кажется верным, но к такому пункту, который невидим. Короче говоря, отсутствие образа служит таким же положительным руководящим мотивом для наших представлений, как и его присутствие. Пробел в нашем сознании представляет при этом не совершенную пустоту, но

чувствительный недостаток. Если бы мы захотели объяснить с физиологической стороны, как мысль, находящаяся еще в потенциальном состоянии, все-таки проявляет известную активность, то мы должны были бы предположить, что при этом нервные пути возбуждены, но в наименьшей степени и на полусознательном уровне. Постарайтесь, например, символически охарактеризовать состояние человека, который ломает голову, стараясь припомнить мысль, пришедшую ему на ум неделю назад. Элементы ассоциации, связанной с этой мыслью, в данном случае налицо, но они не в состоянии оживить в памяти забытую мысль. Мы не можем допустить, что мозговые процессы, обуславливающие эти ассоциации, не совершаются вовсе в человеке в такой момент потому, что искомая мысль вот-вот может быть охвачена его сознанием. Ритм фразы, выражающей искомую мысль, уже звучит в ушах, соответствующие слова вертятся на языке, но не припоминаются окончательно. Вся разница между тем случаем, когда мы припоминаем забытое, и тем, когда ищем средств к осуществлению некоторой цели, в следующем: первый случай относится к минувшему опыту, а второй — нет. Если мы сначала проанализируем способ припоминания забытого, то нам легче будет понять сознательные поиски неизвестного.

Разрешение проблем. Забытый объект «чувствуется» нами как некоторый пробел между другими определенными объектами. При этом мы смутно помним, где, когда и при каких обстоятельствах нам пришла в голову в последний раз забытая теперь идея. Мы помним в общих чертах и тему, к которой она относится. Но все эти частности не сливаются в одно прочное целое, которое могло бы заместить ощущаемый нами пробел; мы чувствуем неудовлетворенность и ломаем себе голову в поисках других частных фактов. От каждой частности лучеобразно расходятся линии ассоциаций, и это обстоятельство дает повод ко множеству попыток восстановить забытую идею по ассоциации с какой-нибудь из частных. Здесь сразу обнаруживается, что многие из них не имеют к искомой мысли никакого отношения, поэтому сразу теряют всякий интерес и ускользают от нашего сознания. Другие элементы мысли ассоциируются одинаково хорошо и с искомой идеей, и с другими представлениями, находящимися в нашем сознании. При появлении в сознании таких ассоциаций мы начинаем испытывать своеобразное ощущение, побуждающее нас хвататься за них и сосредоточивать на них наше внимание. Таким образом шаг за шагом мы вспоминаем сначала, что нам пришла в голову искомая мысль, когда мы сидели за столом; что при этом был наш хороший знакомый X; далее, что толковали тогда за столом о том-то и том-то; наконец, что мысль эта была в нас вызвана каким-то анекдотом, в котором определенную роль играла какая-то французская цитата.

Все добавочные элементы ассоциации возникают в нас независимо от усилий воли, посредством самопроизвольного течения мыслей. Роль воли при этом заключается только в подчеркивании тех элементов ассоциации, которые кажутся наиболее подходящими, в сосредоточении на них внимания и в игнорировании остальных элементов. При помощи подобного блуждания нашего внимания по соседству с искомым объектом мысли элементов ассоциации накапливается так много, что общее напряжение всех необходимых нервных процессов преодолевает преграду и нервный ток, соответствующий давно искомому объекту мысли, стремительно пробегает по своему пути. И когда полусознательный «зуд», если можно так выразиться, испытываемый нами при поисках известной мысли, вдруг превращается в живое ощущение, наш дух чувствует невыразимое облегчение.

Рис. 13

Весь описанный нами процесс может быть грубо изображен в виде диаграммы (рис. 13). Назовем забытый объект мысли Z, первые факты, имеющие к нему отношение, — a, b и c, а детали, имеющие решающее значение для припоминания этого объекта, — l, m и n. Тогда каждый кружок на диаграмме будет изображать нервный процесс, главным образом соответствующий той идее, которая обозначена стоящей на кружке буквой. Сначала активность Z выразится некоторым простым внутренним напряжением, но, когда возбуждения a, b и c постепенно повлекут за собой l, m и n и когда все эти

процессы так или иначе станут действовать на Z , их совместное давление на Z пробудит в последнем сильнейшую активность и цель будет достигнута.

Рассмотрим теперь случай, когда нами изыскиваются неведомые средства для вполне определенной цели. Цель здесь играет роль a, b, c в диаграмме, они служат исходными пунктами влияния элементов ассоциации на искомое Z . Здесь, как и в предыдущем случае, произвольное внимание только устраняет неподходящие элементы ассоциации и сосредоточивается на тех, которые кажутся благоприятными; обозначим их через l, m и n . Последние, слагаясь с первыми, вызывают возбуждение в Z , которому психологически соответствует решение нашей проблемы. Единственная разница между этим и предшествующим случаем заключается в том, что здесь не было надобности ни в каком предварительном возбуждении Z .

При решении проблемы мы создаем заранее только отношения (конечного результата к искомым средствам для его осуществления). Такими отношениями должны быть отношения причины к действию, или атрибута к вещи, или средств к цели и т. п. Короче говоря, мы знаем многое об искомом объекте, но все-таки не знакомы с ним. Сознание того, что один из объектов есть в конце концов наше *quaesitum*, обусловлено установлением тождества отношений наших к данному объекту и к искомому неизвестному, установлением, для которого требуется довольно медленный акт суждения. Всякий знает, что некоторое время возможно сознать объект, не устанавливая никаких отношений между ним и другими объектами. Совершенно так же возможно сознать известные отношения, еще не созная объекта.

С помощью именно такого процесса мысли мы усматриваем в загадочных газетных недомолвках события государственной важности. Мы должны здесь положиться на законы нервной деятельности, которая доставляет нам подходящие идеи, но правильный выбор между последними должен быть сделан нами.

Подробный анализ различных классов психических явлений, аналогичных только что описанным мною, выходит за рамки настоящего сочинения. Наиболее яркие образцы этих явлений мы можем найти в области научных открытий. Исследователь отправляется от факта к отысканию его причин или от гипотезы к ее фактическому подтверждению. И в том, и в другом случае он непременно обсуждает в уме имеющиеся в его распоряжении данные, пока при возникновении ряда элементов ассоциации (то по смежности, то по сходству) он не натолкнется на такой элемент, который окажется искомым. Этот процесс может продолжаться годы.

Исследователю нельзя предложить определенные правила, при помощи которых он мог бы всего скорее достигнуть конечного результата, но и здесь, как при припоминании забытого, накопление вспомогательных элементов ассоциаций можно производить скорее при помощи некоторых избитых приемов. Так, стараясь припомнить какую-нибудь забытую мысль, мы стараемся преднамеренно возобновить в памяти в определенном порядке те обстоятельства, с которыми эта мысль могла быть объединена, надеясь натолкнуться на элемент ассоциации, связанной с искомым объектом. Например, мы можем припомнить последовательно все места, где мы могли иметь интересующую нас мысль, всех лиц, с которыми нам недавно случалось разговаривать, или все книги, недавно прочитанные нами. Припоминая известное лицо, мы можем перечислить про себя ряд улиц или ряд профессий, связанных с ним. Какая-нибудь подробность при таких методических перечислениях может быть ассоциирована с искомой идеей и может оказать нам поддержку, а между тем, не сделай мы систематического обзора различных обстоятельств, связанных с искомой идеей, эта имеющая решающее значение подробность никогда бы не пришла нам в голову.

В научных исследованиях накопление элементов ассоциаций было возведено в систему Дж. Ст. Миллем в его «четыре метода опытного исследования». Различные случаи в научных открытиях группируются здесь по «методу согласия», «методу различия», «методу остатков» и «методу сопутствующих изменений»; при помощи этих четырех классов искомая причина может быть легко вскрыта нами. Но эти методы только подготавливают открытие, которое совершается помимо них. Решающим мотивом для открытия все-таки служит гармоническое сочетание нервных процессов, без

которого мы блуждали бы в потемках. Но мы никогда не должны закрывать глаза на тот факт, что в мозгу одних лиц неизвестно почему нервные разряды чаще совершаются правильно, чем в мозгу других. Даже образуя списки аналогичных случаев по методу Милля, мы зависим от произвола нервных процессов, соответствующих вскрытию сходства в объектах мысли. Как могут быть сгруппированы в один класс факты, сходные с тем, причину коего мы стараемся определить, если не предположить, что один из них быстро вызывает в нашем уме мысль о другом при помощи ассоциации по сходству?

Сходство не есть элементарный закон. Итак, мы проанализировали три главных типа ассоциации сначала при произвольном, затем при произвольном течении мысли. Нужно заметить, что вновь возникающий при ассоциации объект может не иметь никакого логического отношения к вызывающему его объекту. Необходимое условие для деятельности закона ассоциации только одно: тускнеющий объект мысли должен быть вызван нервным процессом, где некоторые элементы связаны со вновь образующимся объектом мысли. Именно в этой форме проявляется закон причинности во всех родах ассоциации, не исключая и ассоциации по сходству. Сходство между объектами само по себе не играет никакой роли при смене ассоциаций. Оно только результат обычных факторов, обуславливающих смену представлений, когда они сочетаются известным образом.

Психологи обыкновенно рассуждают так, как будто сходство объектов — само по себе некоторый фактор, действующий наряду с привычкой, независимый от нее и способный, подобно ей, влиять на смену представлений. Но такой способ объяснения совершенно непонятен. Сходства двух объектов не существует, пока нет самих объектов; нельзя говорить о сходстве как факторе, производящем нечто, все равно — принадлежит ли это нечто области физической или психической. Сходство есть известное отношение, познаваемое нами после факта, точно так же, как мы познаем отношения превосходства, расстояния, причинности, формы и содержания, субстанции и акциденции или контраста между двумя объектами, связанными между собой механизмом ассоциаций.

Закключение. Подводя итоги, еще раз повторяю: разница между тремя видами ассоциации чисто количественная и сводится к большему или меньшему возбуждению нервных путей, соответствующих той части исчезающего объекта мысли, которая является формирующим началом для следующей мысли. Но *modus operandi* этой активной части везде тот же, независимо от ее величины. Элементы, образующие новый объект мысли, готовы возникнуть перед сознанием каждую минуту, потому что соответствующие им нервные пути были однажды возбуждены сразу вслед за нервными элементами, соответствующими предшествующему объекту мысли или его активной части. Этот конечный физиологический закон — закон привычки — распространяется на движение тока, пробегающего по нервным путям. Направление его пути и виды его модификаций зависят отчасти от условий, которые мы могли обнаружить с помощью нашего анализа, но которые совершенно еще не выяснены при так называемой ассоциации по сходству.

Я полагаю, что изучающий психологию согласится со мной в необходимости развивать «нервную физиологию» для выяснения смены наших идей. Надо, впрочем, сознаться, что далек тот день, когда физиолог будет в состоянии проследить шаг за шагом, от одной группы нервных клеток к другой, гипотетически намеченный нами механизм душевных явлений. Возможно, этот день не наступит никогда. Мало того, схематизм, которым мы пользовались при анализе, заимствован нами из анализа внешних объектов и лишь по аналогии перенесен на мозг. Тем не менее только применение этого схематизма к мозговым процессам позволяет нам распространять закон причинности на психофизические явления; для меня это соображение дает право сказать, что порядок в смене психических явлений может быть выяснен при помощи данных одной «нервной физиологии».

Явления случайного преобладания некоторых процессов над другими также могут быть отнесены к области мозговых вероятностей. Благодаря неустойчивости нервной ткани разряды всегда должны происходить в одних ее пунктах скорее и сильнее, чем в других, и пункты, преобладающие по интенсивности разряда над остальными, должны временами менять свои места в зависимости от случайных причин, давая нам возможность выразить в виде точных диаграмм капризную игру

ассоциаций по сходству в самых гениальных умах. Анализ сновидений подтверждает эти соображения. Обыкновенно у спящего число путей для нервного разряда уменьшается. Немногие из них доступны току, и последний, как вихрь носясь только по тем путям, которые питание мозга в данную минуту сделало ему доступными, вызывает в сознании спящего самые причудливые сочетания идей. Внимание, возбужденное каким-нибудь интересом, и воление сохраняют роль психических факторов и в явлении ассоциации. Эта роль выражается в подчеркивании некоторых элементов ассоциации, в фиксации их с целью сделать их влияние преобладающим на образование дальнейших ассоциаций. Это обстоятельство должны особенно не упускать из виду противники механистической психофизиологии при анализе ассоциаций. Мое мнение о произвольной деятельности духа при активном внимании я высказал выше (см. с. 126). Но даже если допустить существование психической самопроизвольности, то во всяком случае нельзя признать, что она действует *ex abrupto* (внезапно), вызывая и созидая идеи. Роль ее ограничивается выбором между теми идеями, которые предоставляются ей ассоционным механизмом. Если бы дух мог произвольно подчеркивать, усиливать или задерживать какой-либо элемент ассоциации, то он мог бы делать все, что нужно для самого ревностного защитника свободы воли, ибо в таком случае дух влиял бы решающим образом на образование последующих ассоциаций, ставя их в зависимость от подчеркнутого элемента ассоциации и таким путем предопределяя дальнейший образ мыслей человека, а вместе с тем и его поступки.

Глава XVII

Чувство времени

Ощущаемое настоящее имеет известную продолжительность. Постарайтесь, я не скажу уловить, но подметить настоящее мгновение. Такая попытка совершенно бесплодна. Где оно, это настоящее? Оно исчезло прежде, чем мы успели схватить его, растаяло, перелилось в следующее мгновенье. Поэт, цитируемый Годжсоном, говорит:

Le moment ой je parle est deja loin de moi.

(И даже тот миг, когда я еще говорю, уже далек от меня.)

И действительно, настоящее в строгом смысле слова может быть схвачено человеком только как часть более широкого промежутка времени, заполненного живым, подвижным органическим процессом. Настоящее есть простая абстракция, не только никогда не существующая в опыте, но, быть может, никогда не появляющаяся даже в виде понятия у лиц, не привыкших к философскому мышлению. Размышление приводит нас к убеждению, что настоящее должно существовать, но само существование его никогда не может быть для нас фактом непосредственного опыта. Опыт дает нам то, что так хорошо названо «видимым воочию настоящим», — какой-то отрезок времени, как бы седло на его хребте, на котором мы сидим боком и с которого представляем себе два противоположных направления времени. Части восприятия времени объединяются известной длительностью с двумя противоположными концами. Отношения последовательности от одного конца к другому познаются как части данного отрезка длительности. Мы не чувствуем появления сначала одного конца, потом другого и от восприятия последовательности не заключаем к существованию промежутка времени между ними, по мы, по-видимому, чувствуем сам промежуток как целое с двумя противоположными концами. Опыт как объект психологического анализа есть нечто сложное: элементы его в чувственном восприятии неотделимы друг от друга, хотя, направляя внимание на смену явлений опыта, мы можем легко отличить в нем начало и конец.

Промежуток времени свыше нескольких секунд перестает быть непосредственным восприятием продолжительности для нашего сознания и становится воображаемой фикцией. Чтобы реализовать перед сознанием даже час времени, мы должны считать *in indefinitum* (бесконечно): «теперь», «теперь», «теперь». Каждое «теперь» соответствует ощущению некоторого отдельного промежутка времени, точная же сумма этих промежутков никогда не осознается нами ясно. Длиннейший промежуток

времени, какой мы можем непосредственно охватывать сознанием, отличая его от больших и меньших (судя по опытам, произведенным в лаборатории Вундта для другой цели), равняется приблизительно 12 с. Кратчайший промежуток времени, ощущаемый нами, равняется, по-видимому, 1/500 с: Экснер различал две электрические искры, следовавшие одна за другой через этот промежуток.

Мы не обладаем чувством пустого времени. Попробуйте закрыть глаза, совершенно отвлечься от внешнего мира и направить внимание исключительно на течение времени, подобно тому человеку, который, по выражению поэта, «бодрствовал, чтобы подметить полет времени во мраке ночи и приближение мира ко дню страшного суда». При таких условиях, по-видимому, нет никакого разнообразия в материальном содержании нашей мысли и объектом непосредственного созерцания является как будто само течение времени. Так ли это на самом деле или нет? Вопрос этот важен, ибо, предположив, что опыт в данном случае является именно тем, чем он с первого взгляда кажется, мы должны будем признать в себе существование особого чистого чувства времени, чувства, для которого стимулом служит ничем не заполненная длительность. Предположив же в данном случае простую иллюзию, придется допустить, что восприятие полета времени в приведенном выше примере обусловлено заполнением его нашим воспоминанием о его содержании в предшествующее мгновение и чувством сходства этого содержания с содержанием данной минуты.

Не требуется особых усилий самонаблюдения для того, чтобы показать, что истинна последняя альтернатива и что мы не можем сознавать ни длительности, ни протяжения без какого бы то ни было чувственного содержания. Подобно тому как с закрытыми глазами мы видим, точно так же при полном отвлечении от впечатлений внешнего мира мы все-таки погружены в то, что Вундт где-то назвал «полусветом» общего нашего сознания. Биение сердца, дыхание, пульсация внимания, обрывки слов и фраз, проносящиеся в нашем воображении, — вот что заполняет эту туманную область со-знания. Все эти процессы ритмичны и сознаются нами в непосредственной цельности; дыхание и пульсация внимания представляют периодическую смену подъема и падения; то же наблюдается в биении сердца, только здесь волна колебания гораздо короче; слова проносятся в нашем воображении не в одиночку, а связанными в группы. Короче говоря, как бы мы ни старались освободить наше сознание от всякого содержания, некоторая форма сменяющегося процесса всегда будет сознаваться нами, представляя не устранимый из сознания элемент. Наряду же с сознанием этого процесса и его ритмами мы сознаем и занимаемый им промежуток времени. Таким образом, осознание смены является условием для осознания течения времени, но нет никаких оснований предполагать, что течения абсолютно пустого времени достаточно, чтобы породить в нас осознание смены. Эта смена должна представлять известное реальное явление.

Оценка более длинных промежутков времени. Пытаясь наблюдать в сознании течение пустого времени (пустого в относительном смысле слова, согласно сказанному выше), мы следим мысленно за ним с перерывами. Мы говорим про себя: «теперь», «теперь», «теперь» или: «еще», «еще», «еще» по мере течения времени. Сложение известных единиц длительности представляет закон прерывного течения времени. Прерывность эта, впрочем, обусловлена только фактом прерывности восприятия или апперцепции того, что оно есть. На самом деле чувство времени так же непрерывно, как и всякое другое подобное ощущение. Мы называем отдельные куски непрерывного ощущения. Каждое наше «еще» отмечает некоторую конечную часть истекающего или истекшего промежутка. Согласно выражению Годжсона, ощущение есть измерительная тесьма, а апперцепция — делительная машина, отмечающая на тесьме промежутки. Прислушиваясь к непрерывно-однообразному звуку, мы воспринимаем его при помощи прерывной пульсации апперцепции, мысленно произнося: «тот же звук», «тот же», «тот же»! То же самое мы делаем, наблюдая течение времени. Начав отмечать промежутки времени, мы очень скоро теряем впечатление от их общей суммы, которое становится крайне неопределенным. Точно определить сумму мы можем, только считая, или следя за движением часовых стрелок, или пользуясь каким-нибудь другим приемом символического обозначения временных промежутков.

Представление о промежутках времени, превосходящих часы и дни, совершенно символично. Мы

думаем о сумме известных промежутков времени, или представляя себе лишь ее название, или перебирая мысленно наиболее крупные события этого периода, нимало не претендуя воспроизводить мысленно все промежутки, образующие данную минуту. Никто не может сказать, что он воспринимает промежуток времени между нынешним столетием и первым столетием до Р. Х. как более длинный период сравнительно с промежутком времени нынешним и X веками. Правда, в воображении историка более длинный промежуток времени вызывает большее количество хронологических дат и большее число образов и событий и потому кажется более богатым фактами. По той же причине многие лица уверяют, что они непосредственно воспринимают двухнедельный промежуток времени как более длинный сравнительно с недельным. Но здесь на самом деле вовсе нет интуиции времени, которая могла бы служить для сравнения.

Большее или меньшее количество дат и событий является в данном случае лишь символическим обозначением большей или меньшей продолжительности занимаемого ими промежутка. Я убежден, что это так даже в том случае, когда сравниваемые промежутки времени — не более часа или около того. То же самое бывает, когда мы сравниваем пространства в несколько миль. Критерием для сравнения в данном случае служит число единиц длины, заключающееся в сравниваемых промежутках пространства.

Теперь нам естественнее всего обратиться к анализу некоторых общеизвестных колебаний в нашей оценке длины времени. Вообще говоря, время, заполненное разнообразными и интересными впечатлениями, кажется быстро протекающим, но, протекая, представляется при воспоминании о нем очень продолжительным. Наоборот, время, не заполненное никакими впечатлениями, кажется длинным, протекая, а протекая, представляется коротким. Неделя, посвященная путешествию или посещению различных зрелищ, в воспоминании едва оставляет впечатление одного дня. При мысленном взгляде на протекавшее время его продолжительность кажется большей или меньшей, очевидно, в зависимости от количества вызываемых им воспоминаний. Обилие предметов, событий, перемен, многочисленные подразделения немедленно делают наш взгляд на прошлое более широким. Бессодержательность, однообразие, отсутствие новизны делают его, наоборот, более узким.

По мере того как мы стареем, тот же промежуток времени нам начинает казаться более коротким — это справедливо относительно дней, месяцев и лет; относительно часов — сомнительно; что же касается минут и секунд, то они, по-видимому, всегда кажутся приблизительно одинаковой длины. Для старика прошлое, по всей вероятности, не кажется длиннее, чем оно казалось ему в детстве, хотя на самом деле оно может быть в 12 раз больше. У большинства людей все события зрелого возраста настолько привычного рода, что индивидуальные впечатления не надолго удерживаются в памяти. В то же время более ранние события все в большем и большем количестве начинают забываться вследствие того, что память не в состоянии удержать такого количества отдельных определенных образов.

Вот всё, что я хотел сказать по поводу кажущегося сокращения времени при взгляде на прошлое. В настоящем время кажется короче, когда мы настолько поглощены его содержанием, что не замечаем течения самого времени. День, занятый яркими впечатлениями, быстро проносится перед нами. Наоборот, день, преисполненный ожиданий и неудовлетворенных желаний перемены, покажется вечностью. *Tedium, ennui, Langweile, boredom, скука* — слова, для которых в каждом языке найдется соответствующее понятие. Мы начинаем ощущать скуку тогда, когда вследствие относительной бедности содержания нашего опыта внимание сосредоточивается на самом течении времени. Мы ожидаем новых впечатлений, готовимся воспринять их — они не появляются, вместо них мы переживаем почти ничем не заполненный промежуток времени. При непрерывных многочисленных повторениях наших разочарований продолжительность самого времени начинает ощущаться с чрезвычайной силой.

Закройте глаза и попросите кого-нибудь сказать вам, когда пройдет одна минута: эта минута полного отсутствия внешних впечатлений покажется вам невероятно длинной. Она так же томительна, как первая неделя плавания по океану, и вы невольно удивляетесь, что человечество могло переживать несравненно более длинные периоды томительного однообразия. Все дело здесь заключается в

направлении внимания на чувство времени *per se* (само по себе) и в том, что внимание в данном случае воспринимает чрезвычайно тонкие подразделения времени. В подобных опытах для нас нестерпима бесцветность впечатлений, ибо возбуждение является неперенным условием для удовольствия, ощущение же пустого времени есть наименее возбуждающий нашу впечатлительность опыт из всех, какие мы можем иметь. По выражению Фолькмана, *taedium* представляет как бы протест против всего содержания настоящего.

Ощущение прошедшего времени есть настоящее. Рассуждая о *modus operandi* нашего познания временных отношений, можно подумать при первом взгляде, что это простейшая вещь на свете. Явления внутреннего чувства сменяются в нас одно другим: они осознаются нами как таковые; следовательно, можно, по-видимому, сказать, что мы осознаем и их последовательность. Но такой грубый способ рассуждения не может быть назван философским, ибо между последовательностью в смене состояний нашего сознания и осознанием их последовательности лежит такая же широкая бездна, как между всякими другими объектом и субъектом познания. Последовательность ощущений сама по себе еще не есть ощущение последовательности. Если же к последовательным ощущениям здесь присоединяется ощущение их последовательности, то такой факт надо рассматривать как некоторое добавочное душевное явление, требующее особого объяснения, более удовлетворительного, чем приведенное выше поверхностное отождествление последовательности ощущений с ее осознанием.

Если мы обозначим временное течение нашей мысли в виде горизонтальной линии, то мысль об этом потоке или о любом отрезке его пути — прошедшем, настоящем или будущем — может быть обозначена перпендикуляром, опущенным на эту линию в известной точке. Длина перпендикуляра выражает содержание или объект мысли, которым в данном случае служит время, соответствующее какому-нибудь моменту во временном потоке нашей мысли.

Таким образом, в нашем сознании происходит нечто вроде перспективной проекции явлений минувшего опыта, нечто аналогичное проекции обширных ландшафтов на экране камеры-обскуры. Немного выше мы указали, что максимум отчетливо воспринимаемой длительности едва превышает 12 с (максимум же неясно воспринимаемой длительности, вероятно, не более 1 мин или около того), ввиду чего мы должны предположить, что этот промежуток времени точно отмечается при течении потока нашего сознания какой-нибудь тончайшей чертой в соответствующих физиологических процессах. Эта черта в физиологическом механизме душевной деятельности, в чем бы она ни заключалась, является причиной того, что мы вообще познаем временные отношения. Таким образом, непосредственно воспринимаемая длительность едва ли есть нечто большее, чем «видимое воочию настоящее». Содержание настоящего постоянно меняется: явления перемещаются в нем от «заднего» к «переднему» концу, и каждое из них меняет свой временной коэффициент, начиная от «еще не» или «не совсем еще» и кончая «уже», «только что».

Тем временем «видимое воочию настоящее», непосредственно воспринимаемая длительность остается неподвижной, как радуга на водопаде, не изменяясь качественно при смене проходящих через нее явлений. Каждое из последних, проходя через сознание, удерживает за собой возможность быть воспроизведенным и воспроизводится в связи с ближайшими окружающими явлениями и с их общей длительностью. Впрочем, прошу читателя обратить внимание на тот факт, что воспроизведение событий в памяти, после того как оно совершенно перешло от «заднего» к «переднему» концу, есть психическое явление, резко отличающееся от созерцания того же события в «видимом воочию настоящем» как объекта непосредственного прошлого. Можно представить себе существо, совершенно лишенное воспроизводящей памяти и тем не менее обладающее чувством времени; но последнее было бы у него ограничено промежутком в несколько секунд. В следующей главе, принимая чувство времени за непосредственно данное, мы обратимся к анализу явлений воспроизведений памяти, и в частности, к припоминанию явлений, связанных с временными датами.

Анализ явлений памяти. Память есть знание о минувшем душевном состоянии после того, как оно уже перестало непосредственно сознаваться нами, или, говоря точнее, она есть знание о событии или факте, о котором мы в данную минуту не думали и который осознается нами теперь как явление, имевшее место в нашем прошлом. Важнейший элемент такого знания, по-видимому, оживание в сознании образа минувшего явления, его копии. И многие психологи утверждают, что воспоминание о минувшем событии сводится к простому оживанию в сознании его копии. Но чем бы ни было такое оживание, оно во всяком случае не есть память; это просто дубликат первого события, некоторое второе событие, не имеющее с первым никакой связи и только сходное с ним. Часы бьют сегодня, били вчера и могут бить еще миллион раз, пока не испортятся. Дождь льет через водосточную трубу, так же лил он на прошлой неделе и так же будет лить завтра, через год... Но разве часы при каждом новом ударе сознают прежние удары или текущий теперь поток воды сознает вчерашний, потому что они походят друг на друга и повторяются? Очевидно, нет. Нельзя возражать на наше замечание, говоря, что примеры неподходящи, что в них речь идет не о психических, а о физических явлениях, ибо психические явления (например, ощущения), следуя одни за другими и повторяясь, в этом отношении ничем не отличаются от боя часов. В простом факте воспроизведения еще вовсе нет памяти. Последовательное повторение ощущений представляет ряд не зависящих друг от друга событий, из которых каждое замкнуто в самом себе. Вчерашнее ощущение умерло и погребено — наличность сегодняшнего еще не дает никаких оснований для того, чтобы наряду с ним воскресло и вчерашнее. Нужно еще одно условие для того, чтобы созерцаемый в настоящем образ являлся заместителем минувшего оригинала.

Условие это заключается в том, что созерцаемый нами образ мы должны относить к прошлому — мыслить его в прошлом. Но как можем мы мыслить известную вещь как бы в прошлом, если мы не будем думать об этой вещи, и о прошлом, и об отношении между тем и другим? А как можем мы думать вообще о прошлом? В главе «Чувство времени» мы видели, что интуитивное или непосредственное осознание минувшего отстоит всего на несколько секунд от настоящего мгновения. Более отдаленные даты не воспринимаются непосредственно, а мыслятся символически, как названия, например: «прошлая неделя», «1850 год», или представляются в виде образов и событий, связанных, ассоциированных с ними, например: «год, в котором мы посещали какое-нибудь учебное заведение», «год, в котором мы понесли какую-нибудь утрату». <...> Для полноты воспоминания о прошлом необходимо мыслить и то, и другое — и символическую дату, и соответствующие минувшие события. «Отнести» известный факт к минувшему времени, — значит, мыслить его в связи с именами и событиями, характеризующими его датами, — короче говоря, мыслить его как член сложного комплекса элементов ассоциации.

Но и это еще не есть душевное явление, называемое памятью. Память представляет нечто большее сравнительно с простым отнесением факта к известному моменту прошлого. Другими словами, я должен думать, что это именно я пережил его. Он должен быть окрашен в то чувство теплоты и интимности по отношению к нашей личности, чувство, о котором нам не раз приходилось говорить в главе «Личность» и которое составляет характерную черту всех явлений, вошедших в состав нашего индивидуального опыта. Общее чувство направленности в глубь прошедшего, определенная дата, лежащая в этой направленности и охарактеризованная соответствующим названием или содержанием, воображаемое мною событие, относимое к этой дате, и признание его принадлежащим моему личному опыту — вот составные элементы в каждом объекте памяти.

Запоминание и припоминание. Если явления памяти таковы, какими показал нам их только что сделанный анализ, то можем ли мы ближе наблюдать процессы памяти и выяснить их причины? Процесс памяти включает в себе два элемента: 1) запоминание известного факта; 2) припоминание, или воспроизведение, того же факта. Причиной запоминания и припоминания служит закон приучения нервной системы, играющий здесь такую же роль, как и при ассоциации идей.

Припоминание объясняется при помощи ассоциации. Ассоцианисты давно объясняли припоминание таким образом.

Дж. Милль высказывает по этому поводу соображения, которые мне кажутся не требующими никаких поправок, только слово «идея» я заменил бы выражением «объект мысли». «Есть, — говорит он, — состояние сознания, хорошо известное всякому, — припоминание. При этом состоянии мы, очевидно, не имеем в сознании той идеи, которую хотим припомнить. Каким же путем при дальнейших попытках припомнить забытое мы, наконец, наталкиваемся на него? Если мы не осознаем искомой идеи, мы осознаем некоторые идеи, связанные с ней. Мы перебираем в уме эти идеи в надежде, что какая-нибудь из них напомнит нам забытое, и если какая-нибудь из них действительно напоминает нам забытое, то всегда вследствие того, что она с ним связана общей ассоциацией.

Я встретил на улице старого знакомого, имени которого не помню, но желаю припомнить. Я перебираю в уме ряд имен, надеясь натолкнуться на имя, связанное ассоциацией с искомым. Я припоминаю все обстоятельства, при которых виделся с ним, время, когда я познакомился с ним, лиц, в присутствии которых я встречался с ним; что он делал, что ему приходилось испытать. И если мне случилось натолкнуться на идею, связанную общей ассоциацией с его именем, я тотчас припоминаю забытое имя; в противном случае все попытки мои будут напрасны. Есть другая группа явлений, вполне аналогичных только что описанным и могущих служить для них яркой иллюстрацией. Часто мы стараемся не забыть чего-нибудь. К какому приему мы прибегаем, чтобы припомнить данный факт по желанию? Все люди пользуются для этой цели тем же способом. Обыкновенно стараются образовать ассоциации между объектом, который хотят запомнить, и ощущением или идеей, которая, как известно, будет налицо в то время или около того времени, когда пожелают вызвать в памяти данный объект мысли. Если ассоциация образовалась и один из ее элементов попадает на глаза, то это ощущение или идея вызывает по ассоциации искомый объект мысли.

Вот избитый пример подобной ассоциации. Человек получает от друга поручение и, чтобы не забыть его, завязывает узелок на носовом платке. Как объяснить этот факт? Прежде всего, идея поручения ассоциировалась с идеей завязывания узелка на платке. Затем заранее известно, что носовой платок — такая вещь, которую очень часто приходится иметь перед глазами, и, следовательно, платок, вероятно, случится видеть около того времени, когда нужно будет выполнить поручение. Увидев платок, мы замечаем узел, а он напоминает нам и о поручении благодаря преднамеренно образованной между ними ассоциации».

Короче говоря, мы ищем в памяти забытую идею совершенно так же, как ищем в доме затерявшуюся вещь. В обоих случаях мы осматриваем сначала то, что, по-видимому, находится в соседстве с искомым предметом: переворачиваем в доме вещи, подле которых, под которыми и внутри которых он может находиться, и если он действительно находится вблизи них, то вскоре попадает на глаза. В поисках объекта мысли вместо предметов мы имеем дело с элементами ассоциации. Механизм припоминания тождествен механизму ассоциации, а последний, как известно, сводится к элементарному закону приучения в нервных центрах.

Ассоциация объясняет также и запоминание. Тот же закон приучения составляет и механизм запоминания. Оно означает способность к припоминанию — и больше ничего. Единственным указанием на существование в данном случае запоминания есть наличность припоминания.

Запоминание известного явления, короче говоря, есть другое название для возможности снова думать о нем или для стремления снова думать о нем в связи с обстановкой, относящейся ко времени первого его возникновения. Какой бы случайный повод ни превратил эту возможность в действительность, во всяком случае постоянным основанием для этой возможности служат пути в нервной ткани, через которые внешнее раздражение вызывает припоминаемое явление, минувшие ассоциации, сознание того, что наше «я» было связано с данным явлением, вера в то, что все это действительно было в прошлом, и т. д. Когда припоминание вполне подготовлено, искомый образ оживает в сознании тотчас после появления повода к этому. В противном случае образ появляется лишь через некоторое время. Но как в том, так и в другом случае главным условием, делающим запоминание вообще

возможным, являются нервные пути, в которых образуется ассоциация запоминаемого объекта мысли с поводами, вызывающими его в памяти. В состоянии скрытого напряжения эти пути обуславливают запоминание, в состоянии активности — припоминание.

Физиологическая схема. Явление памяти может быть окончательно выяснено при помощи простой схемы. Пусть p будет минувшее событие, o — окружающая его обстановка (соседние события, дата, связь с нашей личностью, теплота и интимность и т. д.), а m — некоторая мысль или факт в настоящем, который легко может стать поводом к припоминанию. Пусть нервные центры, действующие при мыслях m , p и o , будут выражены через M , N и O , тогда существование путей, символически обозначенных линиями между M и N , и N и O , будет выражать факт «задержания события p в памяти», а возбуждение мозга по направлению этих путей — условие припоминания события p . Нужно заметить, что задержание события p не есть мистическое приобретение идеи бессознательным путем. Оно вовсе не есть явление психического порядка. Это — чисто физическое явление, морфологическая черта, именно наличность путей в глубочайших недрах мозговой ткани. В то же время припоминание есть психофизический процесс, имеющий и телесную, и душевную стороны; телесная сторона его — возбуждение нервных путей, душевная — сознательное представление минувшего явления и вера в его принадлежность нашему прошлому.

Короче говоря, единственная гипотеза, для которой явления внутреннего опыта дают здесь поддержку, заключается в том, что нервные пути, возбуждаемые восприятием известного факта и его припоминанием, не вполне тождественны. Если бы мы могли вызвать в сознании минувшее событие независимо от каких бы то ни было элементов ассоциации, то этим самым была бы исключена всякая возможность памяти: видя перед собой явление минувшего опыта, мы принимали бы его за новый образ. В самом деле, припомнив событие без окружавшей его обстановки, мы едва можем отличить его от простого продукта воображения. Но чем более элементов ассоциации связано с ним в нашем сознании, тем легче мы узнаем в нем объект собственного минувшего опыта.

Например, я вхожу в комнату приятеля и вижу на стене картину. Сначала я испытываю какое-то странное чувство. «Наверное, я видел эту картину!» — говорю я, но где и когда, — не могу припомнить; в то же время я чувствую в картине что-то знакомое; наконец, восклицаю: «Вспомнил! Это копия с картины Фра-Анджелико во Флорентийской академии, я ее там видел». Только для того чтобы вспомнить, что это за картина, нужно было припомнить здание академии.

Условия хорошей памяти. Если мы припоминаем факт — p , то путь $N — O$ (рис. 14) составляет физиологические условия, которые вызывают в сознании обстановку, окружавшую p , и делают p объектом памяти, а не простой фантазии. В то же время путь $M — A$ дает повод к припоминанию p . Таким образом, в связи с тем, что память человека всецело обусловлена свойствами нервных путей, ее достоинство в данном индивидуе зависит частью от числа, а частью от устойчивости этих путей.

Рис. 14

Устойчивость или постоянство нервных путей есть индивидуальное физиологическое свойство нервной ткани у каждого человека, число же их зависит всецело от личного опыта. Назовем устойчивость нервных путей прирожденной физиологической восприимчивостью. Эта восприимчивость в различных возрастах и у различных индивидов очень различна. Одни умы подобны воску

под давлением печати: ни одно впечатление, как бы оно ни было бессвязно, не пропадает для них бесследно. Другие напоминают желе, дрожащее от простого прикосновения, но при обычных условиях не способное воспринимать устойчивые отпечатки. Последние умы, припоминая какой-нибудь факт, неизбежно должны подолгу копаться в запасе своих устойчивых знаний. У них нет отрывочной памяти. Наоборот, лица, которые удерживают в памяти без всякого усилия имена, даты, адреса, анекдоты, сплетни, стихи, цитаты и всевозможные факты, обладают отрывочной памятью в высшей степени и,

конечно, обязаны этим необыкновенной восприимчивости их мозгового вещества для каждого вновь образовавшегося в нем пути.

По всей вероятности, лица, не одаренные такой физиологической восприимчивостью, не способны к широкой, многосторонней деятельности. И в практической жизни, и в научной сфере человек, умственные приобретения которого тотчас же закрепляются в нем, всегда прогрессирует и достигает целей, в то время как другие, тратя большую часть времени на переучивание того, что они когда-то учили, но забыли, почти не двигаются вперед. Карл Великий, Лютер, Лейбниц, В. Скотт, любой из великих гениев человечества непременно должны были обладать изумительной восприимчивостью чисто физиологического свойства. Люди, не одаренные ею, могут в той или другой степени отличаться качеством труда, но никогда не будут в состоянии создать такие массы произведений или иметь такое громадное влияние на современников.

В жизни каждого из нас наступает период, когда мы можем только сохранять приобретенное ранее, когда прежде проложенные в мозгу пути исчезают с такой же скоростью, с какой образуются новые, и когда мы забываем ровно столько, сколько приобретаем новых знаний за тот же промежуток времени. Это состояние равновесия может тянуться много-много лет. В глубокой старости оно начинает нарушаться: количество забываемого начинает перевешивать количество приобретаемого вновь, или, лучше сказать, нет никаких новых приобретений. Мозговые пути становятся настолько неустойчивыми, что, например, в течение нескольких минут предлагается тот же вопрос и ответ на него забывается раз шесть подряд. В этом периоде необычайная устойчивость путей, образовавшихся в детстве, становится очевидной; глубокий старик сохраняет воспоминания ранней молодости, утратив все остальные.

Вот всё, что я хотел сказать об устойчивости мозговых путей. Теперь несколько слов об их числе.

Очевидно, чем более таких путей в мозгу, как $M - N$, и чем более благоприятных поводов для припоминания n , тем скорее образуется, вообще говоря, и прочнее будет память об n , и чем чаще мы будем вспоминать об n , тем более будет возможности всегда припомнить n по желанию.

Говоря на языке психологии, с чем большим количеством фактов мы ассоциировали данный факт, тем более прочно он задержан нашей памятью. Каждый из элементов ассоциации есть крючок, на котором факт висит и с помощью которого его можно выудить, когда он, так сказать, опустился на дно. Все элементы ассоциации образуют ткань, с помощью которой данный факт закреплен в мозгу. Тайна хорошей памяти есть, таким образом, искусство образовывать многочисленные и разнородные ассоциации со всяким фактом, который мы желаем удержать в памяти. Но что другое представляет это образование ассоциаций с данным фактом, если не упорное размышление о нем?

Короче говоря, из двух лиц с тем же внешним опытом и с той же степенью прирожденной восприимчивости то лицо, которое более размышляет над своими впечатлениями и ставит их в систематическую связь между собой, будет обладателем лучшей памяти. Примеры можно видеть на каждом шагу. Большинство людей обладают хорошей памятью на факты, имеющие отношение к их житейским целям. Школьник, проявляющий способности атлета, оставаясь крайне тупым в учебных занятиях, поразит вас знанием фактов о деятельности атлетов и окажется ходячей справочной книгой по статистике спорта. Причиной этому является то, что мальчик постоянно думает о любимом предмете, собирает относящиеся к нему факты и группирует их в известные классы. Они образуют для него не беспорядочную смесь, а систему понятий — до такой степени глубоко он их усвоил.

Так же точно купец помнит цены товаров, политический деятель — речи своих коллег и результаты голосования в таком множестве, что посторонний наблюдатель поражается богатством его памяти, но это богатство вполне понятно, если мы примем во внимание, как много каждый специалист размышляет над своим предметом. Весьма возможно, что поразительная память, обнаруживаемая Дарвином и Спенсером в их сочинениях, вполне совместима со средней степенью физиологической восприимчивости мозга обоих ученых. Если человек с ранней юности задается мыслью фактически обосновать теорию эволюции, то соответствующий материал будет быстро накапливаться и прочно задерживаться в его памяти. Факты свяжутся между собой их отношением к теории, а чем более ум

будет в состоянии различать их, тем обширнее станет эрудиция ученого. Между тем теоретики могут обладать весьма слабой отрывочной памятью и даже вовсе не обладать ею. Фактов, бесполезных для его целей, теоретик может не замечать и забывать тотчас же после их восприятия. Энциклопедическая эрудиция может совмещаться почти с таким же «энциклопедическим» невежеством, и последнее может, так сказать, скрываться в промежутках ее ткани. Те, кому приходилось иметь много дела со школьниками и профессиональными учеными, поймут, какой тип я имею в виду.

В системе каждый факт мысли связан с другим фактом каким-нибудь отношением. Благодаря этому каждый факт задерживается совокупной силой всех других фактов системы и забвение почти невозможно.

Почему зубрежка такой дурной способ учения? После сказанного выше это само собой ясно. Под зубрением я разумею тот способ подготовки к экзаменам, когда факты закрепляются в памяти в продолжение немногих часов или дней путем усиленного напряжения мозга, запоминаются на время испытания, между тем как в течение учебного года память почти вовсе не упражнялась в области предметов, необходимых к экзамену. Объекты, заучиваемые таким путем, на отдельный случай, временно, не могут образовать в уме прочных ассоциаций с другими объектами мысли.

Соответствующие им мозговые точки проходят по немногим путям и с большим трудом возобновляются. Знание, приобретенное с помощью простого зубрения, почти неизбежно забывается совершенно бесследно. Наоборот, материал, набираемый памятью постепенно, день за днем, в связи с различными контекстами, освещенный с разных точек зрения, связанный ассоциациями с другими событиями и неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует такую систему, вступает в такую связь с остальными сторонами нашего интеллекта, легко возобновляется в памяти такой массой внешних поводов, что остается надолго прочным приобретением. Вот в чем рациональное основание для того, чтобы установить в учебных заведениях надзор за непрерывностью, равномерностью занятий в течение учебного года. Разумеется, в зубрении нет ничего нравственно предосудительного. Если бы оно вело к желанной цели — к приобретению прочных знаний, то, бесспорно, было бы лучшим педагогическим приемом. Но на самом деле этого нет, и учащиеся сами должны понять почему.

Прирожденная восприимчивость памяти человека неизменна. Теперь читателю будет вполне ясно, если мы скажем, что все усовершенствование памяти заключается в образовании ряда ассоциаций с теми многочисленными объектами мысли, которые нужно удержать в голове. Никакое развитие не может, по-видимому, усовершенствовать общую восприимчивость человека. Она представляет собой физиологическое свойство, данное человеку раз и навсегда вместе с его организацией, свойство, которое он никогда не будет в состоянии изменить. Без сомнения, оно изменяется в зависимости от состояния здоровья человека; наблюдения показывают, что оно лучше, когда человек свеж и бодр, и хуже, когда он утомлен или болен. Таким образом, что хорошо для здоровья, то хорошо и для памяти. Мы можем даже сказать, что любое интеллектуальное упражнение, усиливающее питание мозга и повышающее общий тонус его деятельности, окажется полезным и для общей восприимчивости. Но более этого ничего нельзя сказать, а это, очевидно, гораздо менее утешительно сравнительно с ходячими взглядами на восприимчивость мозга.

Обыкновенно полагают, что систематические упражнения укрепляют в человеке не только способность запоминать факты, входящие в состав этих упражнений, но и вообще восприимчивость к запоминанию. Говорят, например, что продолжительное заучивание слов облегчает дальнейшее их заучивание. Если бы это было справедливо, то все только что сказанное мной было неверно и всю теорию зависимости памяти от образования нервных путей в мозгу нужно было бы вновь пересматривать. Но я склонен думать, что фактов, противопоставляемых этой теории, на самом деле не существует.

Я обстоятельно расспрашивал многих опытных актеров, и все они единогласно утверждают, что заучивание ролей весьма мало облегчает дело. По их словам, это только развивает способность разучивать роли систематически. Опыт сообщил актерам богатый запас интонаций, экспрессии и жестов; это облегчает разучивание новых ролей, в которых возможно применить запас, накопленный

так же, как накоплены купцом его знания о ценности товаров, атлетом — познания по части гимнастической ловкости; новые роли благодаря практике заучиваются легче, но при этом прирожденная восприимчивость нисколько не совершенствуется, а, наоборот, слабеет с годами. Здесь запоминание облегчается вдумчивостью. Точно так же, когда школьники совершенствуются в заучивании наизусть, я уверен, что на поверку причиной совершенствования всегда окажется способ заучивания отдельных вещей, представляющих относительно больший интерес, большую аналогию с чем-нибудь уже знакомым, воспринятым с большим вниманием и т. д., но отнюдь не укрепление физиологической силы восприимчивости. Заблуждение, которое я имею в виду, проникает насквозь полезную и интересную в других отношениях книгу «Как нужно укреплять память» Гольбрука из Нью-Йорка. Автор не различает общей физиологической восприимчивости и восприимчивости к определенным явлениям и рассуждает так, как будто и та и другая должны совершенствоваться при помощи одних и тех же средств.

«Я лечу теперь, — говорит он, — старика, страдающего потерей памяти, который не замечал, что память его быстро слабеет, пока я не обратил на это внимания. В настоящее время он употребляет энергичные усилия для восстановления памяти, и не без некоторого успеха. Метод лечения заключается в том, чтобы ежедневно по два часа — час утром и час вечером — упражнять память. Пациент в это время сильно напрягает внимание, чтобы воспринимаемое ярко запечатлевалось в уме. Каждый вечер он должен припоминать все события минувшего дня и повторять то же на следующее утро. Каждое услышанное имя ему следует записывать и стараться запомнить, возобновляя его в уме время от времени. Ежедневно он должен запоминать до десяти имен государственных деятелей. Ежедневно ему надо заучивать стихи из поэтических произведений и из Библии. Он должен также запоминать время от времени номер страницы в какой-нибудь книге, где сообщается интересный факт. С помощью этих упражнений и некоторых других приемов ослабевшая память пациента начинает снова оживать».

Я склонен думать, что память этого несчастного старика если и улучшилась, то лишь в отношении частных фактов, которые доктор заставляет его запоминать, и в некоторых других отношениях: во всяком случае эти несносные упражнения не повысили его общей восприимчивости.

Усовершенствование памяти. Итак, все улучшение памяти заключается в усовершенствовании привычных методов запоминания фактов. Таких методов три: механический, рациональный и технический. Механический метод заключается в усилении интенсивности, увеличении и учащении впечатлений, подлежащих запоминанию. Современный способ обучения детей грамоте при помощи письма на классной доске, при котором каждое слово запечатлевается в сознании при посредстве четырех путей — глаз, ушей, голоса и рук, представляет собой образец усовершенствованного механического запоминания. Рациональный метод запоминания есть не что иное, как логический анализ воспринимаемых явлений, группировка их в определенную систему по классам, расчленение их на части и т. д. Любая наука может быть примером такого метода.

Немало придумано технических, искусственных методов для запоминания. При помощи искусственных систем можно нередко удерживать в памяти такую массу совершенно бессвязных фактов, такие длинные ряды имен, чисел и т. д., какие невозможно запомнить естественным путем. Метод заключается в механическом заучивании какой-нибудь группы символов, которые должны быть твердо навсегда удержаны в памяти. Затем то, что должно быть заучено, связывается путем нарочно придуманных ассоциаций с некоторыми из заученных символов, и эта связь впоследствии облегчает припоминание. Наиболее известный и употребительный из искусственных приемов мнемоники — цифровой алфавит. Предназначается он для запоминания рядов чисел. Каждой из десяти цифр в нем соответствует одна или несколько букв. Число, которое надо запомнить, выражают в буквах, из которых легко составить слова, слова по возможности подбирают так, чтобы они напоминали чем-нибудь о предмете, к которому относится число. Таким образом, слово сохранится в памяти даже тогда, когда число будет совершенно забыто. Недавно изобретенный метод Луазетта не столь механичен, он основан на образовании ряда ассоциаций с объектом, который желательно запомнить.

Узнавание. Если с известным явлением мы встречаемся часто и в связи со слишком многочисленными и разнообразными окружающими элементами, то, несмотря на соответственно легкое воспроизведение его, мы не можем поставить такое явление в связь с определенной обстановкой и, следовательно, отнести к какой-то дате в прошлом. Мы узнаем, но не вспоминаем его: ассоциации, связанные с ним, слишком многочисленны и неопределенны. Такой же результат получается, когда локализация в прошлом слишком смутна. Мы чувствуем, что видели где-то данный объект, но где и когда — совершенно не помним, хотя нам кажется, что вот-вот сейчас мы вспомним это. Что нарождающиеся, слабые возбуждения мозга могут вызывать нечто в сознании, можно наблюдать на себе, когда стараешься припомнить имя. Оно в таком случае, что называется, вертится на языке, но не приходит на ум. Аналогичное чувство сопровождает «воспризнание», когда ассоциации, связанные с данным объектом мысли, делают его для нас знакомым, но неизвестно почему.

Есть курьезное душевное состояние, которое, вероятно, всякому приходилось испытывать на себе. Это то чувство, когда кажется, что, переживаемое в данную минуту во всей полноте переживалось когда-то прежде, когда-то мы говорили буквально то же самое на том же самом месте, тем же лицам и т. д. Это чувство «предсуществования» душевных состояний долгое время казалось чрезвычайно загадочным и служило поводом к многочисленным истолкованиям. Виган усматривал причину его в диссоциации деятельности мозговых полушарий. Согласно предположению Вигана, одно из них начинало немного позже осознавать внешние впечатления, отставало, так сказать, от другого. По-моему, такое объяснение несколько не устраняет загадочности явления. Неоднократно наблюдая его на себе, я пришел к заключению, что оно представляет собой неясное припоминание, в котором одни элементы возобновились перед сознанием, а другие нет. Элементы прошлого состояния, не сходные с настоящим, не оживают сначала настолько, чтобы мы могли отнести это состояние к определенному прошлому. Мы только осознаем настоящее, связанное с каким-то общим намеком на прошлое. Точный наблюдатель психологических явлений Лацарус истолковывает это явление так же, как и я. Достойно внимания, что настоящее кажется повторением прошлого лишь до тех пор, пока ассоциации, связанные с аналогичным прошлым, не станут вполне отчетливы.

Забвение. Для нашего интеллекта забвение составляет такую же важную функцию, как и запоминание. Полное воспроизведение, как мы видели, сравнительно редкий случай ассоциации. Если бы мы помнили решительно все, то были бы в таком же безвыходном положении, как если бы не помнили ничего. Припоминание факта требовало бы столько же времени, сколько протекло его на самом деле от появления этого факта до момента припоминания. Таким образом, мы никогда бы не двигались вперед в нашем мышлении. Время при припоминании подвергается тому, что Рибо называет укорочением. Оно обусловлено пропусками огромного количества фактов, заполнявших данный временной промежуток. «Таким образом, — говорит Рибо, — мы приходим к парадоксальному выводу: забвение есть одно из условий запоминания. Без полного забвения громадного количества состояний сознания и без временного забвения весьма значительного количества впечатлений мы совершенно не могли бы запоминать. Забвение, за исключением некоторых его форм, не есть болезнь памяти, но условие ее здоровья и живости».

Патологические условия. Лица, подвергнутые гипнозу, забывают все, что с ними происходило во время транса. Но при следующих таких состояниях они нередко помнят, что с ними было в предшествующий раз. Здесь наблюдается нечто подобное раздвоению личности, при котором связность существует лишь между отдельными состояниями каждой из личностей, но не между самими личностями. В этих случаях чувствительность нередко бывает у той и другой личности различна: во «вторичном» состоянии пациент нередко находится как будто под анестезией. Жанэ доказал, что его пациенты припоминали в состоянии нормальной чувствительности те факты, которых не помнили в состоянии анестезии. Например, он временно восстанавливал их чувство осязания при помощи электрического тока, пассивов и т. д. и заставлял больных брать в руки различные предметы: ключи, карандаши — или делать некоторые движения, например креститься. При возвращении анестезии они совершенно не помнили об этом. «Мы ничего не брали в руки, ничего не делали» — вот обычный ответ

пациентов. Но на другой день, когда их нормальная чувствительность была восстановлена, они отлично помнили, что делали в состоянии анестезии и какие вещи брали в руки. Все эти патологические явления показывают, что область возможного припоминания гораздо шире, чем мы думаем, и что в некоторых случаях кажущееся забвение еще не дает права говорить, что припоминание абсолютно невозможно. Впрочем, это еще не основание для парадоксального вывода о том, будто абсолютного забвения впечатлений нет.

Глава XIX

Воображение

Что такое воображение? Однажды испытанные ощущения так изменяют нашу нервную организацию, что воспроизведение этих ощущений, их копии возникают в сознании, когда первоначально вызывавшее их внешнее раздражение уже отсутствует. Впрочем, никакое ощущение не может быть воспроизведено в сознании, если оно первоначально не было вызвано прямо раздражением извне. Слепому могут сниться цвета, глухому — звуки много лет спустя после потери зрения или слуха, но глухорожденный никогда не будет в состоянии представить себе звук или слепорожденный — цвет. Повторяя приведенные выше слова Локка, мы можем сказать, что «ум не может образовать внутри себя ни одной простой идеи». Оригиналы для простых идей должны быть почерпнуты извне. Фантазия, или воображение, суть названия, данные способности воспроизводить копии однажды пережитых впечатлений. Воображение называется репродуктивным, когда эти копии буквальны, и продуктивным (или конструктивным), когда элементы различных первоначальных впечатлений сочетаются вместе и образуют новое целое. Репродуктивные образы со всей их конкретной обстановкой, которая позволяет определить время соответствующего им в прошедшем восприятия или объекта мысли, оживая перед сознанием, являются воспоминанием. Мы только что познакомились с механизмом воспоминаний. Когда образы не относятся ни к какому определенному времени и не представляют вполне точной копии какого-либо прежнего восприятия, мы имеем дело с продуктами воображения в собственном смысле слова.

Живость зрительного воображения у различных людей различна. Наши образы минувшего опыта могут отличаться полнотой и отчетливостью или быть неясны, неточны и неполны. Весьма вероятно, что многие философские разногласия, например разногласие Локка и Беркли по поводу абстрактных идей, находили поддержку в индивидуальных различиях способности воображения, благодаря которым у одних лиц продукты воображения бывают полнее и точнее, у других — бледнее и туманнее. Локк утверждал, что мы обладаем общей идеей треугольника, которая не должна быть ни прямоугольным, ни равносторонним, ни равнобедренным, ни неравносторонним треугольником, но каждым из них вместе и ни одним в частности. Беркли говорил по этому поводу следующее: «Если есть на свете человек, который может образовать в своем уме такую идею треугольника, то спорить с ним совершенно бесполезно, и я не намерен этого делать. Я хочу только, чтобы читатель уяснил себе хорошенько, может ли он представить себе подобную идею или нет».

До самого последнего времени большинство философов предполагали, что существует прототип человеческого ума, на который походят все индивидуальные умы, и что относительно способности воображения можно высказывать положения, применимые равно ко всем людям. Но в настоящее время масса новых психологических данных обнаружила полную несостоятельность этого взгляда. Нет «воображения» — есть «воображения», и их особенности необходимо изучить подробно.

В 1880 г. Гальтон собрал статистические материалы по этому вопросу, что, можно сказать, составило эпоху в описательной психологии. Он обратился к огромному количеству лиц с просьбой описать воспроизведенное представление обстановки, окружавшей их во время завтрака в какое-нибудь утро. Вариации были весьма значительными, и, как это ни странно, оказалось, что в среднем выдающиеся ученые обладают меньшей силой зрительного воспроизведения по сравнению с молодыми, ничем особенно не выдающимися субъектами. (Подробности см.: Гальтон. «Исследование человеческих

способностей».)

Я сам в продолжение многих лет собирал от каждого из моих студентов описание силы их зрительного воспроизведения и нашел (наряду с некоторыми курьезными аномалиями) соответствующие случаи для всех, приводимых Гальтоном. Для примера я дам два случая, представляющих крайние типы наибольшей и наименьшей силы зрительного воспроизведения. Авторы этих сообщений — двоюродные братья, внуки выдающегося ученого. Вот что пишет первый из них, обладающий наибольшей силой зрительного воспроизведения: «Картина моего завтрака бывает и смутной, и ясной в моем воображении. Она смутна и тускла, когда я пытаюсь воспроизвести ее с открытыми глазами, направленными на какой-нибудь предмет. Она в высшей степени отчетлива и ярка, когда я представляю ее себе с закрытыми глазами. Все подробности этой картины для меня одновременно ясны, но, когда я направляю внимание на какую-нибудь из них, она представляется мне еще отчетливее. Всего легче я воспроизвожу в памяти цвета; если бы, например, мне нужно было припомнить блюдо, украшенное цветами, я был бы в состоянии точно воспроизвести их красками и т. д. Цвет всего бывшего на утреннем столе представляется чрезвычайно живо. Обширность моих зрительных воспроизведений весьма велика. Я представляю себе все четыре стены моей комнаты и все четыре стены каждой из четырех остальных комнат с такой отчетливостью, что, если бы вы меня спросили, где лежит такая-то вещь, или попросили меня сосчитать стулья и т. п., я тотчас же сделал бы это без малейшего колебания.

Чем более я учу наизусть, тем яснее представляю себе образы прочитанных мною страниц. Перед тем как произносить наизусть одну строчку заученного, я вижу ее и следующие за ней строки, так что могу цитировать их медленно слово за словом, но ум мой так занят созерцанием образа печатных строк, что я совершенно не знаю смысла произносимых мною слов. Когда я впервые заметил в себе такую особенность, то сначала подумал, что это обусловлено несовершенным знанием выученного наизусть. Но в конце концов я убедился, что действительно вижу страницу. Сильнейшим доводом в пользу того, что это так, я думаю, может служить следующий факт: я могу мысленно осматривать страницу и видеть начальные слова каждой строчки и от любого из них могу читать строчку далее. Мне гораздо легче делать это, если начальные слова идут одно под другим по прямой линии, чем если они отступают в сторону. Например:

Etant fait.....

Tous.....

A des.....

Que fit.....

Ceres.....

Avec.....

Un fleur.....

Comme.....

(Лафонтен)

И вот что пишет студент с наименьшей силой зрительного воспроизведения: «Моя сила зрительного воспроизведения, насколько я могу судить, очень слаба по сравнению с окружающими людьми и имеет некоторые особенности. Я представляю себе любое минувшее событие не в виде отчетливых образов, но в виде панорамы, в которой детали как бы просвечивают сквозь густой туман. Закрыв глаза, я не могу представить себе какую-нибудь из деталей, хотя несколько лет тому назад я еще был в состоянии делать это, после чего указанная способность, по-видимому, мало-помалу совершенно исчезла. При самых лживых моих сновидениях, когда грезы представляются мне вполне реальными фактами, я нередко бываю поражен помутнением зрения, и образы фантазии становятся для меня неясными. Попытки представить себе обстановку завтрака не привели меня ни к каким определенным результатам. Все казалось мне туманным. Я даже не могу сказать, что я видел. Я не мог бы назвать число стульев в комнате, если бы не знал случайно, что их десять. Я ничего не вижу в деталях. Всего характернее то, что я даже не могу сказать в точности, что я вижу. Насколько я припоминаю, окраска

предметов в воспроизведении бывает та же, что и в восприятии, только сильно полинявшая. Быть может, всего отчетливее я вижу цвет скатерти на столе, и, может быть, был бы в состоянии видеть цвет обоев, если бы помнил его».

Люди, обладающие значительной силой зрительного воспроизведения, с трудом понимают, как могут думать лица, лишенные этой силы. Без сомнения, некоторые не обладают способностью зрительного воспроизведения в сколько-нибудь значительной степени; они не скажут, что видят стол, но скажут, что помнят его и знают, что на нем стояло. Психический материал, из которого состоит это «знание», по-видимому, исключительно названия. Но если при помощи слов «кофе», «ветчина», «булки», «яйца» и т. п. можно так же легко объясняться с кухаркой, платить по счетам и заказывать обед на завтра, как и при помощи зрительной и вкусовой памяти, то нет основания с практической точки зрения считать зрительную память особенным преимуществом.

В сущности, словесная память для большинства житейских целей даже лучше памяти, богатой яркими образами. Важным элементом в мышлении является сочетание терминов в посылках для образования заключения, благодаря чему словесное мышление всего скорее содействует образованию вывода, так как слова (произнесенные вслух или нет — безразлично) — наиболее сподручный материал для процессов мышления. Они не только чрезвычайно легко оживают в памяти, но и с большей легкостью, чем какие-либо другие впечатления опыта. Если бы это не было так, то невозможно было бы объяснить следующее: чем старше люди и чем более они известны в качестве мыслителей, тем более у них утрачена зрительная память, как это, например, нашел Гальтон у членов Королевского ученого общества.

Звуковые образы. Как и сила зрительного воспроизведения, сила звукового воспроизведения у разных лиц бывает весьма различной. Люди с преобладанием звукового воспроизведения были названы Гальтоном *audiles*. По словам Бинэ, этот тип встречается реже, чем лица со зрительной памятью.

Лица слухового типа воспроизводят объекты мысли в звуках. Чтобы выучить урок, они стараются запомнить не страницу, на которой он записан, а звуки голоса, отвечающего его вслух; они и мыслят, и припоминают ухом. Производя в уме сложение, они повторяют про себя названия чисел и, так сказать, складывают с помощью одних звуков, не помышляя о цифрах. Конструктивное воображение у таких лиц также бывает слуховое. «Когда я пишу комедию, — сказал Легуве Скрибу, — вы ее смотрите, но я ее слушаю. Когда я пишу фразу, я слышу голос произносящего ее. Ваши актеры говорят, жестикулируют перед вашими глазами: вы — зритель, а я — слушатель». — «Совершенно справедливо, — заметил Скриб, — знаете ли вы, где я нахожусь, когда пишу пьесу? В середине партера».

Очевидно, чисто слуховой тип, развивая лишь одну из своих способностей, может довести слуховую память до чудовищных размеров. Так, Моцарт, прослушав всего два раза «Miserere» Сикстинской капеллы, запомнил его наизусть; Бетховен, став глухим, сочинял и мысленно повторял про себя огромные симфонические произведения. В то же время человек, принадлежащий к слуховому типу (так же как человек чисто зрительного типа) подвержен серьезной опасности в случае потери слуховых образов, ибо это для него будет почти равносильно потере умственных способностей.

Образы мышечного чувства. Штриккер, который, по-видимому, принадлежит к моторному типу, т. е. обладает чрезвычайно развитой двигательной формой воображения, дал тщательное описание этого способа воспроизведения. Его воспоминания о собственных движениях и о движениях окружающих предметов всегда сопровождаются определенными мышечными ощущениями в тех частях тела, которые могли бы сами произвести какое-нибудь движение или воспринимали движение внешнего предмета. Например, думая о маршировке солдат, ему казалось, будто он помогал образу двигаться, напрягая мышцы собственных ног; когда он пытался подавить симпатическое мышечное напряжение в ногах и направлял все внимание на воображаемого движущегося солдата, последний вдруг останавливался как бы парализованным. Вообще, всякое движение в воображаемых им предметах немедленно парализуется, как только ощущения движения в соответствующих членах или глазах Штриккера прекращаются. Главнейшая роль в его душевной жизни принадлежит ощущениям

движений, необходимых для членораздельной речи. «Когда по окончании какого-нибудь эксперимента, — говорит он, — я начинаю словесно описывать его, то обыкновенно мне приходится лишь повторять слова, которые я уже заранее ассоциировал с различными деталями моих опытов во время их осуществления, ибо мысленная речь играет во всех моих внешних впечатлениях такую огромную роль, что я, можно сказать, воплощаю их в слова, едва успев воспринять извне».

Многие лица на вопрос, в какой форме представляют они себе слова, отвечали: «В форме звуковых образов». Только при большем сосредоточении внимания на процессе, когда они представляют слова, испытуемые замечают, что им довольно трудно определить, какие образы в этот момент преобладают в их воображении: слуховые или моторные, связанные с движениями органов речи. Чтобы преодолеть затруднение, Штриккер предлагает открыть немного рот и постараться представить себе слово, в котором были бы губные или зубные звуки («папирус», «Дидона»). Для большинства людей такое представление сначала смутно, подобно тому как произнесение этих слов с раскрытыми губами невнятно. Многие не могут ясно представить себе этих слов с раскрытыми губами, другим это удастся лишь после предварительных попыток. Опыт показывает, до какой степени наши словесные представления тесно связаны с ощущениями движений губ, языка, гортани и т. д. Бэн говорит, что слабые движения в органах речи — это, в сущности, материал для памяти, интеллектуальное проявление, идея речи. У лиц со слабой слуховой памятью моторный способ представления ограничивает, по-видимому, весь запас словесного мышления. Штриккер говорит, что в состав представлений слов, о которых он думал, не входили никакие слуховые образы.

Осязательные образы. У некоторых лиц осязательный способ воспроизведения развит весьма сильно. Самые живые осязательные образы возникают в нас, когда мы остерегаемся какого-нибудь местного повреждения или когда видим, как оно наносится другому. В таких случаях мы можем вполне отчетливо испытывать соответствующие болевые ощущения, сопровождаемые физиологическими явлениями вроде так называемой гусиной кожи, бледности, красноты и других результатов реального мышечного сокращения в мнимо пораженном месте. «Один образованный человек, — говорит Мейер, — рассказывал мне, как однажды он был испуган тем, что отдал дверь палец своему маленькому ребенку. В момент испуга отец почувствовал сильнейшую боль в соответствующем своем пальце, и боль эта продолжалась целых три дня».

Воображение слепоглухонемой, вроде Л. Бриджмен, должно состоять исключительно из осязательных и моторных образов. Все слепые принадлежат к осязательному и моторному типам. Когда молодому человеку, у которого Франц снял с глаз катаракту, после операции показали начерченные геометрические фигуры, он не смог составить себе идею квадрата и круга, пока не проверил зрительных впечатлений осязательными, проведя пальцами по контурам фигур, как бы ощупав их, подобно реальным предметам.

Патологические особенности. Изучение афазии за последние годы показало, как неожиданно глубока разница в формах воображения у отдельных индивидов. У одних материалы мысли, если можно так выразиться, состоят преимущественно из зрительных образов, у других — из слуховых или моторных, у большинства же — из равномерной смеси всяких образов. Последние — индифферентные типы, согласно выражению Шарко. Понятно, что одно и то же повреждение мозга может различно воздействовать на лиц, принадлежащих к разным типам воспроизведения. У одного поражение затрагивает весьма важную для него группу нервных путей и парализует ее деятельность, для другого поражение тех же нервных путей несущественно.

Особенно интересен случай, опубликованный Шарко в 1883 г. Пациентом был купец, прекрасно образованный человек, принадлежавший к типу с наивысшей силой зрительного воспроизведения. Из-за какого-то болезненного процесса в мозгу он внезапно потерял зрительную память, вместе с тем его умственные способности несколько ослабели, оставаясь, впрочем, вполне нормальными. Вскоре он заметил, что может продолжать дела, применяя свою память совершенно иным путем, и ясно описал отличие нового состояния от прежнего. Всякий раз, как он возвращался в А., куда ему часто приходилось ездить по торговым делам, ему казалось, что он въезжает в незнакомый город. Он

осматривал памятники, дома и улицы с таким же удивлением, с каким он осматривал бы никогда не виданный прежде город. Когда его попросили описать главное общественное место в А., он ответил: «Я знаю, что такое место есть в городе, но не могу представить его себе и ничего не могу сказать о нем». Так же точно он не помнил ни лиц своей жены, ни детей. Даже после того как он пробыл с ними в новом состоянии некоторое время, он все-таки не мог к ним привыкнуть. Он забывал даже собственное лицо, и однажды заговорил со своим отражением в зеркале, приняв его за отражение другого человека. Пациент жаловался также на потерю цветовой памяти. «Я знаю, что у моей жены черные волосы, но припомнить этот цвет, а также наружность и черты лица жены я не в состоянии». Зрительная амнезия у него распространилась и на все объекты прошлого опыта, начиная с детства: например, отцовский дом, где он провел юные годы, он не узнавал. Кроме потери зрительной памяти, в нем не замечалось никаких ненормальностей. Отыскивая что-нибудь в своей корреспонденции, он, как и все нормальные люди, перебирает полученные письма, пока не находит нужного. Из «Илиады» он помнит лишь несколько первых стихов и должен долго рыться в памяти, чтобы процитировать несколько строк из Гомера, Вергилия или Горация. Складывая числа, он нашептывает их себе. Он вполне ясно понимает, что должен поддерживать память, пользуясь слуховыми образами, которые запоминаются им с трудом. Слова и фразы, припоминаемые им, звучат, как эхо, в его ушах, что составляет для него совершенно новое ощущение.

Если он хочет выучить что-нибудь наизусть, например ряд фраз, то он должен несколько раз подряд громко прочитать их, чтобы запечатлеть в памяти при помощи слуха. Когда он впоследствии повторяет вслух те же фразы, каждое слово предварительно выступает соответствующим впечатлением внутреннего слуха. Прежде подобное ощущение было неизвестно ему.

Если бы у того же лица произошло внезапное расстройство не зрительного, а слухового воспроизведения, это составило бы для него гораздо меньшее несчастье.

Нервные процессы, обуславливающие воображение. Большинство авторов-медиков утверждают, что нервные процессы, лежащие в основе воображения, локализуются не в тех частях мозга, которые обуславливают восприятие соответствующих внешних впечатлений. Но можно дать более простое объяснение этим фактам, предположив, что процессы, обуславливающие и воспроизведение, и восприятие ощущений, совершаются в тех же нервных путях. Воспроизведенные образы всегда возникают при помощи ассоциации; они всегда бывают «внушены» каким-нибудь воспринятым ранее ощущением. Ассоциации же (во всяком случае) обусловлены токами, проходящими от одного центра мозговой коры к другому. Если мы теперь предположим, что проходящие внутри коры токи не могут вызывать в нервных клетках такие сильные разряды, какие там производятся токами, идущими от внешних органов чувств, то не возникнет никакой надобности приписывать различную локализацию физиологическим центрам восприятия и воспроизведения, чтобы объяснить психологическое различие между теми и другими. Сильному нервному разряду соответствует живой характер непосредственного чувственного впечатления, слабому — бледность воспроизведенного, не имеющего объективной реальности образа.

Если мы допустим, что ощущение и воображение обусловлены деятельностью тех же частей мозговой коры, то легко усмотреть очень хорошее телеологическое основание для обособленности процессов восприятия и воображения и для того факта, что процессы, указывающие сознанию на наличность некоторой объективной реальности, при нормальном состоянии мозга возникают только при посредстве токов, идущих от периферии, а не от соседних частей мозговой коры. Короче говоря, мы здесь можем видеть, почему чувственные процессы должны быть обособлены от всех нормальных процессов воспроизведения, как бы последние ни были интенсивны. Мюнстерберг справедливо замечает по этому поводу: «Если бы мы не обладали таким специфическим распределением физиологических процессов восприятия и воспроизведения, то не были бы в состоянии приспособлять наши действия к окружающим явлениям внешнего мира, не имея возможности отличать действительность от фантазии, наше поведение было бы нецелесообразным, бессмысленным и мы не могли бы жить».

Иногда, в виде исключения, под влиянием одного только центрального возбуждения происходит нервный разряд, превышающий своей интенсивностью обычную норму. В очень слабых, едва заметных зрительных и слуховых впечатлениях восприятие и воспроизведение с трудом различимы. Ночью, прислушиваясь к очень слабому бою отдаленных часов, мы мысленно воспроизводим и звук, и ритм боя, так что иногда трудно сказать, был ли последний удар реальным звуком, или он продукт нашего воображения. Когда ребенок кричит в отдаленной части дома, то также часто не знаешь, продолжается ли крик в действительности или звучит только в нашем воображении. Некоторые скрипачи пользуются этим свойством слабых звуков в пьесах, оканчивающихся постепенным замиранием звука (*diminuendo*). Достигнув *pianissimo* в последней ноте, они, по-видимому, продолжают вести смычок, как бы продолжая тянуть звук, но на самом деле не касаются струны. Слушатель же дополняет воображением последний звук, подмечая в нем оттенок, более слабый, чем скрипичное *pianissimo*. Зрительные и слуховые галлюцинации — другой пример подобных явлений, которые будут рассмотрены в следующей главе. В заключение упомяну об одном до сих пор еще не объясненном факте: многие наблюдатели (Мейер, Фере, Скотт и Шмидт, занимающийся под моим руководством студент) заметили, что созерцание воспроизведенных образов сопровождается появлением отрицательных зрительных следов, как будто сама сетчатка утомляется зрительным воспроизведением.

Глава XX

Восприятие

Сравнение восприятия с ощущением. Мы уже говорили на с. 27, что чистое ощущение есть абстракция, для которой в душевной жизни взрослого нет соответствующей реальности. Сравнительно с чистым ощущением всё, что воздействует на наши органы чувств, вызывает в нас нечто большее: оно возбуждает в мозговых полушариях процессы, которые отчасти обусловлены модификациями в строении нашего мозга, произведенными в нем предшествующими впечатлениями; в нашем сознании эти процессы вызывают идеи, которые так или иначе связаны с данным ощущением. Первой такой идеей является представление того предмета, к которому относится данное чувственное свойство. Осознание известных материальных объектов, находящихся перед нашими органами чувств, и есть то, что в настоящее время называется в психологии восприятием. Осознание таких объектов может быть более или менее полным: оно может заключаться в знакомстве с названием объекта и в знании важнейших свойств или во всестороннем понимании самых отдаленных отношений данного объекта к другим явлениям опыта. Провести резкую демаркационную черту между скудным и содержательным осознанием невозможно, потому что его содержание, выходящее за пределы грубых первичных ощущений, обусловлено законами ассоциации, ассоциации же незаметно переходят одна в другую, являясь всеобщим продуктом того же самого ассоциационного механизма. В актах непосредственного осознания ассоциационные процессы играют меньшую роль, в опосредованных — большую. Таким образом, совместная деятельность физиологических процессов, обуславливающих воспроизведение и непосредственные ощущения, и есть то, что дает содержание нашим восприятиям. Каждый конкретный материальный предмет представляет собой комплекс чувственных свойств, с которыми мы впервые знакомимся в различные времена. Иные из этих свойств, именно те, которые или отличаются постоянством, или особенно интересны для нас, или имеют практическое значение, мы принимаем за существенные элементы данного предмета. К таким свойствам относятся внешние очертания предмета, его размеры, масса и т. д. Другие свойства, более изменчивые, мы считаем несущественными, случайными. Первые свойства мы называем реальностью, последние — ее проявлениями. Например, услышав звук, я говорю: «Экипаж!» Но звук не есть экипаж, а только один из самых несущественных признаков его появления. Настоящий экипаж есть нечто вполне видимое и осязаемое, образ чего был вызван в моем сознании звуком. Когда поле моего зрения занято, как, например, в данную минуту образом коричневой плоскости с непараллельными краями и неровными

углами, и когда я называю этот образ моим массивным четырехугольным библиотечным столом, то на самом деле этот образ не есть стол. Он даже не есть стол, поскольку последний служит объектом зрения, если на него правильно смотреть. Это искаженный перспективный вид трех сторон предмета, который я мысленно воспринимаю до известной степени цельно и правильно. Задняя часть стола, его прямые углы, его размеры и тяжесть суть черты, которые я осознаю в нем почти так же, как и его название. Название здесь, конечно, случайная, установленная привычкой ассоциация. «Природа, — говорит Рид, — экономна в своих действиях и не станет предназначать особый инстинкт для того, чтобы сообщить нам знания, которые мы можем быстро приобрести с помощью опыта и привычки». Воспроизведенные свойства, связанные с непосредственно ощущаемыми в один комплекс вещи, имеющей название, — вот материалы, из которых слагается мое непосредственное восприятие стола. Дети должны пройти длинную школу воспитания глаза и уха, и чтобы научиться воспринимать реальные объекты, входящие в состав опыта взрослых. Всякое восприятие есть нечто приобретенное. Восприятие не есть сложное состояние сознания. Тем не менее нет оснований допускать, что процесс восприятия предполагает слияние различных ощущений и идей. Воспринимаемый объект есть единичное состояние сознания, обусловленное, без сомнения, частью периферическими, частью центральными чувственными токами, но ни в каком случае не заключающее в себе простой совокупности ощущений и идей, которые были бы немедленно вызваны данными токами, если бы сознание не было дополнено иным психическим содержанием. Мы часто замечаем существенную разницу между тем и другим случаем. Чувственные свойства меняются на наших глазах. Возьмем уже приведенный однажды пример: «*Pas de lieu Rhone que nous*»; можно перечитывать эту фразу много раз и не замечать ее звукового тождества с «*Paddle your own canoe*». Как только в нашем уме при чтении этой фразы появились ассоциации с английскими словами, самые звуки фразы как бы изменились. Звуки слов обыкновенно воспринимаются сразу с их значением. Иногда, впрочем, ассоциационные токи на несколько мгновений задерживаются (когда ум наш занят чем-нибудь посторонним); в таком случае слова «завязают» в ухе, как отголоски бессмысленных звуков. Затем вдруг их смысл становится ясным. Но в эту минуту нередко с удивлением замечаешь, что сам характер слова как будто изменился. Наш язык стал бы звучать для нас совершенно иначе, если бы мы слушали его, не понимая, как иностранный язык, которого мы не изучали. Повышение и понижение интонации, странные стечения шипящих и других согласных производили бы в этом случае на наш ум такое впечатление, о котором мы теперь не можем себе и представить. Французы говорят, что звуки английского языка напоминают им щебетанье птиц (*gazouillement des oiseaux*); на англичан их родной язык, разумеется, не производит такого впечатления. На многих англичан звуки русского языка, вероятно, произвели бы похожее впечатление. Всем нам хорошо известно резкое изменение интонации и своеобразные стечения шипящих и гортанных в немецкой речи, которые представляются немцу совершенно иными. Вероятно, благодаря именно этому обстоятельству мы нередко, долго глядя на отдельное печатное слово и повторяя его про себя, вдруг замечаем, что оно приняло совершенно не свойственный ему характер. Пусть читатель попробует пронаблюдать это явление на любом слове страницы. Он скоро станет удивляться тому, как он мог всю жизнь употреблять такое-то слово в таком-то значении. Слово это будет глядеть на читателя со страницы, как стеклянный глаз, не одухотворенный мыслью. Его составные элементы налицо, но смысл улетучился. Взглянув на него с новой точки зрения, мы обнажили в нем чисто фонетическую сторону, на которую раньше никогда не направляли внимания: слово воспринималось нами сразу облеченным в свой смысл, а затем мы мгновенно переходили к следующему. Короче говоря, слово воспринималось в связи с группами ассоциаций и в таком виде являлось для нас не простым комплексом звуков.

Другую хорошо известную перемену в восприятии можно наблюдать, глядя на ландшафт с закинутой назад головой. Это положение наблюдателя несколько нарушает привычный порядок восприятия; постепенная градация расстояний и других пространственных отношений становится неопределенной. Здесь ослабляются репродуктивные или ассоциационные процессы, цвета становятся более яркими и разнообразными, контрасты света и тени — более резкими. То же самое

происходит при рассматривании картины, повешенной вверх ногами. При таком условии многое в содержании картины остается нам непонятным, но зато мы живее ощущаем цвета и контрасты света и тени и малейшая дисгармония в этом отношении чувствуется сильнее. Точно так же, если мы, лежа на полу, будем глядеть снизу на рот человека, говорящего над нами, то изображение его нижней губы будет занимать на нашей сетчатке всегдашнее место изображения верхней и будет казаться в необыкновенном движении, которое поразит нас из-за того, что (за отсутствием обычных ассоциаций, задержанных непривычным положением зрителя) мы воспримем одно грубое ощущение, а не часть воспринимаемого обычным путем объекта.

Итак, еще раз повторяю: воспринимая свойства объекта, воздействующего на наши органы чувств, мы не испытываем чистого ощущения этих свойств, которое входило бы в восприятие и составляло его составной элемент. Чистое ощущение — одно, восприятие — нечто иное: одно не может существовать с другим, потому что их физиологические условия различны. Они могут походить друг на друга, но не могут составлять единого тождественного состояния.

Восприятие бывает или вполне определенным, или только вероятным. Главнейшими физиологическими условиями восприятия служат образовавшиеся в мозгу пути ассоциаций, идущие от внешних чувственных впечатлений. Если известное впечатление прочно ассоциировалось со свойствами какого-нибудь объекта, то, получая это впечатление, мы почти уверены, что оно связано именно с данным объектом. Так, мы с первого взгляда узнаем и называем по имени известных нам лиц, известные места и т. п. Но в тех случаях, где впечатление ассоциировалось с несколькими реальными объектами, представляющими два или более отдельных комплекса однородных свойств, восприятие данного объекта становится неопределенным и о нем можно только сказать, что оно есть вероятное восприятие данного объекта, который производил на нас такое же впечатление.

В неопределенных случаях образование восприятия редко бывает незавершенным: известное восприятие здесь всегда имеет место. Два отдельных комплекса ассоциационных элементов не нейтрализуют один другого, не смешиваются и не образуют расплывчатого пятна. Всего чаще мы сначала воспринимаем один вероятный объект во всей его цельности, затем другой — также вполне цельный. Другими словами, физиологические процессы вызывают то, что может быть названо «фигурно-сознаваемым» (т. е. с определенными очертаниями). Раз в мозгу образовались пути для нервных токов, они непременно образовались в форме связной системы и вызывают представление определенных объектов, а не беспорядочный хаос элементов. Даже когда функции мозга наполовину выбиты из нормальной колеи, например при афазии, при сонливости, закон фигурного сознания сохраняет свое значение. Человек, задремавший при чтении книги вслух, будет читать неверно, но не произнесет набор бессмысленных слогов, а сделает ошибки вроде следующих: «отрада» вместо «ограда», «переврал» вместо «перевал» и т. н. — или будет произносить вымышленные фразы, которых нет в книге. Так же и в афазии, пока болезнь не приняла опасных размеров, пациент начинает произносить не те слова, какие следует. Только при повреждении значительных участков мозга речь перестает быть членораздельной. Эти факты показывают, как тонка ассоциативная связь, как тонко и в то же время прочно единение между нервными путями, единение, благодаря которому, будучи раз возбуждены одновременно, эти пути впоследствии всегда стремятся возбуждаться вместе, в виде одного систематического целого.

Небольшая группа элементов «это», общая двум системам А и В, может оказать решающее действие или в пользу А, или в пользу В в зависимости от случайного перевеса в ту или другую сторону (рис. 15). Если в каком-нибудь пункте путь от «этого» к В на мгновение оказался более доступным для нервного тока, чем путь от «этого» к А, то равновесие нарушается в пользу целой системы В. Токи проникнут через пункт наименьшего сопротивления и распространятся по всем путям В, делая образование А все менее и менее возможным. В таком случае мысли, соотносительные с А и с В, будут иметь различные объекты, хотя и сходные между собой. Впрочем, сходство будет заключаться в какой-нибудь весьма незначительной черте, если область «этого» очень мала. Таким образом, самые слабые ощущения могут повлечь за собой восприятие вполне определенных объектов, если только эти ощущения сходны

именно с теми, в которых восприятие данных объектов нуждается для своего возникновения.

Рис. 15

Иллюзии. Для краткости условимся рассматривать А и В (рис. 15) не как мозговые процессы, но как соответствующие им объекты восприятия. Далее предположим, что и А и В суть те объекты, которые с вероятностью могут вызвать ощущение, обозначенное мной словом «это», но что в данном случае последнее вызвано не В, а А. Если здесь «это» напоминает об А, мы получаем правильное восприятие. Если, наоборот, «это» восприятие напоминает о В, а не об А, то в результате мы получаем ложное восприятие, или так называемую иллюзию. Но и при нормальном восприятии, и при иллюзии сами процессы тождественны.

Необходимо заметить, что во всякой иллюзии ложно не непосредственное впечатление, а то суждение, которое мы составляем о нем. «Это», если бы мы могли ощущать его обособленным от остального, всегда само по себе было бы истинным впечатлением, оно вводит нас в заблуждение лишь тем, что вызывает за собой. Если «это» есть зрительное впечатление, то оно может, например, вызвать мысль о наличии перед нами такого объекта осязания, которого на самом деле не оказывается в опыте. Так называемые обманы чувств, которым давали древние скептики много толкований, не суть, собственно говоря, обманы чувств — это, скорее, обманы интеллекта, ложно истолковывающего данные чувства. Бинэ подчеркивает, что объект ложного вывода всегда в таких случаях принадлежит другому чувству, а не тому, к которому относится «это». Зрительные иллюзии, вообще говоря, результаты ошибок осязательных и мышечных ощущений: и ложно воспринимаемый объект, и эксперимент, исправляющий ошибку, в этих случаях осязательного характера.

После этих предварительных замечаний рассмотрим подробнее явления иллюзии. Они возникают главным образом благодаря двум причинам. Ложный объект воспринимается нами или потому, что он является самой привычной, давно знакомой или наиболее вероятной причиной «этого», хотя именно в данном случае реальная причина «этого» что-нибудь иное; или потому, что ум наш занят всецело мыслью об определенном объекте, и «это» всего более склонно вызвать именно его в данную минуту. Иллюзии первого типа наиболее важны, ибо сюда относится группа постоянных иллюзий, которым подвержены все люди и от которых можно отделаться только путем долгого опыта.

Рис. 16

Иллюзии первого типа. Один из древнейших примеров этой иллюзии мы находим у Аристотеля. Скрестите два пальца и начните катать между ними горошину вставочку или какой-нибудь другой небольшой предмет. Он покажется двойным (рис. 16). Робертсон дал очень удачное объяснение этого явления. Он заметил: когда предмет соприкасается сначала с указательным, а затем со средним пальцем, оба соприкосновения, по-видимому, происходят в различных точках пространства. Прикосновение к указательному пальцу кажется выше, хотя палец на самом деле находится ниже; прикосновение к среднему — ниже, хотя палец в действительности выше. Те стороны пальцев, к которым мы прикасаемся в данном случае, при нормальном их положении не находятся в пространстве рядом и обыкновенно не касаются одного предмета; поэтому один предмет, касаясь их обоих, кажется находящимся в двух местах, т. е. кажется двумя различными предметами. В зрительных ощущениях есть группа иллюзий, которые мы истолковываем согласно обычным приемам, хотя они вызваны необычными объектами. Таковы фигуры, видимые в стереоскопе. Каждый глаз видит в нем по картине, причем картины отличаются между собой весьма немногим; находящаяся против правого глаза представляет изображение предмета немного правее, находящаяся против левого — изображение того же предмета немного левее. Изображения, получаемые обоими глазами от

телесных предметов, отличаются несходством именно такого рода, так что мы обычным путем реагируем на полученные впечатления и видим одно телесное изображение. Если переставить изображения, то мы получим полую форму предмета, ибо она дала бы глазу именно такие несходные изображения. С помощью псевдоскопа, прибора, изобретенного Уитстоном, мы имеем возможность глядеть на телесный предмет и в то же время видеть каждым глазом изображение, получаемое от предмета другим глазом. При этом мы воспринимаем телесный объект в виде вогнутой формы, но лишь в случае, если есть вероятие, что он на самом деле вогнутой формы.

Таким образом, процесс восприятия остается верным закону: мы всегда реагируем на ощущение, если возможно, определенным способом, и изменение способа этого настолько вероятно, насколько вероятна наличность в данном случае соответствующего объекта. Например, человеческое лицо никогда не воспринимается в псевдоскопе в виде вдавленной формы, так как совмещение представления вогнутой формы и очертаний человеческого лица не входит совершенно в наши привычки. На том же основании легко превратить вогнутое изображение в выпуклое или раскрашенную соответствующим образом внутренность маски — в выпуклую поверхность.

Своеобразные иллюзии движения предметов получаются, когда глазные яблоки двигаются помимо нашей воли. Выше (глава VI) мы видели, что зрительное ощущение движения возникает первоначально благодаря движению изображения по сетчатке. Впрочем, в начале движения это не относится ни к внешнему объекту, ни к глазам. Такое определенное отнесение движения возникает позднее и подчиняется при своем развитии некоторым простым законам. Мы верим, что предмет движется, а глаза неподвижны, всякий раз, испытывая на сетчатке ощущение движения. Благодаря этому у нас возникает зрительная иллюзия после быстрого вращения на одной ноге: нам кажется, что окружающие предметы продолжают вращаться вокруг нас в том же направлении, в каком за мгновение перед тем вращалось наше тело. Это объясняется тем, что глаза при таких условиях бывают возбуждены так называемым *nystagmus* (дрожание), в их орбитах возникает дрожание, которое можно наблюдать при головокружении после вращения у всякого человека. Так как эти дрожания бессознательны, то ощущения движения, вызываемые ими на сетчатке, относятся нами обыкновенно к внешнему объекту. Через несколько секунд вращение исчезает. Оно может быть прекращено, если мы произвольно сосредоточим глаза на какой-нибудь точке.

Существуют иллюзии движения противоположного характера; их каждый мог наблюдать на железнодорожных станциях. Обыкновенно, если мы сами двигаемся вперед, то все наше поле зрения скользит по сетчатке назад. Если мы двигаемся в экипаже с окном, в повозке или в лодке, то все неподвижные предметы, видимые нами, как будто скользят в противоположном направлении. Поэтому всякий раз, как мы замечаем, что все предметы, видимые в окно, двигаются в одном направлении, мы реагируем на это впечатление обычным путем, предполагая перед нами неподвижное поле зрения и приписывая движение экипажу, окну в нем и самим себе. Таким образом, когда мы сидим в вагоне на станции, а перед нами проходит и останавливается другой поезд, причем его вагоны заслоняют собой все поле зрения, затем поезд этот начинает двигаться далее, нам кажется, будто мы сами начали двигаться, в то время как другой поезд стоит на месте. Впрочем, если при этом нам удалось мельком увидеть через окна движущихся вагонов или через промежутки между вагонами часть станции, иллюзия собственного движения мгновенно пропадает, и мы тотчас замечаем движение другого поезда. Здесь мы опять делаем только наиболее привычный, кажущийся нам наиболее вероятным вывод из непосредственных ощущений.

Другая иллюзия при движении объяснена Гельмгольцем. Когда мы глядим из окна быстро мчащегося поезда, то большинство попадающихся на пути предметов: дома, деревья и т. д. — кажутся очень малыми. Это происходит оттого, что мы в первое мгновение воспринимаем их несоответственно близко, так как их параллактическое движение назад непривычно быстро для нас. Выше было сказано, что при нашем движении вперед предметы кажутся нам движущимися назад, и чем они ближе, тем быстрее совершается их кажущееся перемещение. Таким образом, относительно большая скорость движения назад так прочно ассоциировалась с близостью предмета, что, замечая эту скорость в

движении предмета, мы считаем его находящимся близко. Но при данном размере изображения предмета на сетчатке чем ближе предмет, тем меньшей нам кажется его натуральная величина. Таким образом, чем скорее мы двигаемся в поезде, тем ближе кажутся нам дома и деревья, а чем ближе они кажутся, тем меньшими они должны выглядеть (при той же величине изображения на сетчатке). Ощущения, связанные с конвергенцией и аккомодацией глаза и с переменной размеров изображения на сетчатке, порождают иллюзии при оценке размеров объектов и расстояний между ними. Подобные иллюзии принадлежат также к первому типу.

Иллюзии второго типа. Сюда относятся иллюзии, при которых мы воспринимаем ложный объект, потому что наш ум занят им всецело в момент восприятия и всякое ощущение, которое хоть сколько-нибудь с ним связано, сообщает толчок цепи ожидаемых образов и порождает в нас убеждение, что ожидаемый объект действительно перед нами. Вот всем хорошо знакомый пример подобной иллюзии: «Охотник, подстерегая кулика в засаде, вдруг замечает, что поднялась и мелькает среди листвы птица, по размеру и оперению напоминающая кулика; не имея времени определить дальнейшее сходство этой птицы с куликом, охотник немедленно умозаключает от сходства цвета и размеров к наличию остальных свойств кулика, стреляет и к величайшей досаде находит дрозда, а не кулика. Со мной случилась именно такая иллюзия, и я едва верил глазам своим, что убил дрозда, так убедительно стало для меня под влиянием воображения ложное восприятие» (Romanes. «Mental evolution in animals»).

Таковы же иллюзии в играх, в ожидании врагов, в страхе перед мертвецами и т. п. Всякий, ожидающий в сильном страхе появления чего-нибудь в темном месте, примет любое неожиданное впечатление за это явление. Дети, играющие в «палочку-воровку», преступники, укрывающиеся от преследователей, суеверные люди, спешащие через лес или кладбище при лунном свете, человек, заблудившийся в лесу, девушка, робко назначившая возлюбленному свидание вечером, — все они подвержены звуковым или зрительным иллюзиям, которые заставляют их сильно волноваться, пока иллюзия не прекратится.

<...>

Так называемые корректорские иллюзии. Я помню, как однажды вечером в Бостоне, поджидая омнибус с надписью: «Mount Auburn», который мог бы доставить меня в Кембридж, я прочитал на дощечке приехавшего омнибуса именно эти два слова, между тем как на ней (я узнал впоследствии) было написано: «North Avenue». Иллюзия была чрезвычайно жива: я едва поверил, что глаза обманули меня. Аналогичные иллюзии возникают при чтении. Лица, постоянно читающие газеты и романы, не могли бы читать так быстро, если бы для восприятия слов им нужно было воспринимать отчетливо каждый отдельный слог и каждую отдельную букву. Более половины букв читатели дополняют воображением, и, наверное, менее половины воспринимается ими с напечатанной страницы. Если бы это не было так, если бы мы воспринимали каждую букву в отдельности, то типографские ошибки в хорошо знакомых нам словах никогда не пропускались бы незамеченными. Дети, которые еще не привыкли разом охватывать мысленно целые слова, читают так, как напечатано. Напечатанное нашими же буквами, но на иностранном языке мы читаем настолько медленнее, насколько содержание книги нам менее понятно и насколько медленнее мы можем охватывать мысленно слова. Но тем скорее при этом замечаем опечатки. Вот почему произведения, написанные на латинском, греческом и в особенности еврейском языках, содержат менее опечаток, так как исправляются немецкими корректорами с большей тщательностью в иностранных сочинениях, чем в произведениях, напечатанных на их родном языке. Двое моих знакомых знали еврейский язык, один — очень основательно, другой — поверхностно; однако последний преподавал еврейский язык в учебном заведении. Когда однажды он обратился к приятелю с просьбой помочь исправить упражнения учеников, выполненные на еврейском языке, то оказалось, что преподаватель умел гораздо лучше находить даже самые мелкие ошибки в extemporalia (импровизациях) своих учеников, чем его ученый приятель, потому что ученый привык слишком быстро охватывать смысл целого слова, не разбираясь в его частях (Lazarus. «Das Leben der Seele»). В разговорной речи половина звуков, якобы воспринимаемых нами извне, дополняется нашим слуховым воображением. Привычная нам речь

понятна, даже когда произносится тихим голосом или звучит издалека. Речь на малознакомом языке при тех же условиях непонятна: идеи связаны с определенными звуками в последнем случае не так прочно, как в нашем родном языке, и потому не возникают с такой быстротой в нашем уме по поводу известных звуковых впечатлений.

В силу подобных же причин удостоверение личного тождества приводит к баснословным заблуждениям. Допустим, человек был свидетелем происшествия или быстро совершенного преступления и унес с собой зрительное впечатление увиденного. Впоследствии его вызывают на очную ставку с подсудимым, образ которого он тотчас же мысленно переносит в обстановку происшествия и отождествляет с личностью мельком виденного преступника, хотя вполне возможно, что подсудимый даже никогда не был на месте преступления. То же наблюдается на так называемых сеансах с материализацией, которые устраивают шарлатаны-медиумы: в темной комнате человек видит облеченную в легкое газовое одеяние фигуру, которая шепотом говорит ему, что она его покойная мать (сестра, жена или дочь), и бросается ему на шею. Темнота, материализованные фигуры и ожидание делают то, что желанный образ вполне овладевает его воображением, и не удивительно, если он вследствие этого видит в материализованной фигуре внушенное ему лицо умершей. Эти шарлатанские сеансы могли бы доставить драгоценный материал для психологии восприятия, если бы можно было собрать о них поболее точных данных. В гипнотическом трансе всякий внушаемый объект ясно воспринимается. У некоторых лиц способность воспринимать внушение более или менее сохраняется и после пробуждения. Можно предположить, что при благоприятных условиях подобная восприимчивость может обнаруживаться у людей, вовсе не впадающих в гипнотический транс. Восприимчивость к внушению могут проявлять все органы чувств, хотя некоторые крупные авторитеты в психологии выражали сомнение по поводу того, что эта деятельность воображения могла вводить в заблуждение наши непосредственные чувства. Всякому случалось замечать роль внушения в сфере обонятельных ощущений. Когда в квартире повреждена труба для стока нечистот, мы призываем водопроводчика, чтобы прекратить распространившееся зловоние: нерадивый водопроводчик делает вид, что починил трубу, получает деньги и уходит, мы же на некоторое время успокаиваемся, воображая, что дурной запах уменьшился. Определяя температуру и чистоту воздуха в доме, мы также принимаем нередко то, что, по нашему мнению, должно быть, за то, что есть. Вообразив, что вентилятор закрыт, мы начинаем жаловаться на духоту. Когда оказывается, что на самом деле он открыт, впечатление духоты пропадает.

То же замечается на чувстве осязания. Всякий знает, как благодаря осязательной иллюзии чувственные свойства данного предмета кажутся одними и затем вдруг по исчезновении иллюзии обнаруживается, что они совершенно иные: например, прикоснувшись рукой в темноте к чему-нибудь мокрому или волосатому, мы испытываем на мгновение чувство отвращения или страха, пока не признаем в осязаемом предмете хорошо знакомую нам вещь. Даже подобрав на скатерти после обеда ничтожную крошку картофеля, которую мы приняли за крошку хлеба, мы испытываем на несколько мгновений неприятное чувство отвращения, пока не определим, что такое у нас в руке.

В слуховых ощущениях иллюзии изобилуют. Каждый может привести множество примеров, когда какой-нибудь звук казался ему совершенно иным благодаря тому, что рассудок приписывал этому звуку иную внешнюю причину. Однажды, когда у меня сидел приятель, забили часы с курантами на очень низком регистре. «Слышишь, — говорит мне приятель, — шарманка играет в саду!» Узнав настоящий источник звука, он был очень удивлен. Со мной самим случилась иллюзия подобного рода. Поздно ночью я читал, вдруг в верхней части дома раздался страшный шум, прекратился и затем через минуту возобновился. Я вышел в зал, чтобы прислушаться, но шум не повторялся. Только я успел вернуться к себе в комнату и сесть за книгу, снова поднялся тревожный, сильный шум, точно перед началом бури или наводнения. Он доносился отовсюду. Крайне встревоженный, я снова вышел в зал, и снова шум прекратился. Вернувшись во второй раз к себе, я вдруг обнаружил, что шум производила своим храпом маленькая собачка, шотландская такса, спавшая на полу. При этом достойно внимания, что, раз обнаружив истинную причину шума, я уже не мог, несмотря на все усилия, возобновить

прежнюю иллюзию.

Чувство зрения изобилует иллюзиями обоого типа. Никакое чувство не дает таких изменчивых впечатлений от одного и того же предмета, как чувство зрения. В зрении более, чем в каком-либо другом чувстве, мы склонны принимать непосредственные ощущения за показатели определенных свойств внешних объектов; никакое другое чувство не вызывает в нашей памяти с такой непосредственностью представление известной вещи и, следовательно, восприятия последней. Воспринимаемая нами вещь всегда напоминает (как мы увидим ниже) объект какого-нибудь отсутствующего в сознании в данную минуту ощущения; она напоминает обычно какой-нибудь иной зрительный образ, который служит показателем реального явления. Это постоянное сведение наших непосредственно данных зрительных образов к более устойчивым, соответствующим действительности формам побудило некоторых психологов ошибочно полагать, будто нашим первоначальным зрительным ощущениям вовсе не присуща никакая прирожденная форма. Можно привести немало любопытных примеров случайных зрительных иллюзий. Я ограничусь одним — из моих собственных воспоминаний. Я лежал на койке парохода, прислушиваясь к тому, что делали матросы на палубе, как вдруг, повернув глаза к окну, совершенно отчетливо увидел главного машиниста: он вошел в мою каюту, стал у окна и смотрит через него на часовых. Пораженный его внезапным появлением в моей каюте, я начал наблюдать за ним и удивился тому, как долго он остается неподвижным в одном и том же положении. Наконец я заговорил с ним и, не получив ответа, приподнялся на койке; тогда только я заметил, что принимал за машиниста мою шапку и сюртук, повешенные на гвоздь около окна. Иллюзия была совершенно полная: машинист имел своеобразную внешность, эта внешность сохранилась для меня и в иллюзии, но, когда иллюзия была обнаружена, восстановить ее оказалось почти невозможно.

Апперцепция. В Германии со времен Гербарта в психологии отводится значительное место процессу, называемому апперцепцией. Воспринимаемые нами извне идеи или ощущения апперципируют при посредстве массы идей, уже имеющихся предварительно в сознании. Очевидно, что с такой точки зрения процесс, описанный нами в качестве восприятия, есть процесс апперцептивный. Таково всякое узнавание, классифицирование, наименование объектов опыта. Сверх непосредственных восприятий все дальнейшие наши психические процессы по поводу восприятий суть также апперцептивные процессы. Я не пользуюсь словом «апперцепция», так как с ним в истории философии связаны весьма различные значения, и если несколько расширить гербартовское значение этого слова, то под понятие апперцепции подойдут и «психическая реакция», и «истолкование ощущений», и «концепция», и «ассимиляция», и «переработка психических впечатлений», и, наконец, просто «мышление».

Впрочем, анализировать так называемые апперцептивные процессы, выходящие из рамок непосредственного восприятия, едва ли стоит, ибо такие процессы встречаются в нашей психической жизни в бесконечном разнообразии. Слово «апперцепция» может служить названием для совокупности всех психических факторов, названных нами ассоциациями, и легко видеть, что данный объект опыта вызовет в нас то или другое представление в зависимости от обладаемых нами в данную минуту «психостатических условий» (выражение Льюиса), иначе говоря, от нашего характера, привычек, памяти, воспитания, предшествующего опыта и настроения в данную минуту — словом, от всей нашей природы и психического склада. Мы ничего не выиграем в полноте психологических знаний, если будем называть всю совокупность этих психических факторов апперципирующей массой, хотя в известных ситуациях, конечно, такое название удобно. Я склонен думать, что это название лучше было бы заменить термином Льюиса «ассимиляция», как наиболее подходящим в данном случае.

Апперципирующая масса рассматривается немецкими психологами как активный фактор, апперципируемое ощущение — как пассивный, подвергающийся обыкновенно модификации со стороны первого фактора. Наше познание складывается из взаимодействия того и другого факторов, но, согласно замечанию Штейнталя, апперципирующая масса сама нередко видоизменяется под влиянием ощущения. Вот что он говорит по этому поводу: «Хотя апперципирующая масса более

сильный фактор в познании, однако можно также встретить и такие процессы апперцепции, где новое впечатление значительно видоизменяет или обогащает апперципирующую группу идей. Ребенок, никогда не выдавший никаких столов, кроме четырехугольных, видит в первый раз круглый стол — и его апперципирующая масса («стол») тотчас обогатилась. К его прежним сведениям о столе присоединяется новая черта: столы не должны быть непременно четырехугольными — они могут быть круглыми. В истории науки нередко случалось, что известное открытие, будучи раз апперципировано, т. е. поставлено в связь со всей системой нашего знания, модифицировало всю систему. Впрочем, принципиально мы должны придерживаться следующего правила: хотя оба фактора познания могут быть и активны, и пассивны, преобладающая активная роль принадлежит апперципирующей массе». («Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft»).

Гений и рутина привычного мышления. Замечание Штейнталя вполне выясняет глубокое различие между психологическими концептами и тем, что мы называем концептами в логике. В логике понятие неизменно, но то, что мы называем «понятиями о вещах» в обыденном смысле слова, изменяется при употреблении. Наука поставила себе цель добиться такой адекватности и точности понятий, при которой нам нет надобности более изменять их. В наших умах идет постоянная борьба за их обновление. Наше воспитание есть непрестанный компромисс между консервативным и прогрессивным факторами. Каждый новый опыт должен быть отнесен нами под известную рубрику, обнимающую некоторую группу впечатлений из минувшего опыта. Вся задача при этом заключается в подыскании такой рубрики, которая нуждалась бы в наименьшей модификации для того, чтобы под нее можно было подвести новый факт.

Некоторые жители Полинезии, впервые увидев лошадей, стали называть их свиньями, так как рубрика «свиньи» была в их языке наиболее подходящей для никогда не виданного животного — лошади. Мой двухгодовалый сын играл целую неделю с апельсином, который увидел в первый раз, называя его мячиком. Его кормили яйцами всмятку, которые подавались ему без скорлупы в жидком виде, вылитые в стакан; когда ребенок увидел впервые цельное яйцо, он назвал его картошкой, так как раньше он видел и ел картофель без кожуры и знал его название. Складной карманный пробочник мальчик не колеблясь назвал «дурные ножницы».

Немногие из нас могут с легкостью образовывать новые рубрики и подводить под них новые впечатления опыта. Большинство все более и более поработаются привычным запасом концептов и все более и более теряют способность ассимилировать новые впечатления в непривычных комбинациях. Короче говоря, рутина привычного мышления составляет для каждого из нас в известный момент жизни предел «его же не преjdeши». Явления, идущие вразрез с установившимся, привычным способом апперцепции, просто-напросто не принимаются в расчет — игнорируются нами; или в тех случаях, когда мы вынуждены признать их существование, через сутки признанные нами факты снова как бы исчезают для нас, и малейшие следы неассимилированных фактов совершенно улетучиваются из нашего сознания. В сущности гениальность заключается почти только в способности воспринимать объекты не совсем обычным, не рутинным путем.

В то же время с детства и до конца жизни ничего не может быть приятнее умения ассимилировать новое со старым, встречать всякое новое явление, дерзко нарушающее установившиеся в нашем уме группы концептов, разоблачать его загадочность и заносить его в старые, давно установленные группы, в область знакомых явлений. Победоносное ассимилирование нового со старым есть, в сущности, типичная черта всякого интеллектуального удовольствия. Жажда подобного ассимилирования составляет научную любознательность. Отношение нового к старому, пока не совершилась ассимиляция, выражается в удивлении. Мы не питаем любопытства и не испытываем удивления по отношению к вещам, настолько превышающим доступное нам познание, что мы не имеем концептов, под которые могли бы подвести их, и мерок, при помощи которых могли бы наглядным образом их измерить.

Фиджийцы, как рассказывает Дарвин, удивлялись при виде маленьких лодок, большие же корабли не вызывали у них удивления. Только то, что нам хоть отчасти знакомо, возбуждает у нас жажду

дальнейшего знания. Сложнейшие по устройству ткацкие фабрики, обширнейшие металлические сооружения для большинства из нас, так же как вода, воздух или земля, просто-напросто представляют собой обыденные явления, не вызывающие в нас никаких идей. Нет ничего удивительного, что выгравированная на медной пластинке надпись красива. Но если нам покажут рисунок пером такого же достоинства, это невольно вызовет в нас удивление искусством художника. Одна старая дама, с восхищением рассматривая картину академика, спросила его: «Неужели вы это сделали рукой?»

Физиологический процесс, обуславливающий восприятие. Мы уже достаточно подробно рассмотрели восприятие и можем дать общую формулировку его закона: в то время как часть объекта восприятия проникает в наше сознание посредством органов чувств от внешнего объекта, другая часть (и она может быть наибольшей) проникает изнутри, из недр нашего сознания. В сущности, это простое констатирование того, что нервные центры суть органы, реагирующие на чувственные впечатления, и что, в частности, полушария наши предназначены для того, чтобы воспоминания о минувшем опыте могли участвовать в этой реакции. Конечно, такая общая формулировка туманна. Если мы попытаемся придать ей точное значение, то всегда естественнее всего будет предположить, что мозг реагирует по путям, которые проложены впечатлениями предшествующего опыта и при возбуждении которых мы получаем вероятное восприятие, восприятие того, что прежде чаще всего вызывало аналогичную реакцию. Реакция полушарий выражается в возбуждении некоторых групп нервных путей токами, вызываемыми впечатлениями внешнего мира. Психологически этому физиологическому процессу соответствует своеобразный импульс, именно мысли о наиболее вероятном объекте восприятия. Далее в анализе этого процесса мы едва ли можем идти.

Галлюцинации. Мы видели, что между нормальным восприятием и иллюзией нет резкого различия, так как психофизиологические процессы, связанные с тем или другим явлением, тождественны.

Последние виды иллюзий, описанные нами, почти могут быть названы галлюцинациями. Рассмотрим теперь этот вид ложных восприятий. Обыкновенно различие между галлюцинацией и иллюзией мы усматриваем в том, что иллюзия порождается некоторым внешним объектом, при галлюцинации же всякий объективный стимул отсутствует. Мы сейчас увидим, что те ученые, которые отвергают наличие объективных стимулов при галлюцинации, ошибаются и что галлюцинации нередко бывают только крайним проявлением обыкновенного процесса восприятия, когда вторичная мозговая реакция ненормально перевешивает периферический стимул, вызывающий деятельность мозговых центров. Галлюцинации, как правило, появляются внезапно и не зависят от нашего произвола. Они обладают весьма различными степенями объективной реальности. В этом отношении я должен предостеречь читателя от весьма распространенной неверной точки зрения: обыкновенно в галлюцинации видят образ, ошибочно проектируемый человеком вовне. Но полная галлюцинация есть нечто гораздо большее, чем образ, спроектированный в пространство. С субъективной точки зрения галлюцинация есть ощущение столь же живое и столь же реальное, как и то, которое мы воспринимаем при наличии вне нас реального объекта. Вся разница лишь в том, что в одном случае воспринимаемый объект имеется, а в другом случае его нет.

Более слабые степени галлюцинации называются псевдогаллюцинациями. Определенное различие между теми и другими было сделано всего несколько лет назад. Псевдогаллюцинации отличаются от обычных продуктов памяти и воображения большей живостью, тонкостью, детальностью, устойчивостью, немотивированностью и самопроизвольностью в том смысле, что при всех усилиях нашей душевной деятельности мы не в состоянии вызвать псевдогаллюцинации по собственному желанию. У Кандинского был больной, который после приема опиума или гашиша имел обильные псевдогаллюцинации. Так как этот больной обладал в то же время большой силой зрительного воспроизведения и был образованным врачом, то он легко мог сравнивать все три психических явления. Псевдогаллюцинации, хотя и проектируются вовне (обыкновенно не далее предельного отчетливейшего зрения, на расстоянии примерно фута от глаз), не имеют того характера объективной реальности, которым обладают галлюцинации, но в то же время отличаются от образов зрительного

воспроизведения почти полной невозможностью вызывать их по желанию. В огромном большинстве случаев «голоса», слышимые некоторыми лицами, суть псевдогаллюцинации независимо от того, вводят они в заблуждение данное лицо или нет. Эти звуки описываются людьми, которые их слышат, как «внутренний голос», хотя подобный голос отличается от так называемой мысленной речи самого субъекта. Я знаю многих лиц, которые, спокойно и внимательно прислушиваясь к «внутреннему голосу», слышат совершенно непредвиденные замечания. Указанные душевные состояния — обычное явление при умопомешательстве, они могут разрастись до живой и вполне объективированной галлюцинации; последняя как спорадическое явление довольно обыкновенна, а у некоторых индивидов бывает часто. Статистические сведения о галлюцинациях, собранные Гэрнеем, привели к следующим результатам: примерно на каждые десять человек хоть один раз в жизни имел очень яркую галлюцинацию. Следующий рассказ здоровой женщины может дать понятие о том, что такое галлюцинация: «Когда я была еще 18-летней девушкой, однажды вечером крупно поспорила с человеком значительно старше меня. В порыве раздражения я машинально взяла толстую костяную вязальную иглу, лежавшую на камине, и изломала ее во время разговора на мелкие кусочки. В разгаре спора мне очень захотелось узнать мнение моего брата, с которым я была дружна. Я обернулась и увидела его сидящим у противоположного конца стола с руками, скрещенными на груди (что было мало свойственной ему позой): к великому моему смущению, я заметила на его губах саркастическую усмешку, которая свидетельствовала о том, что он не сочувствует мне, о том, что он, как я бы сказала тогда, «не за меня». Удивление охладило мой пыл — и спор прекратился. Через несколько минут, желая заговорить с братом, я обернулась к нему, но не увидела его. Я спросила присутствующих, когда он вышел из комнаты; мне сказали, что его вовсе здесь не было; я не поверила, думая, что он вошел в комнату на минуту и вышел из нее, не будучи никем, кроме меня, замечен. Часа через полтора он вернулся домой и не без труда убедил меня, что целый вечер находился вдали от дома».

Галлюцинации при горячечном бреде представляют смесь псевдогаллюцинаций, настоящих галлюцинаций и иллюзий. В этом отношении они сходны с галлюцинациями, вызванными опиумом, гашишем или белладонной. Самая обыкновенная галлюцинация заключается в том, что вы слышите, как вас кто-то называет по имени. Почти половина спорадических случаев, собранных мной, относится к этому типу.

Галлюцинация и иллюзия. Галлюцинации легко вызываются словесным внушением у лиц, подверженных гипнозу. Покажите такому человеку пятно на листе бумаги и скажите, что это фотографический портрет генерала Гранта, и испытуемый увидит на месте пятна фотографию. Пятно придает объективный характер образу, а внушенное понятие о генерале сообщает пятну определенную форму. Заставьте испытуемого рассматривать пятно сквозь увеличительное стекло; удвойте изображение пятна при помощи призмы или надавливая на глазное яблоко, отразите пятно в зеркале, переверните вверх ногами, наконец, сотрите его, и пациент скажет, что «портрет» увеличился в размерах, удвоился, отразился в зеркале, был перевернут и, наконец, исчез. Согласно психологической терминологии Бинэ, пятно на бумаге есть внешнее *point de repere* (опорная точка), которое необходимо для того, чтобы придать внушенному образу характер объективной реальности, и без которого испытуемый получит только мысленный образ предмета. Бинэ показал, что подобные периферические *points de repere* играют роль в огромном количестве не только гипнотических галлюцинаций, но и галлюцинаций душевнобольных. У последних галлюцинации бывают нередко односторонними, т. е. пациент слышит «голоса» только с одной стороны или видит какую-нибудь фигуру, только когда один его глаз открыт.

В подобных случаях весьма часто удавалось вполне точно доказать, что болезненный процесс во внутреннем ухе или помутнение преломляющих свет жидкостей в глазу были начальным стимулом для того нервного тока, который, проникнув в пораженные слуховые или зрительные центры, вызвал своеобразные психические явления в виде известных идей. Галлюцинации, полученные таким путем, суть иллюзии, и теория Бинэ, утверждающего, что всякая галлюцинация имеет первоначальным стимулом периферическое раздражение, может быть названа попыткой свести галлюцинации и

иллюзии к общему типу, именно к тому, к которому принадлежит нормальное восприятие. Согласно Бинэ, и в восприятии, и в галлюцинации, и в иллюзии мы получаем отличающееся большой живостью ощущение при посредстве тока, идущего от периферических нервов. Ток может быть крайне слаб, но все-таки может оказаться достаточно сильным, чтобы возбудить максимальный процесс дезинтеграции в нервных клетках (см. главу XIX) и придать воспринимаемому объекту характер вонне существующей реальности. Природа воспринимаемого объекта всецело обусловлена системой возбужденных нервных путей. Во всяком случае известная сторона объекта создается под влиянием органа чувств, остальное конструируется возбуждением центральных частей. Но путем самонаблюдения мы не можем вскрыть, что именно в воспринимаемом объекте периферического и что центрального происхождения, и характеризуем этот объект просто как результат реакции мозга на внешнее раздражение, не разлагая этот результат на составляющие элементы.

Теория Бинэ дает объяснение огромного количества случаев, но, конечно, не всех. Призма не всегда удваивает призрачный образ, и последний не всегда исчезает при закрывании глаз. С точки зрения Бинэ, ненормально, сильно возбужденная часть мозговой коры порождает природу возникающего перед сознанием объекта, а периферический орган чувств сам по себе может сообщить образу достаточно сильную интенсивность, благодаря которой образ кажется спроектированным в реальное пространство. Но ведь интенсивность есть только известная степень напряжения ощущения. Почему же, спрашивается, в исключительных случаях эта степень напряжения не может быть вызвана причинами только центрального происхождения? Тогда мы имели бы известные галлюцинации, вызываемые центральным возбуждением, наряду с галлюцинациями, получаемыми посредством периферического возбуждения, которые только и допускаются, согласно теории Бинэ. Но, вообще говоря, не лишено вероятия, что галлюцинации чисто центрального происхождения действительно существуют. Другой вопрос, как часто они встречаются. Существование галлюцинаций, поражающих сразу несколько органов чувств, уже служит доводом в пользу нашего соображения. Ибо если мы допустим, что образ человека, видимый нами в галлюцинации, имеет для себя *point de repere* во внешнем мире, то голос этого человека, слышимый нами, должен иметь своим источником центральное возбуждение.

Спорадические случаи галлюцинации, испытываемой раз в жизни (случаи, по-видимому, весьма обыкновенные), трудно вполне уяснить при помощи какой бы то ни было из существующих теорий. Нередко эти галлюцинации бывают весьма сложны, и тот факт, что многие из них подтвердились в опыте (т. е. галлюцинаторные явления совпали с реальными событиями, каковы несчастья, смерть и т. д., которые постигали лиц, увиденных в галлюцинации), дополнительно осложняет это явление. Первое строго научное исследование явлений галлюцинации во всех возможных ее видах, исследование, опирающееся на массу эмпирических данных, было предпринято Гэрнеем и продолжается другими членами Общества психологических изысканий (Society for Psychical Research), и статистические материалы собираются теперь в различных странах под руководством Международного конгресса экспериментальной психологии. Можно надеяться, что дружные усилия многих научных исследователей приведут к прочным решительным выводам. В настоящее время собираемые факты пытаются истолковать при помощи моторного автоматизма, транса и т. д., но более поучительные результаты получатся лишь при широком сравнительном изучении этих явлений.

Глава XXI

Восприятие пространства

Мы, взрослые люди, познаем, по-видимому, мгновенно и вполне определенно величину и размеры предметов, среди которых живем и двигаемся, и расстояния между ними; сверх того, мы имеем довольно определенное понятие о целом, необъятном и непрерывном реальном пространстве, в котором находятся наш мир и все познаваемые нами предметы. Тем не менее несомненно, что мир ребенка представляется ему в этих отношениях очень неясным. Как же выросло у нас определенное

представление о пространстве? Вот один из спорных вопросов психологии. Настоящая глава по необходимости должна быть коротка, ввиду чего я не буду вдаваться в полемику по этому вопросу и не представляю здесь исторического обзора учений о происхождении идеи пространства, ограничившись догматическим изложением тех выводов, которые мне кажутся наиболее правильными.

Протяженность есть свойство, которым обладают наряду с интенсивностью все ощущения. Раскаты грома и шум бури мы называем более объемистыми, чем скрип грифеля об аспидную доску; погружение нашего тела в теплую ванну дает более массивное ощущение, чем укол булавкой. Слабая невралгическая боль в лице, легкая, как паутина, кажется менее массивной, чем мучительно тяжкое ощущение ожога или сильная боль в виде колик или люмбаго на большом участке тела; одинокая звезда кажется меньше полуденного неба. Мышечные ощущения и ощущения, связанные с функциями полукружных каналов, имеют объем; не лишены его вкусы и запахи, а органические ощущения обладают им в довольно значительной степени.

Чувства переполнения и пустоты, одышки, трепета, головной боли наряду с общим осознанием протяженности нашего тела при тошноте, жаре, тяжелом чувстве сонливости и усталости служат примерами массивных ощущений. В таких случаях общий объем нашего тела начинает сознаваться значительно яснее и сильнее по сравнению с местными ощущениями толчков, давления и неудобства. Во всяком случае кожа и сетчатка суть органы, в которых пространственные элементы играют наиболее активную роль. Не только с помощью сетчатки мы воспринимаем большие объемы пространства, чем с помощью других органов чувств. Та чрезвычайная тонкость, с которой наше внимание может подразделять объем зрительных впечатлений и сознавать в нем друг подле друга сосуществующие части, не имеет себе ничего подобного. Ухо обладает способностью к подразделению этих объемов на части. Сверх того, объем ощущений для уха одинаков во всех направлениях. Измерения пространства в слуховых ощущениях сознаются так неясно, что здесь не может быть и речи о противополжности «поверхности» и «глубины»; всего лучше обозначить эти ощущения неопределенно-объемными.

Ощущения различных порядков можно грубо сравнивать между собой в отношении их «объемности». Слепорожденные, прозревшие, удивляются величине воспринимаемых предметов, которые кажутся им, вопреки ожиданию, слишком большими. Франц рассказывает о пациенте, которого он вылечил от катаракты и которому все казалось гораздо большим по сравнению с понятиями, составленными им о величине предметов на основе одного лишь чувства осязания. Движущиеся предметы, особенно одушевленные существа, казались ему необыкновенно большими. Громкие звуки вызывают в нас ощущение чего-то огромного. Блестящие тела, по словам Геринга, вызывают у нас восприятие предметов с большим объемом (Raumhaft), нежели тела неблестящей окраски. <...> Полость рта кажется большей при ощупывании ее языком, чем на глаз. Дупло, образовавшееся во рту после удаления зуба, и движения расшатанного зуба кажутся неестественно значительными. Попавшая в ухо мошка, жужжа возле барабанной перепонки, может показаться величиной с бабочку. Давление воздуха на перепонку барабанной полости уха вызывает удивительно сильное впечатление. Объемность ощущения, по-видимому, имеет очень мало отношения к размерам органа чувств, при посредстве которого оно возникает. Ухо и глаз — сравнительно малые органы, а между тем они дают ощущения с наибольшим объемом. То же несоответствие между объемом ощущений и размерами частей органа наблюдается в границах отдельных органов чувств. Предмет кажется меньше на боковых частях сетчатки, чем на желтом пятне. Это легко проверить, держа параллельно указательные пальцы перед глазом на расстоянии двух вершков и перенося взор с одного на другой; тогда палец, видимый боковым зрением, покажется более тонким. Если мы возьмем две точки, например ножки циркуля или острые концы ножниц, и, сохраняя неизменным расстояние между ними, будем проводить по коже две параллельные линии, то в некоторых частях пути линии будут казаться отстоящими далее, чем на самом деле. Если, например, мы проведем циркулем или ножницами поперек лица испытуемого, то субъекту будет казаться, что в средних частях пути ножки инструмента расходятся и

описывают своим движением правильный незамкнутый эллипс (рис. 17).

Рис. 17

Из только что сказанного вытекает прежде всего следующее: протяжение, различаемое во всяком ощущении (хотя в одних более развитое, чем в других), есть первичное ощущение протяженности, из которого все последующее точное познание пространственных отношений складывается при помощи процессов ассоциации, различения и подбора.

Построение реального пространства. Хотя для новорожденного, начинающего познавать внешний мир при помощи органов чувств, опыт обладает характером протяженности, однако пространственные отношения познаются им без отчетливого различения отдельных частей, направлений, размеров и расстояний. Потенциально комната, в которой находится новорожденный, может быть подразделена им на множество частей, неподвижных и двигающихся, и в каждый данный момент эти части находятся в известных отношениях друг к другу и к самому ребенку. Потенциально комната эта может помещаться ребенком в пространстве большего объема путем присоединения к ее объему частей пространства, составляющих остальной внешний мир. Но на самом деле части пространства, выходящие за пределы комнаты, и пространственные подразделения внутри комнаты не осознаются ребенком, и главный элемент его воспитания в течение первого года состоит в подробном ознакомлении с пространственными отношениями, в распознавании в них различий, в отождествлении сходного. Этот процесс может быть назван построением реального пространства как вновь воспринимаемого объекта, складывающегося из первичных хаотических впечатлений объемности. Построение (конструирование) включает в себе ряд подчиненных друг другу процессов: 1) цельный объект зрения и осязания должен быть расчленен на меньшие объекты, различаемые в нём вполне определенным образом; 2) видимые или пробуемые на вкус объекты должны отождествляться с объектами осязаемыми, слышимыми и т. д. и наоборот, так что та же «вещь» должна познаваться ребенком как таковая, хотя он в отдельных случаях будет познавать ее весьма различными путями; 3) непосредственно познаваемый в данную минуту объем пространства должен стать в глазах ребенка определенно локализованной частью внутри окружающих объемов пространства, в которые заключен наш мир; 4) все объекты должны для ребенка располагаться в известном порядке по отношению друг к другу по трем так называемым измерениям; 5) ребенок должен научиться различать относительные размеры предметов, другими словами, измерять их.

Рассмотрим эти процессы по порядку.

1. Подразделение или различение. Здесь мне остается немного прибавить к тому, что было сказано в главе XIV. Движущиеся, острые, ярко освещенные куски всего поля восприятия привлекают внимание и тогда различаются как особые объекты, окруженные остальной частью зрительного или осязательного поля. То обстоятельство, что эти объекты, будучи раз выделены из окружающей области впечатлений, сохраняют свою обособленность от окружающего, останется всегда первичным фактом нашей чувственной восприимчивости, не поддающимся никакому дальнейшему объяснению. Впоследствии, после того как отдельные предметы один за другим выделялись из общего хаоса впечатлений и сделались привычными, внимание ребенка может направляться на несколько предметов одновременно. Он может тогда видеть и осязать сразу несколько предметов, находящихся один подле другого среди поля восприятия. Это осознание «сосуществования предметов друг подле друга» сначала очень неясно и может не заключать в себе различения определенных направлений и расстояний — и его также следует принять за нечто первично-данное в нашей чувственной восприимчивости.

2. Объединение различных видов ощущений в одну вещь. Когда два ощущения сознаются одновременно, мы стремимся объединять вызывающие их причины в понятие одной и той же вещи. Когда кондуктор электрической машины близко поднесен к нашей коже, то искра, блеск, которые мы

видим, треск, который слышим, и укол, который осязаем, локализуются в том же месте и рассматриваются как различные стороны одного и того же явления — электрического разряда. Пространства, занимаемые видимым, слышимым и осязаемым объектами, сливаются в нашем представлении в одно пространство благодаря основному закону нашего сознания, закону, согласно которому мы упрощаем, объединяем и отождествляем воспринимаемые впечатления, насколько это возможно. Всякое чувственное впечатление, воспринимаемое вместе с другим, локализуется нами в том же месте. Места, занимаемые первым и вторым, сливаются для нас в одно место, занимаемое обоими впечатлениями. Место, в котором возникает одно, впоследствии кажется в то же время и местом нахождения другого. Таков первый чрезвычайно важный акт, при помощи которого познаваемые нами мировые явления распределяются в известном пространственном порядке. При этом слиянии разнородных ощущений в один образ вещи одно из объединяемых ощущений принимается нами за вещь, остальные же рассматриваются нами как более или менее случайные свойства или способы проявления. Обыкновенно за коренное свойство вещи принимается то ощущение, которое отличается наибольшей устойчивостью и имеет наибольшее практическое значение по сравнению с остальными: таким бывает по большей части ощущение твердости или тяжести. Но тяжесть и твердость всегда бывают связаны с осязанием некоторого объема; мы всегда, имея возможность «видеть» осязаемое нашей рукой, сравниваем величины осязаемого и видимого, после чего образовавшееся в нашем уме общее представление об объеме данной вещи может также стать признаком, характеризующим ее сущность: нередко такую роль играет размер вещи, ее температура, вкус и т. д. Но по большей части температура, запах, звук, цвет и любые другие впечатления, сознаваемые нами в связи с известным видимым или осязаемым объемом, считаются в числе атрибутов данной вещи.

Правда, мы испытываем вкусовые и обонятельные ощущения, не видя и не осязая никакого предмета, но эти ощущения проявляются с особенной силой, когда связаны со зрительными и осязательными впечатлениями. Поэтому мы приписываем источник таких свойств соответствующим пространственным восприятиям, а сами свойства рассматриваем как нечто рассеянное в более утонченном виде в пространстве, занимаемом отдельными предметами. Во всех этих явлениях чувственные впечатления, места которых в пространстве сливаются в представление одного общего места, доставляются различными органами чувств. Такие чувственные данные не стремятся вытеснить одно другое из области сознания, но могут сознаться все сразу. Нередко изменяется их общая интенсивность, достигая известного максимума. Таким образом, мы смело можем признать законом нашего сознания тот факт, что мы локализуем одно в другом те существующие в опыте впечатления, восприятия которых не препятствуют взаимно друг другу.

3. Сознание окружающего мира. Различные впечатления, воспринимаемые тем же органом чувств, взаимно препятствуют образованию соответствующих восприятий и не могут быть одновременно отчетливо осознаны. Вследствие этого мы не локализуем их в одном и том же месте, но располагаем в известном пространственном порядке одно подле другого в объеме, большем по сравнению с объемом, занимаемым каждым ощущением в отдельности. Мы обыкновенно улавливаем предмет, потерянный из виду, поворачивая глаза в том направлении, где думаем его найти, и с помощью постоянного передвижения глаз приучаемся рассматривать каждое поле зрения как нечто, связанное с восприятием других доступных зрению объектов во всех возможных направлениях. В то же время движения глаз, в связи с которыми соответственно изменяется поле зрения, также осознаются и запоминаются; и постепенно таким путем (благодаря образованию ассоциаций) то или другое движение глаз начинает вызывать в нашем сознании то или другое представление о новой группе предметов, вводимых нами в поле зрения. Вместе с тем внешние впечатления представляют неопределенное множество разнородных качеств. Отвлекаясь от их разнообразия, мы сосредоточиваем наше внимание на частях пространства, занимаемых ими, и разнородные движения становятся для нас единственными показателями этих частей пространства, вступая с ними в тесные ассоциации. Таким образом, мы все более и более начинаем рассматривать движение и видимое

протяжение как два явления, взаимно обуславливающих друг друга, пока, наконец, не станем их считать просто синонимами; тогда пустое пространство начинает для нас означать просто область для движения. Психолог, отправляясь от этого факта, может легко дойти до ошибочного утверждения, будто мышечное чувство играет главную роль в образовании идеи пространства.

4. Порядок в пространственном расположении предметов. Мышечное чувство имеет большое значение при установлении порядка в расположении видимых, слышимых и осязаемых объектов. Я гляжу на точку, в это время изображение другой точки, появившееся на боковой части сетчатки, привлекает мое внимание, я немедленно направляю на это изображение желтое пятно и заставляю изображение падать последовательно на все промежуточные места сетчатки, описывая на ней линию. Линия, образованная быстрым движением второй точки, представляет сама по себе зрительный образ линии, имеющей конечными пунктами вторую и первую точки. Линия отделяет эти точки одну от другой, они оказываются расположенными по ее длине; таким образом, между ними устанавливается известное расстояние. Если третья точка, находящаяся еще ближе к периферии, привлечет наше внимание, то глаз придет в еще большее движение, и в результате на сетчатке получится продолжение линии: вторая точка теперь очутится между первой и третьей. В каждое мгновение нашей жизни предметы, лежащие на периферии поля зрения, описывают на сетчатке линии между своими изображениями и изображениями других предметов, от которых они отвлекают внимание, вытесняя их из центра поля зрения. Таким путем каждый пункт на периферии сетчатки напоминает о линии, на конце которой он лежит и которая может быть проведена движением глаз; даже неподвижное поле зрения в конце концов начинает означать систему пространственных отношений, установленных постоянной возможностью двигать глазами, проводя линии между центральными и периферическими частями сетчатки.

Тот же процесс происходит на нашей коже и на суставных поверхностях. Двигая рукой по предметам, мы проводим линии, соответствующие направлению движения, и на концах этих линий возникают новые осязательные впечатления. Эти линии проводятся и на коже, и на суставных поверхностях; в обоих случаях проведение их порождает в нас осознание определенного порядка или расположения в тех предметах, между которыми такие линии проводятся. То же следует распространить и на слуховые, и на обонятельные ощущения. При определенном положении головы известные звуки или запахи осознаются наиболее явственно. Уже иной поворот головы делает данный звук или запах слабее, но доводит до максимума другой звук или запах.

Таким образом, два звука или два запаха находятся преимущественно в крайних точках линий движения, причем само движение представляет здесь такое перемещение головы в пространстве, характер которого обусловлен ощущениями, связанными частью с функциями полукружных каналов, частью с движениями шейных позвонков и частью с впечатлениями, получаемыми сетчаткой. При помощи таких актов всякий объект зрения, осязания, обоняния или слуха локализуется более или менее определенным образом по отношению к реальным, находящимся по бокам предметам, или к предметам только возможного опыта. Я говорю «к находящимся по бокам», не желая пока усложнять дела специальными соображениями о так называемом третьем измерении, расстоянии или глубине.

5. Взаимная соизмеримость объектов. С первого взгляда легко увидеть, что мы не можем непосредственно сравнивать точно пространственные отношения, связанные с различными ощущениями. Полость рта при ощупывании ее языком всегда будет казаться больше, чем при осязании пальцем или при рассматривании глазами. Наши губы при осязании всегда кажутся больше, чем равный им по величине участок кожи на бедре; во всех случаях сравнение производится непосредственно, но не дает точных результатов; для достижения последних нужно прибегнуть к иному приему.

Главными приемами при сравнении пространственных отношений, определяемых с помощью двух чувствительных поверхностей, служат наложение одной поверхности на другую и наложение одного внешнего предмета на многие чувствительные поверхности. Две кожные поверхности, наложенные одна на другую, ощущаются одновременно и, согласно психологическому закону, о котором мы

говорили ранее, считаются занимающими то же место в пространстве. Такое же цельное и единичное по занимаемому месту впечатление дает нам видимая и осязаемая нами рука.

При этом отождествлении разнородных ощущений и сведении нескольких к одному общему впечатлению необходимо иметь в виду, что из двух постоянных ощущений, по которым мы определяем размеры двух соприкасающихся поверхностей, одно принимается за истинное показание, а другое — за иллюзию в том случае, когда показания того и другого ощущения противоречат друг другу.

Например, в ямку, образовавшуюся на месте вырванного зуба, невозможно просунуть конец пальца, а при ощупывании языком она кажется такой большой, что конец пальца, по-видимому, легко может поместиться в ней. Да и вообще можно сказать, что рука, будучи почти исключительно органом осязания, при соприкосновении с другими частями кожи имеет решающее значение для определения размеров соприкасающейся с ней кожной поверхностью.

Но даже в случае, когда ощупывание одной поверхности с помощью другой оказалось бы невозможным, мы всегда могли бы измерять чувствительные поверхности, налагая тот же протяженный объект сначала на одну поверхность, потом на другую. Мы могли бы сперва, конечно, подумать, что предмет, с помощью которого мы будем измерять поверхности, во время переноса с одного места на другое увеличился или уменьшился в размерах, но стремление к упрощениям в истолковании мировых явлений вскоре вывело бы нас из затруднения, заставив предположить, что предметы при перемещении не меняют своих размеров, что огромное большинство и других ощущений не дают точных показаний и что с этим обманом чувств надо постоянно считаться. Нет никаких оснований предполагать, что размеры двух пространственных впечатлений (например, линий или пятен), дающих изображения на двух различных частях сетчатки, осознаются первоначально как пространственные величины, находящиеся между собой в каком-нибудь определенном количественном отношении. Но если бы впечатления исходили от того же самого объекта, мы могли бы считать размеры соответствующих им изображений совершенно одинаковыми. Впрочем, последнее возможно только тогда, когда взаимные отношения в положении глаза и предмета остались неизменными. Когда же предмет, передвигаясь, меняет положения по отношению к глазу, то ощущение, вызываемое его изображением даже на той же части сетчатки, делается столь изменчивым, что мы перестаем придавать какое-либо постоянное значение возникающему при этом в каждый момент новому пространственному впечатлению на сетчатке.

Это игнорирование величины ретинального изображения стало у нас столь велико, что нам почти невозможно сравнивать при помощи зрения размеры предметов, находящихся на различных расстояниях, не прибегая к наложению. Мы не можем сказать заранее, какую часть далеко отстоящего дома или дерева закроет наш палец, поставленный перед глазом. Различие ответов на вопрос, как велика Луна (согласно наивной точке зрения, она величиной с каретное колесо или, по мнению других, с почтовую облатку), подтверждает этот факт самым разительным образом. Для начинающего чертежника наиболее трудно развить в себе способность непосредственно оценивать получаемую на сетчатке величину изображений, доставляемых глазу различными предметами в поле зрения. Чтобы достигнуть этой цели, он должен восстановить в себе то, что Рэскин называет невинностью глаза (innocence of the eye), т. е. нечто вроде детской способности воспринимать непосредственно цветовые пятна как таковые, не сознавая, что именно они означают.

У обыкновенного человека эта «невинность» утрачена. Из всех возможных зрительных размеров каждого предмета мы избрали один, который принимаем за истинный, все остальные рассматриваем лишь как указания на истинный размер. Эта реальная, истинная величина предмета определяется нашими эстетическими и практическими интересами. Мы считаем истинной ту величину, какую данный предмет имеет на расстоянии, с которого всего удобнее рассматривать его и различать в нем детали. Это — расстояние, на котором мы держим все, что хотим хорошенько рассмотреть. На более далеком расстоянии предмет оказывается слишком малым для детального рассмотрения, на более близком — слишком великим. Оба зрительных впечатления, слишком большое и слишком малое, игнорируются, вызывая в нас представление соответствующего им наиболее важного по значению

образа. Смотря вдоль обеденного стола, я игнорирую тот факт, что тарелки и стаканы на противоположном конце кажутся значительно меньшими, чем находящиеся подле меня, ибо я знаю: все они одинаковы по величине. Непосредственное ощущение, воспринимаемое от них, стусевывается, теряет значение перед тем знанием, которым я обладаю лишь в воображаемой форме. То, что касается величины, распространяется в данном случае и на форму предметов. Почти все видимые формы предметов представляют то, что мы называем перспективным искажением. Прямоугольные крышки столов обыкновенно кажутся нам имеющими два тупых и два острых угла; круги, нарисованные на коврах, обоях и листах бумаги, воспринимаются как эллипсы, параллельные линии кажутся сходящимися, человеческие тела — укороченными, и переходы от одной из этих изменчивых форм к другой бесконечны и непрерывны. Но среди них одной форме мы отдаем предпочтение, это та форма, которую имеет данный предмет в положении, наиболее выгодном для детального рассмотрения, т. е. когда наши глаза и предмет находятся по отношению друг к другу в так называемом нормальном положении. В этом положении голова наша держится прямо, а зрительные оси параллельны одна другой или симметрично конвергируют; плоскость предмета перпендикулярна плоскости зрения; если на плоскости предмета много параллельных линий, то она расположена так, чтобы линии были по возможности или параллельны, или перпендикулярны плоскости зрения. В этом положении мы сравниваем между собой все формы предметов, производим над ними точные измерения, имеющие для нас решающее, окончательное значение.

Огромное большинство ощущений служит лишь указанием на наличность других ощущений, которые считаются связанными с более реальными пространственными отношениями. Какое бы зрительное впечатление мы ни получили от предмета, мы всегда думаем о нем так, как будто он находился перед нашими глазами в нормальном положении. Только представляя предмет как бы в нормальном положении, мы верим, что видим его таким, каким он есть, в противном случае говорим, что нам он только кажется таким. Впрочем, опыт и привычка вскоре научают нас, что кажущаяся видимость рядом непрерывных градаций переходит в действительность. Кроме того, они убеждают нас в том, что кажущееся и действительное могут сменять друг друга самым причудливым образом. То настоящий круг может в известном положении превратиться в мнимый эллипс, то настоящий эллипс таким же путем превратится в мнимый круг, то прямоугольный крест принимает вид косоугольного, то косоугольный — вид прямоугольного.

Почти всякая форма при непрямом зрении может, таким образом, рассматриваться как производная от соответствующей формы при зрении в нормальном положении; и мы должны научиться подыскивать для всякой формы первого класса подходящую форму второго класса: мы должны определить, какой зрительной реальности соответствует данный зрительный знак. Научаясь этому, мы только выполняем закон экономии или упрощения, закон, который господствует во всей нашей психической жизни, когда мы думаем исключительно об одной «реальности» и стараемся во возможности игнорировать имеющийся в нашем сознании «знак», по которому мы узнаем ее. Ввиду того что «знаки» для каждой вероятно-реальной вещи многочисленны, а вещь одна и устойчива, мы, игнорируя первые и сосредоточивая внимание на второй, приобретаем ту же выгоду, какая получается для наших психических актов, когда мы игнорируем текущие, изменчивые образы, заменяя их связанными с ними точными и неизменными названиями. Выбор многочисленных «нормальных видимостей» из хаоса наших зрительных впечатлений для того, чтобы они служили нам при нашем мышлении прообразами реальных вещей, представляет некоторую аналогию с привычкой думать словами; аналогия эта в том, что в обоих случаях мы заменяем в мышлении многочисленные и изменчивые термины немногочисленными и неизменными.

Если зрительное ощущение может, таким образом, быть знаком, напоминающим о другом ощущении того же органа чувств, то еще с большим правом ощущения, принадлежащие одному органу чувств, могут быть показателем ощущений другого. По запаху или вкусу мы заключаем, что возле нас находится склянка одеколона, блюдо земляники или кусок сыру, которые могут быть видимы. Объекты зрения внушают мысль о наличности объектов осязания и наоборот. При всех этих напоминаниях

одного ощущения о другом и заменах одного ощущения другим только один закон неизменно сохраняет значение, а именно: мы обыкновенно принимаем наиболее интересное для нас ощущение в данной вещи за наиболее истинное выражение ее природы. Здесь мы снова встречаем один из случаев избирательной душевной деятельности, о которой говорили в главе XI.

Третье измерение или расстояние. Эта роль ощущений как простых знаков, которые игнорируются нами, когда вызывают в нашем сознании мысль о наличии «означаемых» ими ощущений, была впервые подмечена Беркли в его «Опыте новой теории зрения» (1700). Он особенно настаивал на том, что «знаки» эти не были естественными знаками, но были свойствами объекта, которые просто ассоциировались путем опыта с другими, более постоянными внешними свойствами объекта, и напоминали нам о них. Осязательное ощущение и зрительное впечатление, получаемые от данного объекта, не имеют ничего общего между собой, и если я думаю о первом, воспринимая второе, или о втором, воспринимая первое, то это зависит только от того факта, что мне случалось раньше очень часто испытывать оба ощущения одновременно. Например, когда мы открываем глаза, мы видим, как далеко находится предмет. Но это чувство расстояния, согласно Беркли, никоим образом не может быть ретинальным ощущением, ибо точка в пространстве запечатлевается на сетчатке (ретине) только в виде пятна, которое проектируется «на дне глаза», и это пятно одинаково для всех расстояний. Расстояние от глаз, с точки зрения Беркли, вовсе не зрительное, а осязательное ощущение, с которым у нас связаны различного рода зрительные знаки, например кажущаяся величина образа, его «бледность» или «неясность» и степень аккомодации и конвергенций. Называя расстояние осязательным ощущением, Беркли хочет сказать, что наше понятие о расстоянии заключается в представлении степени мышечного напряжения в руках или ногах, необходимого для того, чтобы мы могли прикоснуться к данному предмету. Многие психологи соглашались с Беркли в том, что существа, не способные приводить в движение глаза и конечности, не имели бы никакого понятия о расстоянии или третьем измерении.

Такой взгляд мне кажется неосновательным. Ему, безусловно, противоречит тот неотразимый факт, что все наши ощущения обладают известной объемностью и что первоначальное поле зрения (как бы несовершенно мы ни определяли в нем расстояния между предметами) не может представлять нечто плоское, как единодушно утверждают сторонники Беркли. Взгляду Беркли противоречит также другой неотразимый факт: восприятие расстояния представляет собой настоящее зрительное ощущение, хотя бы я и не был в состоянии указать какой-либо физиологический процесс в органе зрения, различные степени которого известным закономерным путем соответствовали бы изменениям в чувстве расстояния. Последнее вызывается в нас всеми зрительными «знаками», о которых говорил Беркли, и, сверх того, некоторыми другими, каковы, например, бинокулярное несовпадение Уитстона и параллакс, образующийся при легком движении головы. Явления эти, возникая в нас, кажутся зрительными ощущениями, а не чем-то специфически отличающимся от двух других измерений зрительного поля.

Взаимная равнозначность третьего измерения с первым и вторым (верх и низ, правая и левая стороны) в нашем зрительном поле легко может быть установлена без помощи чувства осязания. Существо, состоящее из одного глазного яблока и в то же время одаренное нашими умственными способностями, созерцало бы точно такой же трехмерный мир, как и мы. Ибо те же видимые таким существом предметы, покрывая при передвижении то одни, то другие части сетчатки, установили бы взаимную равнозначность первых двух измерений в зрительном поле, а вызывая физиологические процессы, обуславливающие различные степени чувства глубины, они установили бы шкалу соответствующей равнозначности первых двух измерений с третьим.

Прежде всего, согласно установленным принципам, одно из зрительных впечатлений, получаемых от предмета, принимается за «истинное» изображение размеров. Это ощущение является знаком, что данная вещь налицо, а вещь уже послужит мерилем для всех остальных впечатлений, и зрительные ощущения на периферических частях сетчатки сравниваются по своему объективному значению с ощущениями, получаемыми от того же предмета на центральных частях. Этот факт не требует никаких

разъяснений в том случае, когда расстояние предмета от глаз не изменяется и передняя часть его остается в том же положении. Но может быть и более сложный случай: например, предположим, что объект зрения — палка, видимая сначала во всю ее длину, а затем приведенная во вращение (перпендикулярно плоскости поля зрения) около одного из своих концов и этот неподвижный конец — ближайший к нашему глазу. Тогда при движении палки ее изображение станет постепенно все более и более укорачиваться, ее дальний конец будет казаться все менее отдаленным от ближайшего неподвижного конца и, наконец, появившись с противоположной стороны, снова начнет отдаляться, пока изображение палки не возвратится к первоначальному размеру.

Предположим, что описанное движение палки стало для нас привычным; в таком случае наш ум будет предрасположен реагировать на него согласно с обычным принципом (который заключается в наивозможно большем сведении всех данных опыта к общему единству) и будет рассматривать в данном явлении скорее движение неизменяющегося тела, чем изменение формы, происходящее в неустойчивой массе. Здесь чувство глубины вызывается в нас скорее более далеким, чем более близким концом. Но как определяется степень этой глубины? Что служит ее мерилем? Почему в то мгновение, когда дальний конец почти исчезает из глаз, мы приравняем разность между его расстоянием от глаз и расстоянием от глаз ближайшего конца длине почти целой палки? Дело в том, что эту длину мы уже видели и измерили с помощью известного зрительного ощущения ширины. Отсюда мы видим, что каждой данной степени чувства глубины соответствует определенное по степени ощущение ширины и что, следовательно, измерения глубины становятся равнозначными измерениям ширины. Беркли был прав, утверждая, что способность измерять расстояния есть результат наведения и опыта, но он ошибся, полагая, что эта способность не может быть развита путем одного только зрительного опыта.

Роль ума при восприятии пространственных отношений. Хотя Беркли был неправ, утверждая, будто из одних зрительных впечатлений не может развиться восприятие расстояний, тем не менее он оказал большое влияние на психологию, показав, как бессвязны и несоизмеримы между собой по отношению протяженности различные первоначальные наши ощущения, и заставив нас увидеть в столь быстрых, непосредственных пространственных восприятиях почти всецело результат воспитания.

Осязательное пространство — один мир, зрительное — другой. Эти два мира, в сущности, не имеют между собой никаких общих точек соприкосновения, и только благодаря ассоциации идей мы знаем, что данный объект зрения обладает в качестве объекта осязания такими-то и такими-то свойствами. Лица, которые от рождения страдали катарактой и потому заменяли зрение осязанием, прозрев после операции, оказывались до смешного не способными называть верно предметы, впервые попадавшие им на глаза. Когда одному из таких пациентов показали после операции десятилитровую бутылку, держа ее на расстоянии фута от глаз, и спросили его, что это такое, он отвечал: «Весьма возможно, что это лошадь». Равным образом и об относительных расстояниях предметов от глаз подобные пациенты не имеют никаких точных понятий в моторных терминах. С практикой все неясности в зрительных впечатлениях быстро исчезают и новые для пациентов зрительные ощущения переводятся на привычный для них язык осязательных ощущений. Факты отнюдь не доказывают, что зрительные ощущения не протяженны: из этих фактов мы видим только, что необходимо обладать более тонким чувством аналогии сравнительно с большинством людей, чтобы суметь усмотреть в зрительных ощущениях те же внешние пространственные формы и отношения, которые первоначально были доставлены осязательными и моторными впечатлениями. Заключение. Резюмируя сказанное, мы видим, что история возникновения пространственных восприятий станет для нас понятной, если мы, с одной стороны, примем за нечто первично данное ощущения с известной степенью прирожденной им протяженности, а с другой — допустим влияние обычных факторов различения, подбора и ассоциации при возникновении этих ощущений в нашем сознании. Изменчивый характер многих зрительных ощущений, благодаря которому то же ощущение может служить показателем столь различных размеров, величин и положений предметов, дал повод многим психологам утверждать, что пространственные отношения вовсе не могут быть результатом

ощущений, но должны происходить от высшей духовной силы интуиции, синтеза и т. п. Но тот факт, что каждое непосредственно данное ощущение может в любое время стать знаком для другого мысленно воспроизводимого нами, достаточно объясняет все относящиеся сюда явления, и потому предполагать, что свойство протяженности создается из не протяженных элементов при помощи сверхчувственной силы ума, нет никакой надобности.

Глава XXII

Мышление

Что такое мышление? Мы называем человека разумным животным, и представители традиционного интеллектуализма всегда с особенным упорством подчеркивали тот факт, что животные совершенно лишены разума. Тем не менее вовсе не так легко определить, что такое разум и чем отличается своеобразный умственный процесс, называемый мышлением, от ряда мыслей, который может вести к таким же результатам, как и мышление.

Большая часть умственных процессов, состоя из цепи образов, когда один вызывает другой, представляет нечто аналогичное самопроизвольной смене образов в грезах, какой, по-видимому, обладают высшие животные. Но и такой способ мышления ведет к разумным выводам, как теоретическим, так и практическим. Связь между терминами при таком процессе мысли выражается или в смежности, или в сходстве, и при соединении обоих родов этой связи наше мышление едва ли может быть очень бессвязным. Вообще говоря, при подобном произвольном мышлении термины, сочетающиеся между собой, представляют конкретные эмпирические образы, а не абстракции. Солнечный закат может вызвать в нас образ корабельной палубы, с которой мы видели его прошлым летом, спутников по путешествию, прибытие в порт и т. д., и тот же образ заката может навести «ас на мысль о солнечных мифах, о погребальных кострах Геркулеса и Гектора, о Гомере, о том, умел ли он писать, о греческой азбуке и т. д.

Если в нашем мышлении преобладают обыденные ассоциации по смежности, то мы обладаем прозаическим умом; если у данного лица часто произвольно возникают необыкновенные ассоциации по сходству и по смежности, мы называем его одаренным фантазией, поэтическим талантом, остроумием. Но содержание мысли обусловлено совокупностью всех звеньев в последовательной цепи образов. Подумав о чем-нибудь, мы затем замечаем, что думаем уже о другом, почти не зная, каким путем пришли к последнему выводу. Если в этом умственном процессе играет роль отвлеченное свойство, то оно лишь на мгновение привлекает наше внимание, а затем сменяется чем-нибудь иным и никогда не отличается большой степенью абстракции. Так, размышляя о солнечных мифах, мы можем мельком с восторгом подумать об изяществе образов у первобытного человека или на мгновение вспомнить с пренебрежением об умственной узости современных толкователей этих мифов. Но в общем мы больше думаем о непосредственно воспринимаемых из действительного или возможного опыта конкретных впечатлениях, чем об отвлеченных свойствах. Во всех этих случаях наши умственные процессы могут быть вполне разумны, но все же они не представляют здесь мышления в строгом смысле слова. В мышлении хотя выводы могут быть конкретными, тем не менее они не вызываются непосредственно другими конкретными образами, как это бывает при простых ассоциациях. Конкретные выводы связаны с предшествующими конкретными образами посредством промежуточных ступеней, общих, отвлеченных признаков, отчетливо выделяемых нами из опыта и подвергаемых особому анализу. Объект вывода может вовсе не быть элементом привычной ассоциации по смежности или сходству с данными вывода, из которых мы его получаем. Он может быть вещью, которой мы вовсе не встречали в предшествующем опыте и которая не могла бы никоим образом быть вызвана при помощи простой ассоциации конкретных образов. Великая разница между простыми умственными процессами, когда один конкретный образ минувшего опыта вызывается с помощью другого, и мышлением в строгом смысле слова фактически заключается в следующем: эмпирические умственные процессы только репродуктивны, мышление же —

продуктивно. Грубый эмпирик ничего не в состоянии вывести из данных, с которыми у него нет общих элементов ассоциации и практическое значение которых ему неизвестно. Мыслитель же, наоборот, придя в столкновение с конкретными данными, которых он никогда раньше не видел и о которых ничего не слышал, спустя немного времени, если способность мышления в нем действительно велика, сумеет из этих данных сделать выводы, совершенно сглаживающие его незнание данной конкретной области. Мышление выручает нас при непредвиденном стечении обстоятельств, при которых вся паша обыденная ассоциативная мудрость и наше воспитание, разделяемые нами с животными, оказываются бессильными.

Точное определение мышления. Условимся считать характерной особенностью мышления в узком смысле слова способность ориентироваться в новых для нас данных опыта. Эта особенность в достаточной степени выделяет мышление из сферы обыденных ассоциативных умственных процессов и прямо указывает на его отличительную черту.

Мышление включает в себе анализ и отвлечение. В то время как грубый эмпирик созерцает факт во всей его цельности, оставаясь перед ним беспомощным и сбитым с толку, если этот факт не вызывает в его уме ничего сходного или смежного, мыслитель расчленяет данное явление и отличает в нем какой-нибудь определенный атрибут. Этот атрибут он принимает за существенную сторону целого данного явления, усматривает в нем свойства и выводит из него следствия, с которыми дотоле в его глазах данный факт не находился ни в какой связи, но которые теперь, раз будучи в нем усмотрены, должны быть с ним связаны.

Назовем факт или конкретную данную опыта S , существенный атрибут M , свойство атрибута P . Тогда умозаключение от S к P может быть сделано только при посредстве M . Таким образом, сущность M заключается в том, что он является средним, или третьим, термином, который мы выше называли существенным атрибутом. Мыслитель замещает здесь первоначальную конкретную данную S ее отвлеченным свойством M . Что справедливо относительно M , что связано с M , то справедливо и относительно S , то связано и с S . Так как M есть одна из частей целого S , то мышление можно очень хорошо определить как замещение целого его частями и связанными с ним свойствами и следствиями. Тогда искусство мышления можно охарактеризовать двумя чертами: 1) проницательностью или умением вскрыть в находящемся перед нами целом факте S его существенный атрибут M ; 2) запасом знаний или умением быстро поставить M в связь с заключающимися в нем, связанными с ним и вытекающими из него данными. Если мы бросим беглый взгляд на обычный силлогизм:

M есть P

S есть M

S есть P ,

то увидим, что вторая, или меньшая, посылка требует проницательности, первая, или большая, — полноты и обилия знаний. Чаще встречается обилие знаний, чем проницательность, так как способность рассматривать конкретные данные под различными углами зрения менее обыкновенна, чем умение заучивать давно известные положения, так что при наиболее обыденном употреблении силлогизмов новым шагом мысли является меньшая посылка, выражающая нашу точку зрения на данный объект, но, конечно, не всегда, ибо тот факт, что M связано с P , также может быть дотоле неизвестен и ныне впервые нами сформулирован. Восприятие того факта, что S есть M , есть точка зрения на S . Утверждение, что M есть P , есть общее, или абстрактное, суждение.

Скажем два слова о том и другом.

Что такое точка зрения на данный предмет? Когда мы рассматриваем S просто как M (например, киноварь — просто как ртутное соединение), то сосредоточиваем все внимание на атрибуте M , игнорируя остальные атрибуты. Мы лишаем реальное явление S его полноты. Во всякой реальности можно найти бесчисленное множество различных сторон и свойств. Даже такое простое явление, как линия, проводимая по воздуху, можно рассматривать в отношении ее положения, формы, длины и направления. При анализе более сложных фактов точки зрения, с которых их можно рассматривать, становятся бесчисленными. Киноварь не только ртутное соединение, она, сверх того, окрашена в

ярко-красный цвет, обладает значительным удельным весом, привозится в Европу из Китая и т. д. *ad infinitum*.

Все предметы суть источники свойств, которые познаются нами лишь мало-помалу, и справедливо говорят, что познать исчерпывающим образом какую-нибудь вещь значило бы познать всю Вселенную. Или непосредственно, или опосредованно эта вещь окажется в соотношении со всякой другой, и для всестороннего изучения ее необходимо будет познать все ее отношения. Но каждое отношение представляет один из атрибутов вещи, один из углов зрения, по которым мы можем ее рассматривать, игнорируя остальные ее свойства. Человек — весьма сложное явление; но из этого бесконечно сложного комплекса свойств провиантмейстер в армии извлекает для своих целей только одно, именно потребление стольких-то фунтов пищи в день; генерал — способность проходить в день столько-то верст; столяр, изготавливающий стулья, — такие-то размеры тела; оратор — отзывчивость на такие-то и такие-то чувства; наконец, театральный антрепренер — готовность платить ровно столько-то за один вечер развлечения. Каждое из упомянутых лиц выделяет в целом человеке сторону, имеющую отношение к его точке зрения, и практические выводы не могут быть сделаны этим мыслителем до тех пор, пока ему не удастся ясно и отчетливо выделить в человеке искомую сторону, а раз он ее выделил, он может игнорировать другие атрибуты человека.

Все остальные точки зрения на конкретный факт равно истинны. Нет ни одного свойства, которое можно было бы признать абсолютно существенным для чего-нибудь. Свойство, которое в одном случае существенно для данной вещи, становится для нее в другом случае совершенно неважной чертой. Теперь, пока я пишу, самым существенным в бумаге для меня является то, что она представляет поверхность, на которой можно писать. Если бы я не имел этого в виду, то должен был бы приостановить работу. Но если бы я захотел зажечь огонь и под рукой не было бы никакого иного горючего материала, кроме бумаги, то самым существенным свойством бумаги оказалась бы ее способность к горению и я мог бы игнорировать иные назначения бумаги. Она действительно включает в себе все свойства, какие ей можно приписать: поверхность для письма, горючая тонкая вещь, органическое соединение, предмет длиной в десять и шириной в восемь вершков, отстоящий ровно на 1/8 часть английской мили к западу от известного камня в поле моего соседа, предмет, сделанный на американской фабрике, и т. д. *ad infinitum*.

Становясь временно на любую из этих точек зрения, я начинаю несправедливо игнорировать другие точки зрения. Но так как я могу квалифицировать бумагу каждый раз только одним определенным образом, то каждая моя точка зрения неизбежно окажется ошибочной, узкой, односторонней. Природная необходимость, заставляющая меня поневоле быть ограниченным и в мышлении, и в деятельности, делает для меня извинительной эту неизбежную односторонность. Мое мышление всегда связано с деятельностью, а действовать в одно и то же время я могу лишь в одном направлении. Бога, которого мы представляем правящим сразу целой Вселенной, мы можем также представить без всякого ущерба для его деятельности созерцающим разом без различия все части Вселенной. Но если бы наше внимание могло быть в такой степени равномерно распределено по различным частям созерцаемого мира, то мы оказались бы пассивно созерцающими явления и лишили бы себя возможности совершить какое бы то ни было определенное действие.

Уорнер в одном из произведений («Adirondae story») рассказывает, что он застрелил медведя, не целясь в какую-нибудь определенную часть тела — в глаз или сердце, а целясь «в медведя вообще», но мы не можем подобным же образом направлять наше внимание «на Вселенную вообще»; всякие попытки должны исследовать явления по частям, не пытаясь охватить грандиозную совокупность всех элементов природы, связывая в ряды отдельные факты и преследуя свои мелкие ежечасно изменяющиеся интересы. При этом односторонность нашего мирозерцания в каждый данный момент уравнивается отчасти односторонностью иного характера, в которую мы впадаем в следующий момент. В данную минуту для меня, пока я пишу эту главу, способность подбирать факты и умение сосредоточивать внимание на известных сторонах явления представляется сущностью человеческого ума. В других главах иные свойства казались и будут еще казаться мне наиболее

существенными сторонами человеческого духа.

Односторонность в мировоззрении до того глубоко укоренилась в людях, что для поклонников здравого смысла и схоластики (схоластика ведь та же точка зрения здравого смысла, только приведенная в систему) мысль, будто нет ни одного качества, которое было бы на самом деле абсолютно, всецело существенно для чего-нибудь, представляется почти логически невозможной. «Сущность всегда делает вещь тем, что она есть. Без сущности, принадлежащей абсолютно только ей, она не была бы ничем в частности, ее бы никак нельзя было назвать, мы не могли бы указать оснований, почему она должна быть именно тем, а не этим. Например, к чему вы говорите о материале, на котором пишете, что это — горючее вещество, предмет четырехугольной формы и т. д., когда вы знаете, что все это — случайные свойства, а то, что он есть на самом деле и чем должен быть, есть бумага и больше ничего?» Весьма возможно, что читатель сделает мне подобное возражение. Но ведь и сам он подчеркивает лишь одну сторону в данном явлении, соответствующую той незначительной цели, которую он себе наметил: именно цели дать данному предмету известное название; для фабриканта бумаги важна иная цель — производство товара, па который есть всеобщий спрос. Между тем реальность остается явлением, совершенно безразличным по отношению к целям, которые мы с ней связываем. Наиболее обыденное житейское назначение реальности, ее наиболее привычное для нас название и ее свойства, ассоциировавшиеся с последним в нашем уме, не представляют, в сущности, ничего неприкосновенного. Они более характеризуют нас, чем саму вещь. Но мы до того скованы предрассудками, наш ум до того окоченел, что наиболее привычным для нас названиям вещей и связанным с ними представлениям мы приписываем значение чего-то вечного, абсолютного.

Сущность вещи должна характеризоваться наиболее привычными для нас ее названиями; то, что означает в ней менее привычными названиями, может иметь для нас значение случайного и несущественного свойства. Натуралисты могут подумать, что молекулярное строение вещества составляет сущность мировых явлений в абсолютном смысле слова и что H_2O есть более точное выражение сущности воды, чем указание на ее свойство растворять сахар или утолять жажду. Нимало! Все эти свойства равно характеризуют воду как некоторую реальность, и для химика сущность воды прежде всего определяется формулой H_2O и затем уже другими свойствами только потому, что для его целей лабораторного синтеза и анализа вещество вода как предмет науки, изучающей соединения и разложения веществ, есть прежде всего H_2O .

Локк первым подметил это заблуждение. Но ни один из его последователей, насколько мне известно, не избежал этого заблуждения вполне, не обратил внимания на то, что «сущность» есть понятие телеологическое и что образование концептов и классификация суть чисто телеологические средства, которыми пользуется наш ум. Сущность вещи есть свойство ее, которое столь валоно для преследуемых мною интересов, что я могу совершенно игнорировать остальные. Я классифицирую данную вещь среди тех, которые обладают интересным для меня свойством; я даю ей сообразное с ним название; я представляю ее себе как нечто, обладающее этим свойством. И в то время как я ее так классифицирую, называю и представляю, все остальные истины, относящиеся к этой вещи, не имеют для меня ровно никакого значения.

Для разных людей в различное время весьма различные свойства кажутся наиболее важными. Благодаря этому для той же вещи у нас имеются различные названия и концепты. Но многие предметы, входящие в состав нашего домашнего обихода (например, бумага, чернила, масло, сюртук), обладают свойствами столь постоянной для нас важности и названиями столь для нас привычными, что мы в конце концов начинаем думать, будто есть только один истинный способ представлять себе эти вещи — именно тот, к которому мы привыкли; на самом же деле этот способ не более истинен, чем другие, а только наиболее часто применялся нами к делу.

Мышление всегда связано с личным интересом. Обратимся опять к символическому изображению умственного процесса:

М есть Р

С есть М

С есть Р .

Мы различаем и выделяем М , так как оно в данную минуту есть для нас сущность конкретного факта, явления или реальности S . Но в нашем мире М стоит в необходимой связи с Р , так что Р — второе явление, которое мы можем найти связанным с фактом S . Мы можем заключать к Р посредством М , которое мы с помощью нашей проницательности выделили как сущность из первоначально воспринятого нами факта S .

Заметьте теперь, что М было только в том случае хорошим показателем для нашей проницательности, давшим нам возможность выделить Р и отвлечь его от остальных свойств S, если Р имеет для нас какое-нибудь значение, какую-нибудь ценность. Если, наоборот, Р не имело для нас никакого значения, то лучшим показателем сущности S было бы не М , а что-нибудь иное. С психологической точки зрения, вообще говоря, с самого начала умственного процесса S является преобладающим по значению элементов. Мы ищем Р или что-нибудь похожее на Р . Но в целом конкретном факте S оно скрыто от нашего взора; ища в S опорный пункт, при помощи которого мы могли бы добраться до Р , мы благодаря нашей проницательности нападаем на М , которое оказывается как раз свойством, стоящим в связи с Р . Если бы мы желали найти Q , а не Р и если бы N было свойством S , стоящим в связи с Q , то мы должны были бы игнорировать М , сосредоточить внимание на N и рассматривать S исключительно как явление, обладающее свойством N.

Мы мыслим всегда, имея в виду какие-нибудь частные выводы или желая в каком-нибудь отношении удовлетворить свое любопытство. Мыслитель расчленяет конкретный факт и рассматривает его с отвлеченной точки зрения, но он должен, сверх того, рассматривать его надлежащим образом, т. е. вскрывая в нем свойство, ведущее прямо к тому выводу, который представляет для исследователя в данную минуту наибольший интерес.

Результаты нашего мышления могут быть нами получены иногда случайно. Стереоскоп был открыт путем предварительных теоретических соображений, но на это открытие человек мог бы натолкнуться и совершенно случайно, играя с рисунками и зеркалами. Известно, что иногда кошки отворяют дверь, двигая ручку, но если бы ручка, испортившись, не стала поддаваться прежним толчкам, то ни одна кошка в мире не смогла бы догадаться, как открыть дверь, пока какая-нибудь новая случайность не натолкнула животное на новый способ движения, который ассоциировался бы в его уме с целым образом запертой двери. Мыслящий же человек сумеет отпереть дверь, выяснив, где находится препятствие. Для этого он определяет, что именно в двери повреждено. Если, например, рычаг не приподнимает в достаточной степени запора над поперечной перекладиной, — значит, дверь низко повешена на петлях и ее необходимо приподнять. Если дверь пристаёт снизу к порогу вследствие трения, ее также необходимо приподнять. Очевидно, малый ребенок или идиот могут быть научены, как отпереть ту или другую дверь, не прибегая к этим рассуждениям. Я помню, как моя горничная обнаружила, что наши стенные часы могут правильно идти, только будучи наклонены немного вперед. Она нашла на этот способ случайно, после многих тщетных попыток заставить часы идти как следует. Причиной постоянной остановки часов было трение чечевицы маятника о заднюю стенку часового ящика; развитый человек обнаружил бы эту причину в пять минут. У меня есть лампа, пламя которой мигает самым неприятным образом, если не приподнять стекла примерно на часть вершка. Я открыл это случайно, немало перед этим промучившись, и теперь всегда при помощи маленькой подпорки держу стекло слегка приподнятым над основанием горелки. Но все эти открытия представляют простую ассоциацию двух конкретных фактов: доставляющего неудобство предмета и средства, устраняющего неудобство. Человек, хорошо знакомый с пневматикой, вскрыл бы путем абстракции причину мигания и тотчас же указал средство устранить его.

При помощи измерения множества треугольников можно было бы найти их площадь, всегда равную про изведению высоты на половину основания, и сформулировать это свойство как эмпирический закон. Но мыслитель избавляет себя от бесчисленных измерений, доказывающих, что сущность треугольника заключается в том, что он есть половина параллелограмма с тем же основанием и

высотой, площадь которого равна произведению высоты на основание. Чтобы уяснить себе это, надо провести дополнительные линии, и геометр часто должен проводить такие линии, чтобы с их помощью вскрыть нужное ему существенное свойство фигуры. Сущность фигуры заключается в некотором отношении ее к новым линиям, отношении, которое не может быть ясным для нас, пока эти линии не проведены. Гений геометра заключается в умении вообразить себе новые линии, а проницательность его — в усмотрении этого отношения к ним данной фигуры.

Итак, в мышлении есть две весьма важные стороны: 1) свойство, извлеченное нами из конкретного факта, признается нами равнозначным всему факту, из которого выделено; 2) выделенное свойство наталкивает нас на известный вывод и сообщает этому выводу такую очевидность, какой мы не могли бы извлечь непосредственно из данного конкретного факта.

Рассмотрим подробнее первую сторону мышления. Допустим, что мне предлагают в магазине кусок сукна. «Я не возьму его; оно на вид как будто линюче», — говорю я, желая этим сказать только то, что вид его напоминает мне что-то линючее. Мое суждение в этом случае, может быть и верное, не есть процесс мышления в строгом смысле слова, а чисто эмпирический вывод. Но если я могу сказать, что в состав окраски данного сукна входит красящее вещество, химически неустойчивое, и потому сукно скоро выцветет, мое суждение есть строго логический вывод. Понятие окраски есть последующее звено между понятиями сукна и линючести. Необразованный человек станет путем эмпирического вывода ожидать, что лед при приближении к огню будет таять, а палец, разглядываемый в увеличительное стекло, — казаться шероховатым. И в том, и в другом случае результат явления предвидят без полного предварительного знакомства с самим явлением. Здесь нет никакого акта мышления в строгом смысле слова.

Но человек, рассматривающий тепло как род движения, превращение твердого тела в жидкое состояние как нечто тождественное возрастанию молекулярного движения, человек, знающий, что кривые поверхности преломляют известным образом световые лучи и что кажущаяся величина всякого предмета находится в зависимости от степени преломления световых лучей, входящих в глаз, — такой человек делал бы по поводу всех указанных явлений правильные выводы даже в том случае, если бы он никогда в жизни не наблюдал их в действительности. И он поступал бы так потому, что, согласно сделанному нами предположению, он обладал бы теми идеями, которые были последующим звеном между явлениями, служившими для него исходным пунктом, и выводами, сделанными им из них. Но эти идеи суть лишь элементы, извлеченные из данного явления или связанные с ним обстоятельства. Правда, движение, порождающее теплоту, и преломление световых лучей глубоко скрытые ингредиенты; гораздо менее скрытым ингредиентом было трение чечевицы маятника о стенку часового ящика, а приставание двери к полу почти и вовсе не может считаться скрытым от нас ингредиентом. Но во всех есть та общая черта, что они устанавливают более очевидное отношение данного явления к выводу, который не может быть получен из него непосредственно с такой же очевидностью.

Обратимся теперь ко второй стороне мышления: почему следствия, выводы и комбинации, делаемые из составных элементов данного явления, более очевидны, чем выводы, делаемые прямо из целого конкретного явления? По двум причинам. Во-первых, отвлеченные свойства более общи, чем непосредственные, конкретные данные, вследствие этого они могут вступать в связь с фактами более знакомыми для нас, более часто встречаемыми в опыте. Предположите, что теплота — движение. Тогда всё, что справедливо относительно движения, окажется справедливым и относительно теплоты, но в опыте нам приходится наблюдать в сто раз более явлений движения, чем теплоты. Начните рассматривать лучи, проходящие через призму, как линии, наклонные к перпендикуляру, и вы заместите сравнительно мало знакомое понятие призмы весьма привычным понятием «перемены в направлении линии», понятием, для которого мы ежедневно имеем массу примеров.

Другая причина, почему отношения между свойствами, выделенными нами из данного предмета, так очевидны, заключается в следующем. Эти свойства значительно малочисленнее совокупности всех свойств целого, из которого мы выделяем их. В каждом конкретном факте свойства и вытекающие из

них следствия так многочисленны, что мы можем совершенно потеряться, не сделав из них того вывода, который надлежит сделать. Если же нам посчастливилось выделить надлежащее свойство, то мы разом можем как бы охватить мысленно все вытекающие из него следствия. Например, то обстоятельство, что дверь пристаёт к порогу, связано в нашем уме с весьма немногими следствиями, между которыми выделяется такое соображение: приподняв дверь, мы уничтожим ее трение о порог. Между тем целый образ плохо отпирающейся двери может вызвать в нашем уме огромное количество понятий. Подобные примеры могут показаться банальными, но они заключают в себе сущность самого утонченного отвлеченного мышления. Физика становится все более и более дедуктивной наукой, придавая математическую формулировку законам, управляющим основными свойствами материи (каковы молекулярные массы или эфирные волны различной длины), именно потому, что непосредственные выводы из таких понятий весьма малочисленны и мы можем разом охватить все их мысленно и извлечь из них те, в которых имеем надобность.

Проницательность. Итак, для того чтобы мыслить, мы должны уметь извлекать из данного конкретного факта свойства, и не какие-нибудь вообще, а те, которые соответствуют правильному выводу. Извлекая несоответствующие свойства, мы получим неправильный вывод. Отсюда возникают недоумения: как извлекаем мы известные свойства из конкретных данных? И почему во многих случаях они могут быть вскрыты только гением? Почему все люди не могут мыслить одинаково успешно? Почему лишь одному Ньютону удалось открыть закон тяготения, одному Дарвину — принцип выживания существ наиболее приспособленных? Чтобы ответить на эти вопросы, нам необходимо произвести новое исследование, посмотрев, как у нас естественным путем развивается проникновение в явления действительности.

Первоначально все наше знание смутно. Мы хотим этим сказать, что в нем первоначально нет внутренних подразделений (*ab intra*) и точных внешних разграничений (*ab extra*); но все же к нему применимы все формы мысли. В нем может быть единство, реальность, предметность, объем и т. д., — словом, оно есть познание объекта, вещи, но познание вещи как нераздельного целого. При этом неясном способе познания ребенку, впервые начинающему осознавать комнату, она, вероятно, представляется чем-то отличающимся от находящейся в движении кормилицы. В его сознании еще нет подразделений; одно окно комнаты, быть может, особенно привлекает его внимание. Такое же смутное впечатление производит каждая совершенно новая сфера опыта и на взрослого. Библиотека, археологический музей, магазин машин представляют собой какие-то неясные целые для новичка, но для машиниста, антиквара, библиофила целое почти совершенно ускользает от внимания, до того стремительно они набрасываются на исследование деталей. Знакомство с предметом породило в них способность различения. Неопределенные термины, вроде «травы», «плесень», «мясо», для ботаника и зоолога не существуют, до того они углубились в изучение различных видов трав, плесени и мышц. Когда Кингслей показал одному господину анатомированную гусеницу, тот, увидев тонкое строение ее внутренностей, заметил: «Право, я думал, что она состоит только из внешней оболочки и мякоти». Мирный обыватель, присутствуя при кораблекрушении, сражении или пожаре, совершенно беспомощен. Опыт так мало пробуждал в нем способность к различению, что его внимание не может сосредоточиться на какой-нибудь стороне сложного, исключительного события, которое требует немедленной деятельности. Моряк же, пожарный или полководец сразу принимаются за дело. Они мигом умеют разобраться в данном положении и проанализировать его. Оно заключает в себе массу почти неуловимых деталей, которые замечаются специалистами благодаря постепенному развитию их сознания в известном направлении, но которые не различаются достаточно отчетливо не опытным в данной области лицом.

Каким путем развивается в нас способность к анализу, мы выяснили себе в главах «Различение» и «Внимание». Разумеется, мы диссоциируем элементы смутно воспринимаемых цельных впечатлений, направляя наше внимание то на одну, то на другую часть целого. Но почему мы сосредоточиваем наше внимание сначала на том, а потом на другом элементе? На это можно тотчас же дать два ясных ответа: 1) благодаря нашим практическим или инстинктивным интересам и 2) в силу наших эстетических

интересов. Собака где угодно сумеет отличить запах себе подобных, лошадь чрезвычайно чутка к ржанию других лошадей, потому что эти факты имеют для них практическое значение и вызывают у этих животных инстинктивное возбуждение. Ребенок, замечая пламя свечи или окно, оставляет без внимания остальные части комнаты, потому что последние не доставляют ему столь живого удовольствия. Деревенский мальчишка умеет находить чернику, орехи и т. п. благодаря их практической пользе, выделяя их из массы кустарников и деревьев; дикарю доставляют немало удовольствия бусы и кусочки зеркал, привозимые на торговых кораблях, вид же самого корабля не вызывает у него никакого интереса, так как корабельное устройство недоступно из-за своей сложности его пониманию. Таким образом, эти практические и эстетические интересы суть наиболее важные факторы, способствующие яркому выделению частных из цельного конкретного явления. На что они направляют наше внимание, то и служит объектом последнего, но, что такое они сами, мы не можем сказать. Мы должны в данном случае ограничиться признанием их далее неразложимыми, первичными факторами, определяющими то направление, в котором будет совершаться рост нашего знания.

Существо, руководимое в своей деятельности немногочисленными инстинктивными импульсами или немногочисленными практическими и эстетическими интересами, будет обладать возможностью диссоциировать весьма немногие свойства и в лучшем случае будет одарено ограниченными умственными способностями; существо же, наделенное большим разнообразием интересов, будет обладать высшими умственными способностями. Человек, как существо, одаренное бесконечным разнообразием инстинктов, практических стремлений и эстетических переживаний, доставляемых каждым органом чувств, в силу одного этого должен обладать способностью диссоциировать свойства в гораздо большей степени, чем животные, и согласно этому мы находим, что дикари, стоящие на самой низкой ступени развития, мыслят неизмеримо более совершенным образом, чем самые высшие животные. Разнообразие интересов ведет, сверх того, к варьированию опытов, накопление которых становится почвой для деятельности закона диссоциации при изменении окружающей обстановки, о чем мы говорили на с. 125.

Помощь, которую оказывают нам при мышлении ассоциации по сходству. Не лишено также вероятия, что ассоциации по сходству, высшие ассоциации у человека, играют важную роль при различении свойств, связанных с процессами мышления наивысшего порядка. Значение этих ассоциаций настолько велико для мышления, а мы говорили о них так мало в главе «Различение», что теперь необходимо остановиться на них подробнее.

Что вы делаете, читатель, когда хотите точно определить сходство или различие двух объектов? Вы с наивозможно большей быстротой переносите ваше внимание то на один, то на другой предмет. Быстрая поочередная смена впечатлений в сознании выдвигает, так сказать, на первый план сходство и различие объектов, которые навсегда ускользнули бы от нашего внимания, если бы поочередное восприятие впечатлений разделялось большими промежутками времени. Что делает ученый, отыскивающий скрытый в данном явлении принцип или закон? Он преднамеренно перебирает в уме все те случаи, в которых можно найти аналогию с данным явлением. Заполняя одновременно всеми аналогиями свой ум, ученый обыкновенно оказывается в состоянии выделить в одной из групп этих аналогий ту особенность, которую он не мог определить, анализируя каждую из них в отдельности, несмотря даже на то, что в его минувшем опыте этой аналогии предшествовали все остальные, с которыми она теперь одновременно сопоставляется.

Наши примеры показывают, что для диссоциации свойств простая повторяемость явления в опыте при различной окружающей обстановке еще не дает достаточного основания. Нам нужно нечто большее: именно необходимо, чтобы все разнообразие окружающих обстановок возникло перед сознанием сразу. Только тогда искомое свойство выделится из среды других и займет отдельное положение. С этим немедленно согласятся все, изучавшие «Систему логики» Дж. Ст. Милля и познакомившиеся с практическим применением «наведения», с «четырьмя методами опытного исследования»: методом согласия, различия, остатков и сопутствующих изменений. В каждом из них мы имеем ряд аналогичных

случаев, среди которых искомое свойство может нам попасться и сосредоточить наше внимание. Из сказанного ясно, что всякий ум, в котором способность образовывать ассоциации по сходству сильно развита, есть ум, самопроизвольно образующий ряды подобных аналогий. Пусть А есть данный конкретный факт, в котором заключается свойство m . Ум может вначале вовсе не замечать этого свойства n . Но если А вызывает в сознании В, С, D и Е — явления, сходные с А в обладании свойством m , но не попадавшие по целым месяцам в опыте животному, воспринимающему явление А, то, очевидно, эта ассоциация сыграет в уме животного такую же роль, какую играло в уме читателя преднамеренное быстрое сопоставление впечатлений, о котором мы только что говорили, или в уме исследователя — систематический анализ аналогичных случаев, и может повести к выделению m путем абстракции.

Это само собой ясно и неизбежно заставит сделать вывод, что после немногочисленных сильнейших влечений, связанных с практическими и эстетическими интересами, ассоциация по сходству преимущественно помогает нам вскрывать в данном явлении те специфические свойства, которые, будучи раз подмечены и названы нами, рассматриваются как основания, сущности, названия классов и средние термины в логическом доказательстве. Без помощи ассоциаций по сходству преднамеренные умственные операции ученого были бы невозможны, так как он не смог бы сгруппировать воедино аналогичные случаи. В высокоодаренных умах эти процессы совершаются непредумышленно: аналогичные случаи самопроизвольно группируются в голове, явления, отделенные в действительности друг от друга огромными пространствами и временными промежутками, объединяются в таких умах мгновенно, и, таким образом, среди различия окружающих условий обнаруживаются общие всем явлениям свойства, которые для ума, руководимого одними ассоциациями по смежности, остались бы навсегда недоступными.

Рис. 18

Описанный нами процесс изображен схематически на рис. 18. Если m в данном представлении А вызывает в нашем уме В, С, D и Е, которые сходны с А в том, что обладают все свойством m , и притом вызывает их в быстрой последовательности одно за другим, то m , ассоциируясь почти одновременно со столь различными окружающими условиями, выделится из среды и обратит на себя наше особое внимание.

Если читатель вполне уяснил себе мою мысль, то он, наверное, будет склонен думать, что умы, в которых преобладает ассоциация по сходству, благоприятствующая выделению общих свойств, наиболее способны к мышлению в строгом смысле слова, умы же, не проявляющие наклонности к такому мышлению, по всей вероятности, располагают почти исключительно ассоциациями по смежности.

Все согласны в том, что гении отличаются от обыкновенных умов необычайным развитием способности к ассоциациям по сходству. Установление этого факта — одна из крупнейших психологических заслуг Бэна. Указанное свойство наблюдается у гениев не только в области мышления, но и в других областях психической деятельности.

Умственные способности животных. Ум гения находится в таком же отношении к уму простого смертного, в каком ум последнего — к умственным способностям животных. Не лишено вероятия, что животные, в противоположность людям, не возвышаются до образования общих концептов и почти не имеют ассоциаций по сходству. Мысль животных, вероятно, переходит от одного конкретного объекта к другому, обычно следующих в опыте друг за другом с гораздо большим однообразием, чем у нас. Другими словами, в их уме преобладают почти исключительно ассоциации идей по смежности. Но поскольку можно было бы допустить, что животное мыслит не ассоциациями конкретных образов, а путем отвлечения общих признаков, постольку пришлось бы признать животное мыслящим существом, употребляя это выражение совершенно в том же смысле, в каком мы применяем его к

людям. В какой мере такое допущение возможно — трудно сказать. Известно только, что животные, наиболее одаренные умом, поневоле руководствуются отвлеченными признаками; выделяют ли они сознательно эти признаки из конкретных образов, или нет — другой вопрос. Животные относятся к объектам так или иначе, сообразуясь с тем, к какому классу последние принадлежат. Для этого необходимо, чтобы животное обращало внимание на сущность класса, хотя бы последнее и не было отвлеченным понятием. Одна вещь — конкретный индивидуальный факт, в котором внимание не направлено особенно ни на какую сторону, другая вещь — отчетливо понятое свойство, выделенное особым названием из совокупности остальных атрибутов данного предмета. Но между совершенно непроанализированным конкретным фактом и полным его анализом, между абсолютным отсутствием отвлечения признаков данного объекта и полной абстракцией лежит бесчисленное множество переходных ступеней. Для некоторых ступеней должны быть особые названия, как как оттенки в известных ступенях абстракции заметны для нашего сознания. Для идеи смутно отвлеченного понятия класса объектов Романес предложил термин «рецепт», а Ллойд-Морган — «конструкт». Последний вполне определенную абстракцию называет «изолат». Ни термин «конструкт», ни термин «рецепт» я не нахожу удачными; несмотря на это, они вносят в область психологических понятий некоторый новый оттенок, и потому я отмечаю их здесь. В следующем отрывке из книги Романеса («Mental Evolution in Man») я предлагаю заменить термин «рецепт» более подходящим словом «инфлуэнт»: «Водяные куры имеют привычку несколько иначе опускаться на землю и даже на лед, чем на воду, а те породы, которые ныряют с высоты (например, чагравы и бакланы), никогда не опускаются на сушу и на лед так же, как на воду. Подобные факты показывают, что в уме этих птиц существует один рецепт, соответствующий твердой поверхности, и другой, соответствующий жидкой поверхности. Подобным лее образом человек никогда не попробует нырнуть с высоты над землей или ледяной поверхностью и в воду всегда прыгнет иначе, чем на сушу. Другими словами, подобно водяной курице, он обладает двумя различными рецептами, из которых один соответствует суше, а другой — воде. Но, в противоположность водяной курице, человек может дать каждому из этих рецептов особое название и возвести их на степень концепта. Поскольку дело касается чисто практического вопроса о передвижении нашего тела, постольку, разумеется, неважно, превратили ли мы данный рецепт в концепт или нет, но во многих других случаях способность превращать рецепт в концепт имеет огромное значение».

Я знаю одну легавую собаку, которая не прикусывала приносимых ею в зубах птиц. Но однажды ей нужно было сразу принести двух птиц, которые еще были живы и бились, хотя уже не могли летать. После некоторого колебания собака одну из них удавила, взяла в зубы другую и принесла живьем к хозяину, потом вернулась за первой, убитой, и принесла также ее. Нельзя не признать, что в голове собаки быстро промелькнул при этом ряд отвлеченных мыслей вроде: «она жива еще», «а надо уйти», «необходимо убить ее», с какими бы конкретными образами этот ряд мыслей ни был связан.

Такое практическое руководство особыми соображениями, которые могут при случае быть важными, заставляет предполагать в животном наличие основной черты мышления. Но свойства объектов, обращающие на себя внимание животных, весьма малочисленны и всегда непосредственно связаны с инстинктивными стремлениями. Животные, в противоположность людям, никогда не отвлекают свойств от конкретных данных ради забавы. Это можно попытаться объяснить как результат того факта, что у них почти совершенно отсутствуют характерные для человеческого ума ассоциации по сходству. Предмет напоминает животному другой совершенно сходный предмет, но не предмет, сходный с первым лишь отчасти, и диссоциация при различии окружающей обстановки, которая в человеке опирается в значительной степени на ассоциации по сходству, в животном мире, по-видимому, почти вовсе не имеет места.

Один конкретный факт во всей своей цельности напоминает животному другой, а низшие млекопитающие различают свойства объектов неведомым для них самих путем; основным капитальным несовершенством их ума является неспособность постоянно расчленять, комбинировать группы идей в новом непривычном порядке. Животные навеки поработаны рутиной, мышлением,

почти не возвышающимся над конкретными фактами. Если бы самое прозаическое существо могло переселиться в душу собаки, то оно пришло бы в ужас от царящего там полного отсутствия воображения. Мысли стали бы вызывать в его уме не сходные, а смежные с ними привычные мысли. Закат солнца напоминал бы ему не о смерти героев, а о том, что пора ужинать. Вот почему человек есть единственное способное к метафизическим умозрениям животное.

Для того чтобы удивляться, почему Вселенная такова, какова она есть, нужно иметь понятие о том, что она могла бы быть иной, чем она есть; животное, для которого немислимо свести действительное к возможному, отвлекая в воображении от действительного факта его обычные реальные следствия, никогда не может образовать в своем уме это понятие. Животное принимает мир просто за нечто данное и никогда не относится к нему с удивлением.

Глава XXIII

Сознание и движение

Всякое состояние сознания связано с двигательными процессами. Предыдущая глава была посвящена анализу весьма сложных внутренних, чисто психических процессов и их продуктов; следя за этим анализом, читатель должен был постоянно помнить, что конечным обнаружением каждого из психических процессов всегда должна быть известная активность тела, обусловленная передачей центрального возбуждения идущим к периферии двигательным нервам. Не надо забывать, что вся нервная система, с физиологической точки зрения, есть простая машина, превращающая известные стимулы в реакции, интеллектуальная же сторона нашей жизни связана только с центральными, или промежуточными, моментами в действиях, совершаемых этой машиной. Теперь мы рассмотрим конечные, выражающиеся внешним образом моменты этих операций, телесную деятельность и связанные с ней душевные явления.

Всякое раздражение, падающее на центrostремительный нерв, вызывает пробегающий по центробежному нерву к периферии обратный ток, с которым могут и быть, и не быть связаны сознательные психические процессы. Оставляя в стороне некоторые исключения, можно вообще сказать, что всякое ощущение влечет за собой движение и каждое движение в отдельной части организма есть в то же время движение целого организма, всех его частей. Движение, явно совершающееся в нашем организме при взрыве, блеске молнии или щекотании, происходит скрытно при всяком испытываемом нами ощущении. Мы не содрогаясь и не испытывая щекотки при слабых ощущениях только вследствие их весьма значительной слабости и неясности. Много лет назад Бэн дал явлению общего разряда название «закона диффузии» (рассеяния) и сформулировал его: вслед за нервным током, сопровождающим данное ощущение, возникают токи, рассеивающиеся по всему мозгу, приводя в возбуждение органы движения и внутренности.

Вероятно, возбуждения, проходящие через нервные центры, все, без исключения, подчинены закону рассеяния. Впрочем, действие, производимое пробегающим через нервные центры током, может нередко прийти в столкновение с током, уже находящимся там, и следствие такого столкновения двух процессов может обнаружиться в приостановке телесной деятельности. Такая компенсация процессов, вероятно, аналогична задержанию жидкости в трубке жидкостью, пробегающей по другой трубке; так бывает, когда мы, например, гуляя, внезапно останавливаемся как вкопанные, если наше внимание привлечено звуком, запахом, видом чего-то или внезапной мыслью. Но остановка периферической нервной деятельности не всегда зависит от задерживающего свойства. Например, в момент испуга наше сердце мгновенно перестает биться или его биение замедляется, а затем возобновляется с еще большей скоростью. Эта мгновенная задержка в сердцебиении вызывается периферическим током, пробегающим по пневмогастрическому нерву. Нерв, возбуждаясь, замедляет или останавливает сердцебиение; в тех случаях, когда он бывает перерезан, в сердцебиении при испуге не замечается никаких перемен.

Впрочем, возбуждающие действия чувственных впечатлений преобладают над задерживающими

действиями, так что высказанное нами выше положение о рассеянии токов по всем частям нервной системы можно оставить без поправок. Физиологам до сих пор еще не удавалось проследить все действия, вызываемые данным чувственным впечатлением в нервной системе. В последнее время наши сведения в этой области стали гораздо обширнее, и мы имеем теперь экспериментальные доказательства того, что даже самые незначительные чувственные стимулы изменяют тон и степень сокращения в биении сердца, артериальном давлении, дыхании, в зрачках, мочевом пузыре, во внутренностях, в матке и в мышцах, производящих произвольные движения.

Короче говоря, процесс, возбужденный в центральных частях нервной системы, отражается повсюду в организме, распространяясь так или иначе по всем его частям и увеличивая или ослабляя их активность. Масса центральной нервной ткани по отношению ко всей нервной системе играет как бы роль кондуктора, заряженного электричеством, напряженность которого на этом кондукторе не может быть изменена без изменения напряженности на остальных частях электрической машины. Шнейдер при помощи остроумного зоологического изыскания пытался показать, что все специальные движения, производимые высшими породами животных, представляют дифференциацию двух первоначальных движений, в которых у низших организмов участвует все тело. Стремление к сокращению служит источником всех развивающихся впоследствии стремлений к самозащите и к реакции на внешний стимул, включая сюда стремление к бегству. Стремление к расширению, наоборот, вырабатывается в импульсы и инстинкты агрессивного характера — питания, борьбы, половых сношений и т. п. <...>

Теперь я перейду к подробному анализу наиболее важных классов движений, являющихся результатом центральных мозговых процессов и связанных с ними психических актов. Каждому из трех важнейших этих движений: 1) проявлению эмоций, 2) инстинктивным актам, 3) волевым актам — я предназначаю по особой главе.

Глава XXIV

Эмоции

Сравнение эмоций с инстинктами. Специфическое различие между эмоциями и инстинктами в том, что эмоция есть стремление к чувствованиям, а инстинкт — стремление к действиям при наличии известного объекта в окружающей обстановке. Но и эмоции имеют соответствующие телесные проявления, они заключаются иногда в сильном сокращении мышц (например, в момент испуга или гнева), и во многих случаях нелегко провести резкую грань между описанием эмоционального процесса и инстинктивной реакции, которые могут быть вызваны тем же объектом. К какой главе следует отнести явление страха — к главе об инстинктах или к главе об эмоциях? Куда следует отнести любопытство, соревнование и т. п.? С научной точки зрения это безразлично, следовательно, мы должны для решения этого вопроса руководствоваться одними практическими соображениями. Как чисто внутренние душевные состояния, эмоции совершенно не поддаются описанию. Кроме того, такого рода описание было бы излишним, ибо читателю эмоции как чисто душевные состояния и без того хорошо известны. Мы можем только описать их отношение к вызывающим их объектам и реакции, сопровождающие их. Каждый объект, воздействующий на какой-нибудь инстинкт, способен вызвать и эмоцию. Вся разница здесь в том, что так называемая эмоциональная реакция не выходит за пределы тела субъекта, а так называемая инстинктивная реакция может идти дальше и вступать на практике во взаимные отношения с вызывающим ее объектом. И в инстинктивных, и в эмоциональных процессах простое воспоминание о данном объекте или образ его могут быть достаточными для возникновения реакции. Человек может даже приходить в большую ярость, думая о нанесенном ему оскорблении, чем непосредственно испытывая его на себе, и после смерти матери может питать к ней больше нежности, чем при ее жизни. Во всей этой главе я буду пользоваться выражением объект эмоции, применяя его как к тому случаю, когда этим объектом служит реальный предмет, так и к тому, когда таким объектом служит воспроизведенное представление.

Разнообразие эмоций бесконечно велико. Гнев, страх, любовь, ненависть, радость, печаль, стыд, гордость и различные оттенки их могут быть названы наиболее грубыми формами эмоций, тесно связанными с относительно сильным телесным возбуждением. Более утонченные эмоции — моральные, интеллектуальные и эстетические чувствования, с которыми обыкновенно связаны значительно менее сильные телесные возбуждения. Объекты эмоций можно описывать без конца. Бесчисленные оттенки каждой из них незаметно переходят один в другой и отчасти отмечаются в языке синонимами (например, ненависть, антипатия, вражда, злоба, нерасположение, отвращение, мстительность, неприязнь, омерзение и т. д.).

Различие между ними указано в словарях синонимов и в курсах психологии; во многих немецких руководствах по психологии главы об эмоциях представляют собой просто словари синонимов. Но для плодотворной разработки того, что уже само по себе очевидно, есть известные границы, и в результате множества трудов в указанном направлении чисто описательная литература по этому вопросу, начиная от Декарта и до наших дней, представляет самый скучный отдел психологии. Мало того, изучая его, вы чувствуете, что подразделения эмоций, предлагаемые психологами, в огромном большинстве случаев простые фикции и претензии их на точность терминологии совершенно неосновательны. К несчастью, подавляющее число психологических исследований эмоций чисто описательного характера.

В романах мы читаем описания эмоций, чтобы переживать их вместе с героями. Мы знакомимся с объектами и обстоятельствами, вызывающими эмоции, а потому всякая тонкая черта самонаблюдения, украшающая ту или другую страницу романа, немедленно находит в нас отголосок чувства. Классические литературно-философские произведения, написанные в виде афоризмов, также проливают свет на нашу эмоциональную жизнь и, волнуя наши чувства, доставляют нам наслаждение. Что касается «научной психологии» чувствований, то, должно быть, я испортил себе вкус, знакомясь в слишком большом количестве с классическими произведениями на эту тему, но только я предпочел бы читать словесные описания размеров скал в Нью-Гэмпшире, чем снова перечитывать эти психологические произведения. В них нет никакого плодотворного руководящего начала, никакой основной точки зрения. Эмоции различаются и оттеняются в них до бесконечности, но вы не найдете в этих работах никаких логических обобщений. А между тем вся прелесть истинно научного труда заключается в постоянном углублении логического анализа. Неужели при анализе эмоций невозможно подняться над уровнем конкретных описаний? Я думаю, что есть вывод из области таких конкретных описаний, стоит только сделать усилия, чтобы найти его.

Причина разнообразия эмоций. Затруднения, возникающие в психологии при анализе эмоций, проистекают, мне кажется, оттого, что их слишком привыкли рассматривать как абсолютно обособленные друг от друга явления. Пока мы будем рассматривать каждую из них как какую-то вечную, неприкосновенную духовную сущность наподобие видов, считавшихся когда-то в биологии неизменными сущностями, до тех пор мы можем только почтительно составлять каталоги различных особенностей эмоций, их степеней и действий, вызываемых ими. Если же мы станем их рассматривать как продукты более общих причин (например, в биологии различие видов рассматривается как продукт изменчивости под влиянием окружающих условий и передачи приобретенных изменений путем наследственности), то установление различий и классификация приобретут значение простых вспомогательных средств. Если у нас уже есть гусыня, несущая золотые яйца, то описывать в отдельности каждое снесенное яйцо — дело второстепенной важности. На немногих последующих страницах я, ограничиваясь на первых порах так называемыми грубыми формами эмоций, укажу на одну причину эмоций, причину весьма общего свойства.

Чувствование в грубых формах эмоции есть результат ее телесных проявлений. Обыкновенно принято думать, что в грубых формах эмоции психическое впечатление, воспринятое от данного объекта, вызывает в нас душевное состояние, называемое эмоцией, а последняя влечет за собой известное телесное проявление. Согласно моей теории, наоборот, телесное возбуждение следует непосредственно за восприятием вызвавшего его факта и осознание нами этого возбуждения в то

время, как оно совершается, и есть эмоция.

Обычно выражаются следующим образом: мы потеряли состояние, огорчены и плачем; мы повстречались с медведем, испуганы и обращаемся в бегство; мы оскорблены врагом, приведены в ярость и наносим ему удар. Согласно защищаемой мною гипотезе, порядок событий должен быть несколько иным, а именно: первое душевное состояние не сменяется немедленно вторым. Между ними должны находиться телесные проявления. И потому наиболее рационально выражаться так: мы опечалены, потому что плачем; приведены в ярость, потому что бьем другого; боимся, потому что дрожим, а не говорить: мы плачем, бьем, дрожим, потому что опечалены, приведены в ярость, испуганы. Если бы телесные проявления не следовали немедленно за восприятием, то последнее было бы по форме чисто познавательным актом, бледным, лишенным колорита и эмоциональной теплоты. Мы в таком случае могли бы увидеть медведя и решить, что всего лучше обратиться в бегство, могли бы понести оскорбление и найти справедливым отразить удар, но мы не ощущали бы при этом страха или негодования.

Высказанная в столь грубой форме гипотеза может немедленно дать повод к сомнениям. А между тем, для того чтобы умалить ее, по-видимому, парадоксальный характер и, быть может, даже убедиться в ее истинности, нет надобности прибегать к многочисленным и отдаленным соображениям. Прежде всего обратим внимание на то, что каждое восприятие путем какого-то физического воздействия оказывает на наш организм широко распространяющееся действие, предшествующее возникновению у нас эмоции или эмоционального образа. Слушая стихотворение, драму, героическую повесть, мы нередко с удивлением замечаем, что по нашему телу пробегает неожиданно, как волна, дрожь или сердце наше стало сильнее биться, а из глаз внезапно полились слезы. То же самое в еще более осязательной форме наблюдается при слушании музыки. Если мы, гуляя в лесу, вдруг замечаем что-то темное,двигающееся, наше сердце перестает биться и мы задерживаем дыхание мгновенно, не успев еще образовать в голове никакой определенной идеи об опасности. Если наш добрый знакомый подходит близко к пропасти, мы начинаем испытывать знакомое чувство беспокойства и отступаем назад, хотя хорошо знаем, что он вне опасности. <...>

Лучшее доказательство того, что непосредственной причиной эмоций является физическое воздействие внешних раздражений на нервы, представляют патологические случаи, когда для эмоций нет соответствующего объекта. Одно из главных преимуществ моей точки зрения на эмоции заключается в том, что при помощи ее мы можем подвести и патологические, и нормальные случаи эмоций под общую схему. Во всяком доме сумасшедших мы встречаем образцы ничем не мотивированного гнева, страха, меланхолии или мечтательности, а также апатии, которая упорно продолжается, несмотря на решительное отсутствие каких бы то ни было побудительных внешних причин. В первом случае мы должны предположить, что нервный механизм сделался столь восприимчивым к известным эмоциям, что почти всякий стимул, даже самый неподходящий, служит достаточной причиной, чтобы вызвать определенное нервное возбуждение и тем породить своеобразный комплекс чувствований, данную эмоцию. Так, если кто-то испытывает одновременно неспособность глубоко дышать, ощущает биение сердца, своеобразную перемену в функциях пневмогастрического нерва, называемую сердечной тоской, стремление принять неподвижное распростертое положение и, сверх того, еще другие неисследованные процессы во внутренностях, то общая комбинация этих явлений порождает в нем чувство страха и он становится жертвой хорошо знакомого некоторым смертельного испуга.

Мой знакомый, испытывавший припадки этой ужаснейшей болезни, рассказывал, что у него центром душевных страданий были сердечная область и дыхательный аппарат, что главное усилие его побороть припадок заключалось в контролировании дыхания и замедлении сердцебиения и что страх исчезал, как только ему удавалось глубоко вздохнуть и выпрямиться. Здесь эмоция есть просто ощущение телесного состояния и причиной своей имеет чисто физиологический процесс.

Далее, обратим внимание на то, что всякая телесная перемена, какова бы она ни была, отчетливо или смутно ощущается нами в момент появления. Если читатель до сих пор не обращал внимания на это

обстоятельство, то он может с интересом и удивлением заметить, как много ощущений в различных частях тела являются характерными признаками, сопровождающими те или другие эмоциональные состояния его духа. Нет оснований ожидать, что читатель ради столь курьезного психологического анализа будет задерживать в себе самонаблюдением порывы увлекательной страсти, но он может проследить за эмоциями, происходящими в нем при более спокойных состояниях духа, и выводы, справедливые относительно слабых степеней эмоции, могут быть распространены на те же эмоции при большей интенсивности.

Во всем объеме, занимаемом телом, мы при эмоции испытываем очень живо разнородные ощущения, от каждой части нашего тела в сознание проникают различные чувственные впечатления, из которых складывается чувство личности, постоянно сознаваемое человеком. Удивительно, какие незначительные поводы вызывают нередко в сознании эти комплексы чувствований. Будучи хотя бы в самой слабой степени огорчены чем-нибудь, мы можем заметить, что наше душевное состояние физиологически всегда выражается главным образом сокращением глаз и мышц бровей. При неожиданном затруднении мы испытываем какую-то неловкость в горле, которая заставляет нас сделать глоток, прочистить горло и кашлянуть слегка; аналогичные явления наблюдаются во множестве других случаев.

Благодаря разнообразию комбинаций, в которых встречаются органические изменения, сопровождающие эмоции, можно сказать, что всякий оттенок в его целом имеет для себя особое физиологическое проявление, которое так же уникально, как самый оттенок эмоции. Огромное число отдельных частей тела, подвергающихся изменению при данной эмоции, делает столь трудным для человека в спокойном состоянии воспроизвести внешние проявления любой эмоции. Мы можем воспроизвести соответствующую данной эмоции игру мышц произвольного движения, но не можем произвольно вызвать надлежащее возбуждение в коже, железах, сердце и внутренностях. Подобно тому как в искусственном чихании недостает чего-то по сравнению с настоящим, так точно не производит полной иллюзии искусственное воспроизведение печали или энтузиазма при отсутствии надлежащих поводов для возникновения соответствующих настроений.

Теперь я хочу приступить к изложению самого важного пункта моей теории, который заключается в следующем. Если мы представим себе какую-нибудь сильную эмоцию и попытаемся мысленно вычитать из этого состояния нашего сознания одно за другим все ощущения связанных с ней телесных симптомов, то в конце концов от данной эмоции ничего не останется, никакого «психического материала», из которого она могла бы образоваться. В результате получится холодное, безразличное состояние чисто интеллектуального восприятия. Большинство лиц, которых я просил проверить мое положение путем самонаблюдения, вполне соглашались со мной, но некоторые упорно продолжали утверждать, что их самонаблюдение не оправдывает этой гипотезы. Многие не могут только понять самого вопроса. Например, просишь их устранить из сознания всякое чувство смеха и всякую склонность к смеху при виде смешного предмета и потом сказать, в чем будет тогда заключаться его смешная сторона, не останется ли в сознании простое восприятие предмета, принадлежащего к классу «смешных». На это они упорно отвечают, что такое физически невозможно и что они всегда вынуждены смеяться, видя смешной предмет. Между тем предложенная задача заключалась не в том, чтобы, глядя на смешной предмет, на самом деле уничтожить в себе всякое стремление к смеху. Это задача чисто спекулятивного характера, сводится она к мысленному устранению некоторых чувственных элементов из эмоционального состояния, взятого в его целом, и к определению того, каковы бы были в таком случае остаточные элементы.

Я не могу отрешиться от мысли, что всякий, кто ясно понял поставленный вопрос, согласится с высказанным мной выше положением. Я совершенно не могу вообразить, что за эмоция страха останется в нашем сознании, если устранить из него чувства, связанные с усиленным сердцебиением, коротким дыханием, дрожью губ, с расслаблением членов, «гусиной» кожей и возбуждением во внутренностях. Может ли кто-нибудь представить себе состояние гнева и вообразить при этом тотчас же не волнение в груди, прилив крови к лицу, расширение ноздрей, стискивание зубов и стремление к

энергичным поступкам, а, наоборот, расслабленные мышцы, ровное дыхание и спокойное лицо? Автор по крайней мере, безусловно, не может этого сделать. В данном случае, по его мнению, гнев должен совершенно отсутствовать как чувство, связанное с известными наружными проявлениями, и можно предположить, что в остатке получится только спокойное, бесстрастное суждение, всецело принадлежащее интеллектуальной области: известное лицо заслуживает наказания.

То же рассуждение применимо и к эмоции печали; что такое была бы печаль без слез, рыданий, задержки сердцебиения, тоски, сопровождаемой особым ощущением под ложечкой! Лишенное чувственного тона признание того факта, что известные обстоятельства весьма печальны, — и больше ничего. То же самое обнаруживается при анализе любой другой страсти. Человеческая эмоция, лишенная всякой телесной подкладки, есть пустой звук. Я не утверждаю, что такая эмоция есть нечто, противоречащее природе вещей и что чистые духи осуждены на бесстрастное интеллектуальное бытие; я хочу только сказать, что для нас эмоция, отрешенная от всяких телесных чувствований, есть нечто непредставимое. Чем более я анализирую мои душевные состояния, тем более убеждаюсь, что грубые страсти и увлечения, испытываемые мною, в сущности, создаются и вызываются теми телесными переменами, которые мы обыкновенно называем их проявлениями или результатами; и тем более мне начинает казаться вероятным, что, сделайся мой организм анестетичным (нечувствительным), жизнь аффектов, как приятных, так и неприятных, станет для меня совершенно чуждой и мне придется влачить существование чисто познавательного, или интеллектуального, характера. Хотя такое существование и казалось идеалом для древних мудрецов, но для нас, отстоящих всего на несколько поколений от философской эпохи, выдвинувшей на первый план чувственность, оно должно казаться слишком апатичным, безжизненным, чтобы к нему стоило так упорно стремиться.

Моя точка зрения не может быть названа материалистической. В ней не больше и не меньше материализма, чем во всяком взгляде, согласно которому эмоции обусловлены нервными процессами. Ни один из читателей моей книги не возмутится против этого положения, пока оно высказано в общей форме, и если в этом положении кто-нибудь все-таки усмотрит материализм, то только имея в виду те или другие частные виды эмоций. Эмоции суть чувственные процессы, которые обусловлены внутренними нервными токами, возникающими под влиянием внешних раздражений. Такие процессы, правда, всегда рассматривались платонизирующими психологами как явления, связанные с чем-то чрезвычайно низменным. Но каковы бы ни были физиологические условия образования наших эмоций, сами по себе, как душевное явление, они все равно должны остаться тем, что они есть. Если они глубокие, чистые, ценные по значению психические факты, то, с точки зрения любой физиологической теории, касающейся их происхождения, они останутся все теми же глубокими, чистыми, ценными для нас по значению, каковыми они являются с точки зрения нашей теории. Они заключают в самих себе внутреннюю меру своего значения, и доказывать при помощи предлагаемой теории эмоций, что чувственные процессы не должны непременно отличаться низменным, материальным характером, так же логически несообразно, как опровергать нашу теорию, ссылаясь на то, что она ведет к низменному материалистическому истолкованию явлений эмоции.

Предлагаемая точка зрения объясняет удивительное разнообразие эмоций. Если моя теория верна, го каждая эмоция есть результат соединения в один комплекс психических элементов, из которых каждый обусловлен определенным физиологическим процессом. Составные элементы, из которых складывается всякая перемена в организме, есть результат рефлекса, вызванного внешним раздражителем. Отсюда немедленно возникает ряд вопросов, которые резко отличаются от всяких вопросов, предлагаемых представителями других теорий эмоций. С их точки зрения, единственно возможными задачами при анализе эмоций были классификация («К какому роду или виду принадлежит данная эмоция?») или описание («Какими внешними проявлениями характеризуется данная эмоция?»). Теперь же дело идет о выяснении причин эмоций («Какие именно модификации вызывает в нас тот или другой объект и почему он вызывает в нас именно те, а не другие модификации?»).

От поверхностного анализа эмоций мы переходим, таким образом, к более глубокому исследованию, к исследованию высшего порядка. Классификация и описание суть низшие ступени в развитии науки. Как только выходит на сцену вопрос о причинной связи в данной научной области, классификация и описание отступают на второй план и сохраняют значение лишь настолько, насколько облегчают нам исследование причинной связи. Раз мы выяснили, что причиной эмоций являются бесчисленные рефлекторные акты, возникающие под влиянием внешних объектов и немедленно осознаваемые нами, то нам тотчас становится понятным, почему может существовать бесчисленное множество эмоций и почему у отдельных индивидов они могут неопределенно варьировать и по составу, и по мотивам, вызывающим их. Дело в том, что в рефлекторном акте нет ничего неизменного, абсолютного. Возможны весьма различные действия рефлекса, и эти действия, как известно, варьируют до бесконечности.

Короче говоря, любая классификация эмоций может считаться «истинной» или «естественной», коль скоро она удовлетворяет своему назначению, и вопросы вроде «Каково истинное или типичное выражение гнева и страха?» не имеют никакого объективного значения. Вместо решения подобных вопросов мы должны выяснять, как могла произойти та или другая экспрессия страха или гнева, и это составляет, с одной стороны, задачу физиологической механики, с другой — задачу истории человеческой психики, задачу, которая, как и все научные задачи, по существу, разрешима, хотя и трудно, может быть, найти ее решение. Немного ниже я приведу попытки, которые делались для этого. Дополнительное доказательство в пользу моей теории. Если моя теория справедлива, то она должна подтвердиться следующим косвенным доказательством. Согласно теории, вызывая в себе произвольно при спокойном состоянии духа так называемые внешние проявления той или другой эмоции, мы должны испытывать и саму эмоцию. Предположение это, насколько его можно было проверить опытом, скорее подтверждается, чем опровергается. Всякий знает, до какой степени бегство усиливает паническое чувство страха и как может возрасти чувство гнева или печали, если дать волю их внешним проявлениям. Возобновляя рыдания, мы усиливаем в себе чувство горя, и каждый новый припадок плача еще более вызывает горечь, пока не наступает, наконец, успокоение, обусловленное утомлением и видимым ослаблением физического возбуждения. Всякий знает, как в гневе мы доводим себя до высшей точки возбуждения, воспроизводя несколько раз подряд внешние проявления этой эмоции.

Подавите в себе внешнее проявление страсти и она замрет в вас. Прежде чем отдаться вспышке гнева, попробуйте сосчитать до десяти — и повод к гневу покажется вам до смешного ничтожным. Чтобы придать себе храбрости, мы свистим и тем действительно придаем себе уверенность. Но попробуйте просидеть целый день в задумчивой позе, поминутно вздыхая и отвечая упавшим голосом на расспросы окружающих, и вы тем еще усилите ваше меланхолическое настроение. В нравственном воспитании все опытные люди признали чрезвычайно важным правило: если мы хотим подавить в себе нежелательное эмоциональное влечение, мы должны терпеливо и сначала хладнокровно воспроизводить внешние движения, соответствующие желательным для нас душевным настроениям. Результатом упорных усилий в этом направлении будет то, что злобное, подавленное состояние духа исчезнет и заменится радостным и кротким настроением. Расправьте морщины на челе, проясните взор, выпрямите корпус, заговорите в мажорном тоне, весело приветствуя знакомых, и если у вас не каменное сердце, то вы невольно поддадитесь мало-помалу благодушному настроению.

Против сказанного можно привести тот факт, что, по словам многих актеров, превосходно воспроизводящих голосом, мимикой и телодвижениями внешние проявления эмоций, они при этом не испытывают никаких чувств. Другие, впрочем, согласно свидетельству Арчера, который собрал по этому вопросу среди актеров любопытные статистические сведения, утверждают, что в тех случаях, когда им удавалось хорошо сыграть роль, они переживали все соответствующие эмоции. Это разногласие между артистами объясняется весьма просто. В экспрессии каждой эмоции внутреннее органическое возбуждение может быть у некоторых лиц совершенно подавлено, а вместе с тем в значительной степени ослаблена и сама эмоция; другие же лица не обладают такой способностью.

Актеры, испытывающие во время игры эмоции, не способны, не испытывающие эмоций — способны совершенно диссоциировать и их экспрессию.

Ответ на возможное возражение. Мне могут возразить, что иногда, задерживая проявления эмоции, мы ее усиливаем. Мучительно то состояние духа, которое испытываешь, когда обстоятельства заставляют удержаться от смеха; гнев, подавленный страхом, превращается в сильнейшую ненависть. Наоборот, свободное проявление эмоций дает облегчение. Возражение это скорее кажущееся, чем реально обоснованное. Во время экспрессии эмоция всегда чувствуется. После экспрессии, когда в нервных центрах совершился нормальный разряд, мы более не испытываем эмоции. Но когда экспрессия в мимике подавлена, внутреннее возбуждение в груди и животе может проявляться с большей силой, как, например, при подавленном смехе; иногда эмоция вследствие комбинации вызывающего ее объекта с задерживающим ее влиянием перерождается в совершенно другую эмоцию, которая, быть может, сопровождается иным и более сильным органическим возбуждением. Если бы я хотел убить врага, но не осмелился сделать этого, моя эмоция была бы совершенно иной, чем та, которая овладела бы мной в случае, когда бы я осуществил свое желание. В общем это возражение несостоятельно.

Более тонкие эмоции. В эстетических эмоциях телесное возбуждение и интенсивность ощущений могут быть слабы. Эстет может спокойно, без всякого телесного возбуждения, чисто интеллектуальным путем, оценить художественное произведение. Однако произведения искусства могут вызывать чрезвычайно сильные эмоции, и в этих случаях опыт вполне гармонирует с нашими теоретическими положениями. Согласно моей теории, основными источниками эмоции являются центростремительные токи. В эстетических восприятиях (например, музыкальных) главную роль играют центростремительные токи независимо от того, возникают ли наряду с ними внутренние органические возбуждения или нет. Само произведение искусства представляет объект ощущения, и поскольку эстетическое восприятие есть объект непосредственно грубого, живо испытываемого ощущения, постольку и связанное с ним эстетическое наслаждение грубо и ярко.

Я не отрицаю, что могут быть тонкие наслаждения, иначе говоря, могут быть эмоции, обусловленные исключительно возбуждением центров совершенно независимо от центростремительных токов. К таким чувствованиям можно отнести чувство нравственного удовлетворения, благодарности, любопытства, облегчения после решения задачи. Но слабость и бледность этих чувствований, когда они не связаны с телесными возбуждениями, весьма резко контрастируют с более грубыми эмоциями. У лиц, одаренных чувствительностью и впечатлительностью, тонкие эмоции всегда бывают связаны с телесным возбуждением: нравственная справедливость отражается в звуках голоса или в выражении глаз и т. п. То, что мы называем восхищением, всегда связано с телесным возбуждением, хотя мотивы, вызвавшие его, могли быть чисто интеллектуального характера. Если ловкое доказательство или блестящая острота не вызывают в нас настоящего смеха, если мы не испытываем телесного возбуждения при виде справедливого или великодушного поступка, то наше душевное состояние едва ли можно назвать эмоцией. Фактически здесь происходит просто интеллектуальное восприятие явлений, которые относятся нами к группе ловких, остроумных или справедливых, великодушных и т. д. Подобные состояния сознания, заключающие в себе простое суждение, следует отнести скорее к познавательным, чем к эмоциональным душевным процессам.

Описание страха. На основании соображений, высказанных мной на с. 273, я не стану приводить здесь никакого перечисления эмоций, никакой классификации и никакого описания их симптомов. Почти все это читатель может вывести из самонаблюдения и наблюдения за окружающими. Впрочем, как образец лучшего описания симптомов эмоции я приведу дарвиновское описание страха: «Страху нередко предшествует изумление и так тесно бывает с ним связано, что оба немедленно оказывают действие на чувства зрения и слуха. В обоих случаях глаза и рот широко раскрываются, брови приподнимаются. Испуганный человек в первую минуту останавливается как вкопанный, задерживая дыхание и оставаясь неподвижным, или пригибается к земле, как бы стараясь инстинктивно остаться незамеченным. Сердце бьется быстро, с силою ударяясь в ребра, хотя крайне сомнительно, чтобы оно

при этом работало более усиленно, чем обыкновенно, посылая больший против обыкновенного приток крови ко всем частям тела, так как кожа при этом мгновенно бледнеет, как перед наступлением обморока. Мы можем убедиться в том, что чувство сильного страха оказывает значительное влияние на кожу, обратив внимание на удивительное мгновенно наступающее при этом выделение пота. Потоотделение тем замечательнее, что поверхность кожи при этом холодна (откуда возникло и выражение «холодный пот»), между тем как при нормальном выделении пота из потовых желез поверхность кожи бывает горяча. Волосы на коже становятся при этом дыбом, и поверхностные мышцы начинают дрожать. В связи с нарушением нормального порядка в деятельности сердца дыхание становится учащенным. Слюнные железы перестают правильно действовать, рот высыхает и часто то открывается, то снова закрывается. Я заметил также, что при легком испуге является сильное желание зевать. Одним из наиболее характерных симптомов страха является дрожание всех мышц тела, нередко оно прежде всего замечается на губах. Вследствие этого, а также вследствие сухости рта голос становится сиплым, глухим, а иногда и совершенно пропадает (*obstupui steteruntque comae et vox faucibus haesit*). <...> Когда страх возрастает до агонии ужаса, мы получаем новую картину эмоциональных реакций. Сердце бьется совершенно беспорядочно, останавливается, и наступает обморок: лицо покрыто мертвенной бледностью; дыхание затруднено, крылья ноздрей широко раздвинуты, губы конвульсивно двигаются, как у человека, который задыхается, впалые щеки дрожат, в горле происходит глотание и вдыхание, выпученные, почти не покрытые веками глаза устремлены на объект страха или безостановочно вращаются из стороны в сторону (*hue illuc volvens oculos totumque pererrat*). Говорят, что зрачки при этом бывают непомерно расширены. Все мышцы коченеют или приходят в конвульсивные движения, кулаки попеременно то сжимаются, то разжимаются, нередко эти движения бывают судорожными. Руки бывают или простерты вперед, или могут беспорядочно охватывать голову. Гагенауэр видел этот последний жест у испуганного австралийца. В других случаях появляется внезапное неудержимое стремление обратиться в бегство, это стремление бывает столь сильно, что самые храбрые солдаты могут быть охвачены внезапной паникой» («Origin of the Emotions»).

Происхождение эмоциональных реакций. Каким путем различные объекты, вызывающие эмоцию, порождают в нас определенные виды телесного возбуждения? Этот вопрос поднят весьма недавно, но были уже сделаны с тех пор интересные попытки ответить на него. Некоторые виды экспрессии можно рассматривать как повторение в слабой форме движений, которые прежде (когда еще они выражались в более резкой форме) были полезны для индивида. Другие виды экспрессии можно считать воспроизведением в слабой форме движений, которые при иных условиях являлись необходимыми физиологическими дополнениями полезных движений. Примером подобных эмоциональных реакций при гневe или страхе может служить прерывистость дыхания, которая представляет, так сказать, органический отголосок, неполное воспроизведение того состояния, когда человеку приходилось действительно тяжело дышать в борьбе с врагом или в стремительном бегстве. Таковы по крайней мере догадки Спенсера по этому вопросу, догадки, подтвержденные со стороны других ученых. Спенсер также, насколько мне известно, первым высказал предположение, что другие движения при страхе и гневe можно рассматривать в качестве рудиментарных движений, которые первоначально были полезными.

«Испытывать в слабой степени, — говорит он, — психические состояния, сопровождающие получение ран или обращение в бегство, — значит, чувствовать то, что мы называем страхом. Испытывать в слабой степени душевные состояния, связанные со схватыванием добычи, убиванием и съедением ее, все равно что желать схватить добычу, убить и съесть. <...> Сильный страх выражается криком, стремлением к бегству, сердечным трепетом, дрожью, — словом, симптомами, сопровождающими действительные страдания, испытываемые от объекта, который внушает нам страх. Страсти, связанные с разрушением, уничтожением чего-нибудь, выражаются в общем напряжении мышечной системы, в скрежете зубами, выпускании когтей, расширении глаз и фыркании — все это слабые проявления тех действий, которыми сопровождается убивание добычи. К этим объективным данным

всякий может прибавить из личного опыта немало фактов, значение которых так же понятно. Каждый может на самом себе убедиться, что душевное состояние, вызываемое страхом, заключается в представлении некоторых неприятных явлений, ожидающих нас впереди, и что душевное состояние, вызываемое гневом, заключается в представлении действий, связанных с причинением кому-нибудь страдания».

Принцип переживания в слабой форме реакций, полезных для нас при более резком столкновении с объектом данной эмоции, нашел себе немало приложений в опыте. Такие мелкие детали, как оскаливание зубов, обнажение верхних зубов, сжимание рта на сторону, рассматриваются Дарвином как нечто унаследованное нами от предков, которые имели большие глазные зубы (клыки) и при нападении на врага оскаливали их (как это делают собаки). Подобным же образом, согласно Дарвину, поднятие бровей при направлении внимания на что-нибудь внешнее, раскрытие рта при изумлении обусловлены полезностью этих движений. Поднятие бровей связано с открыванием глаз, чтобы лучше видеть, раскрытие рта — с напряженным слушанием и быстрым вдыханием воздуха, обыкновенно предшествующим мышечным напряжениям. По Спенсеру, расширение ноздрей при гневе есть остаток действий, к которым прибегали наши предки, вдыхая носом воздух во время борьбы, когда они захватывали зубами часть тела противника (!). Дрожь во время страха, по мнению Мантегацца, имеет своим назначением разогревание крови (!). Вундт полагает, что покраснение лица и шеи есть процесс, уравнивающий давление на мозг крови, приливающей к голове вследствие внезапного возбуждения сердца.

Вундт и Дарвин утверждают, что то же назначение имеют слезы: вызывая прилив крови к лицу, они отвлекают ее от мозга. Сокращение мышц около глаз, которое в детстве предохраняет глаза от чрезмерного прилива крови во время крика у ребенка, сохраняется у взрослых в виде нахмуривания бровей, которые всегда немедленно хмурятся, когда мы сталкиваемся с чем-нибудь неприятным или трудным. «Так как привычка хмуриться перед каждым припадком крика или плача поддерживалась у детей в течение бесчисленного ряда поколений, — говорит Дарвин, — то она прочно ассоциировалась с чувством наступления чего-то бедственного или неприятного. Затем при аналогичных условиях она возникла и в зрелом возрасте, хотя никогда не доходила до припадков плача. Крик и плач мы начинаем произвольно подавлять в ранний период жизни, от склонности же хмуриться едва ли можно когда-либо отучиться».

Другой принцип, которому Дарвин, по-видимому, не отдает полной справедливости, может быть назван принципом аналогичного реагирования на аналогичные чувственные стимулы. Есть целый ряд определений, которые мы употребляем в качестве метафор, говоря о впечатлениях, принадлежащих различным чувственным областям: опытные впечатления всевозможных классов могут быть сладки, богаты или прочны, ощущения всех классов могут быть остры. Согласно с этим Вундт и Пидерит рассматривают многие из наиболее выразительных реакций на моральные мотивы как символически употребляемые выражения вкусовых впечатлений. Наше отношение к впечатлениям, имеющим аналогию с ощущениями сладкого, горького, кислого, выражается в движениях, сходных с теми, которыми мы передаем соответствующие вкусовые впечатления. «Все душевные состояния, которые язык метафорически обозначает горькими, терпкими, сладкими, характеризуются мимическими движениями рта, представляющими аналогию с выражением соответствующих вкусовых впечатлений. Аналогичная мимика наблюдается в выражениях отвращения и довольства. Выражение отвращения есть начальное движение для извержения рвоты; выражение довольства аналогично улыбке человека, сосущего что-нибудь сладкое или пробующего что-нибудь губами.

Обычный жест отрицания — вращение головы из стороны в сторону около ее оси — есть остаток того движения, которое обыкновенно производят дети, чтобы воспрепятствовать чему-нибудь неприятному проникнуть им в рот, и которое можно постоянно наблюдать в детской. Это движение возникает у нас в случае, когда стимулом является даже простая идея о чем-нибудь неблагоприятном. Подобным же образом утвердительное кивание головы представляет аналогию с нагибанием ее для принятия пищи. У женщин аналогия между движениями, связанными вполне определенно

первоначально с обонянием, и выражением морального и социального презрения и антипатии настолько очевидна, что не требует пояснений. При удивлении и испуге мы мигаем, хотя для глаз наших нет никакой опасности; отворачивание глаз на мгновение может служить вполне надежным симптомом того, что ваше предложение пришлось не по вкусу данному лицу и вас ожидает отказ». Этих примеров достаточно для того, чтобы показать, что такие движения экспрессивны по аналогии. Но если некоторые из наших эмоциональных реакций можно объяснить при помощи двух указанных нами принципов (а читатель, наверное, уже успел убедиться, как проблематично и искусственно при этом объяснение весьма многих случаев), то все-таки остается много эмоциональных реакций, которые вовсе нельзя объяснить и они должны рассматриваться нами в настоящее время как чисто идиопатические реакции на внешние раздражения. Сюда относятся своеобразные явления, происходящие во внутренностях и внутренних железах, сухость во рту, понос и рвота при сильном страхе, обильное выделение мочи при возбуждении крови и сокращение мочевого пузыря при испуге, зевание при ожидании, ощущение «куска в горле» при сильной печали, щекотание в горле и усиленное глотание в затруднительном положении, «сердечная тоска» при боязни, холодное и горячее местное и общее выделение пота, краснота кожи, а также некоторые иные симптомы, которые хотя и существуют, вероятно, но еще недостаточно отчетливо выделены среди других и не получили особого названия. По мнению Спенсера и Мантегацца, дрожь, наблюдаемая не только при страхе, но и при многих других возбуждениях, есть явление чисто патологическое. Таковы и другие сильные симптомы ужаса — они вредны для существа, испытывающего их. В таком сложном образовании, как нервная система, должно существовать много случайных реакций, эти реакции не могли бы развиваться совершенно самостоятельно благодаря одной лишь пользе, которую они смогли представлять для организма. Морская болезнь, боязнь щекотки, застенчивость, любовь к музыке, склонность к различным опьяняющим напиткам должны были возникнуть случайным путем. Было бы нелепо утверждать, что ни одна из эмоциональных реакций не могла бы возникнуть таким мнимым случайным путем.

Глава XXV

Инстинкт

Что такое инстинкт? Обыкновенно инстинкт определяют как способность действовать целесообразно, но без сознательного предвидения цели и без предварительной выучки производить данное действие. Инстинкты находятся в функциональной связи с нашей организацией. Можно сказать, что каждый орган связан с известным прирожденным приспособлением, необходимым для его применения к делу. Все действия, называемые нами инстинктивными, можно подвести под общий тип рефлекса; все они вызываются воздействием чувственного раздражения на тело животного на расстоянии или через непосредственное прикосновение. Кошка бежит за мышью, но обращается в бегство или принимает оборонительное положение при виде собаки, остерегается падать со стен или с деревьев, избегает огня и воды и т. д. не потому, что имеет какие-либо понятия о жизни и смерти, о личности и самосохранении. По всей вероятности, в ее уме не настолько выработались эти понятия, чтобы быть известными руководящими принципами. В каждом отдельном случае кошка руководствуется лишь непосредственными впечатлениями, и руководствуется совершенно произвольно. Она уж так организована, что чуть завидит нечто бегущее, называемое мышью, сейчас же должна броситься за этим существом; встретится со страшным лающим животным, называемым собакой, сейчас же должна обратиться в бегство, если собака находится в некотором отдалении, или ошетиниться и выпустить когти, если собака — в нескольких шагах; она должна остерегаться попасть лапой в воду или мордой в огонь. Нервная система кошки представляет предорганизованный комплекс реакций — эти реакции так же механически predetermined, как чихание, и находятся совершенно в таком же отношении к вызывающим их раздражениям, как и это последнее. Хотя физиолог и имеет право рассматривать эти реакции как частный случай простых рефлексов, однако он не должен забывать, что в животном они

вызываются определенным чувственным впечатлением, восприятием или образом.

На первый взгляд такая точка зрения должна показаться странной, так как она предполагает заранее заложенным в организацию животного множество приспособлений к тем объектам, среди которых ему предстоит жить. Может ли идти так далеко и быть столь сложным взаимное приспособление организации животного и окружающей обстановки? Неужели каждое существо рождается приспособленным к определенным объектам подобно тому, как ключи бывают приноровлены к замкам? Все это, без сомнения, необходимо допустить. Каждый уголок Вселенной, даже наша кожа и внутренности заполнены живыми существами, органы которых приспособлены к окружающим условиям, к поглощению и перевариванию находящейся там пищи и к самозащите в случае опасности, какая там может встретиться. И тонкость приспособления в строении животного беспредельна. Так же беспредельна приспособленность во взаимных отношениях живых существ.

Старинные сочинения об инстинкте представляют бессодержательный набор слов, потому что их авторы никогда не доходили до этой простой и определенной точки зрения на данный предмет, высказывая в туманных выражениях изумление перед способностями животных к ясновидению и пророческим предчувствиям, далеко превосходящим умственные силы человека, и прославляя благодеяние Бога, сообщившего им такой дар. Но первое благодеяние Бога по отношению к животным заключается в том, что он их одарил нервной системой, и если мы обратим внимание на это обстоятельство, то окажется, что инстинкт — явление удивительное ровно настолько, насколько удивительны все вообще явления жизни.

Всякий инстинкт есть импульс. Спорить о том, следует ли называть инстинктами такие импульсы, как покраснение, чихание, кашель, улыбка и т. п., значило бы спорить о словах. И там, и тут психологический процесс совершенно тождественный. Шнейдер в высшей степени живо и интересно написанной книге «Der Thierische Wille» подразделяет импульсы (Friebe) на чувственные, предметные и идейные. Наклонность ежиться от холода есть чувственный импульс; стремление повернуться при виде бегущих и бежать за ними — предметный импульс, связанный с восприятием внешних объектов; стремление искать кров во время ветра и дождя — идейный. Отдельное сложное инстинктивное действие может заключать в себе последовательное пробуждение всех импульсов. Так, голодный лев начинает искать добычу вследствие возникновения в нем образа добычи в связи с желанием овладеть ею; он начинает выслеживать ее, когда до его носа, уха или глаза доходит чувственное впечатление, указывающее на то, что добыча находится на некотором расстоянии; он набрасывается на нее, если она в испуге обращается в бегство или если расстояние от нее очень невелико; он принимается разрывать и пожирать ее, когда его зубы и когти прикасаются к ней. Выискивание, выслеживание, нападение и пожирание соответствуют четырем различного рода комплексам мышечных сокращений, и каждый из этих комплексов вызывается особыми, только ему одному соответствующими раздражениями.

Почему же различные животные производят действия, которые кажутся нам столь странными и возникают, по-видимому, под влиянием столь несоответствующих стимулов? Почему, например, курица обрекает себя на скуку, принимаясь высиживать яйца, по-видимому, в крайне непривлекательном для нее гнезде? Неужели потому, что она обладает пророческим предвидением результатов высиживания? Мы можем дать на это ответ лишь *ad hominem* — сообразуясь с нашей собственной психикой. Почему мы предпочитаем обыкновенно ложиться на мягкие постели, а не на голый пол? Почему, находясь в комнате, мы из 100 раз 99 норовим быть лицом к середине комнаты, а не к стене? Почему мы предпочитаем порцию баранины с бутылкой шампанского куску твердого сухаря с грязной водой? Почему известная барышня так увлекает собой молодого человека, что для него всё, относящееся к ней, становится дороже всего на свете?

На это можно только сказать, что таковы человеческие влечения и каждое существо имеет свои влечения и без всяких рассуждений руководствуется ими в своих поступках. Можно анализировать влечения с научной точки зрения и найти, что почти все они полезны для данного существа. Но мы следуем им, не имея в виду их полезности, но чувствуя, что это единственный присущий нам от

природы образ действия. Из биллиона людей не найдется и одного, который, садясь за обед, принимался бы размышлять о пользе кушаний. Люди едят, потому что пища приятна на вкус и вызывает желание продолжать есть. Если вы кого-нибудь спросите, почему он ест то, что имеет такой именно вкус, а не иной, то он не отнесется к вам как к мудрецу, заслуживающему уважения, а осмеет вас как глупца. Связь между определенными вкусовыми ощущениями и вызываемыми ими действиями представляет нечто само собой понятное (*selbstverstandlich*), как бы априорный синтез, не нуждающийся в дальнейшем объяснении. Надо, чтобы у человека, по выражению Беркли, зашел ум за разум от излишней учености и тогда он усмотрит в естественнейших процессах нечто странное и станет задаваться вопросом, почему люди производят такие, а не иные инстинктивные действия. Метафизик способен ставить вопросы вроде следующих: «Почему мы улыбаемся, а не хмуримся, когда веселы? Почему мы не можем с толпой говорить так спокойно, как со своим приятелем? Почему именно та, а не другая барышня сводит нас с ума?» Простой смертный может одно только ответить метафизику: «Само собой понятно, отчего мы улыбаемся, отчего наше сердце начинает биться, когда мы обращаемся к толпе, отчего каждый из нас увлекается той, а не другой барышней и видит в ней чудную душу в прелестной телесной оболочке, существо, которое самой природой очевиднейшим образом предназначено быть предметом вечной любви!»

Для животного, производящего известные действия в присутствии известного объекта, инстинкты, по всей вероятности, являются также чем-то непосредственно данным. Для них значение инстинкта так же самоочевидно, как и для нас. Для льва предметом любви служит львица, для медведя — медведица. Наседке должна казаться чудовищной мысль о существах, для которых гнездо куриных яиц не представляет такого драгоценного удобного для сидения предмета, каким оно представляется ей. Итак, мы можем с уверенностью сказать: как ни странны для нас иногда инстинкты животных, наши инстинкты должны казаться им не менее странными. А отсюда мы можем заключить, что для животного, руководящегося инстинктом, каждое детальное действие в данном инстинкте понятно само собой и кажется иногда единственно правильным и разумным способом действия. Данный инстинкт мотивируется исключительно самим собой. Что может удержать муху от чувственного возбуждения, связанного с выделением яиц, когда она, наконец, нашла подходящий листок, падаль или кусок навоза, на котором ей кажется всего удобнее положить яйца? Разве процесс кладки яиц не представляется для нее сам по себе в эту минуту необходимым? Разве она думает при этом о будущем своем потомстве и его пропитании?

Инстинкты не всегда бывают слепы и неизменны. Весьма часто высказывают мысль, будто человек отличается от низших животных почти полным отсутствием инстинктов, место которых в нем занимает «разум». Два теоретика, не уяснившие себе толком основных понятий об инстинкте, могли бы поднять по этому поводу совершенно бесплодный спор, мы же, разумеется, не будем спорить о словах там, где факты достаточно ясны. Человек обладает гораздо большим числом импульсов, чем любое из низших животных, и каждый из этих импульсов, взятый сам по себе, так же «слеп», как любой низший инстинкт, но благодаря развитию памяти, рефлексии человек в состоянии сознавать каждый из этих импульсов в отдельности, после того как он однажды испытал их, узнал их результаты и может их предвидеть. При этом условии можно сказать, что импульс совершается нами отчасти по крайней мере ввиду его результатов. Ясно, что всякое инстинктивное действие, будучи раз повторено животным, обладающим памятью, перестает быть «слепым» и должно ровно постольку сопровождаться предвидением цели, к которой оно ведет, поскольку животное ранее могло узнать эту цель. Насекомое, кладущее яйца в таком месте, где оно никогда не наблюдает вылупления из них потомства, должно всегда «слепо» класть яйца, но курица, выведшая однажды цыплят, едва ли будет сидеть на втором гнезде с яйцами совершенно «слепо», не предвидя появления на свет этих цыплят. Во всяком другом случае, аналогичном данному, у животного должна быть известная степень предвидения результатов, и поскольку предвидение касается желательного или нежелательного результата, постольку оно может способствовать импульсу или задерживать его. Мысль о цыплятах, быть может, побуждает курицу терпеливее высидывать яйца; в то же время воспоминание о благополучном бегстве

из мышеловки, возникнув в уме крысы, должно удерживать ее от импульса взять приманку, лежащую в чем-нибудь похожем на мышеловку. Если мальчик видит толстую жабу, в нем (особенно в компании приятелей) легко может возникнуть неудержимый импульс раздавить ее камнем, причем можно предположить, что он совершенно «слепо» повинуется этому импульсу. Но вид умирающей жабы со сложенными лапками может вызвать в нем мысль о жестокости поступка или напомним мальчику о том, что страдания животных сходны с его собственными. Поэтому, когда при виде другой жабы он снова почувствует соблазн раздавить ее, в его голове возникнет мысль, которая не только удержит его от жестокости, но может вызвать в нем добрые чувства и сделать защитником жабы перед его не столь умудренным опытом приятелем.

Итак, ясно: как бы животное ни было богато одарено от природы инстинктами, конечные результаты его действий могут значительно изменяться, если инстинкты сочетаются с личным опытом, если к импульсам примешивается влияние памяти, ассоциации идей, ожидания. Объект *O*, вызывающий в животном инстинктивную реакцию *A*, сам по себе должен иметь результатом именно эту реакцию, но для животного *O* стало с течением времени знаком, указывающим на близость *P*, которое вызывает в животном импульс *B*, равный *A* по силе, но совершенно не сходный с ним. Таким образом, при встрече с *O* в животном происходит борьба за преобладание между непосредственным импульсом *A* и более отдаленным *B*. При этом единообразие и роковой характер инстинкта могут быть для наблюдателя столь мало очевидны, что может показаться, будто объект *O* вовсе не вызывает в данном животном какой-либо инстинктивной реакции. А между тем думать так было бы величайшей ошибкой! Инстинкт, связанный с объектом *O*, в данном случае налицо, только он из-за осложняющего влияния ассоциационного механизма пришел в столкновение с инстинктом, который связан с объектом *P*. Теперь мы можем убедиться, какие плодотворные выводы позволяет сделать наша простая физиологическая точка зрения на природу инстинкта. Если инстинкт есть простой двигательный импульс, возникающий под влиянием внешнего раздражения и обусловленный некоторой предшествующей в нервных центрах животного рефлекторной дугой, то он, конечно, должен подчиняться тем общим законам, каким следуют нервные дуги. Одна из особенностей их возбуждения — подверженность влиянию других процессов, происходящих в то же время в организме. Безразлично, прирожденные ли эти дуги, образовались ли они самопроизвольно впоследствии или выработались в силу привычки, — во всех этих случаях они вступают во взаимодействие с другими дугами, то одерживая перевес над их влиянием, то уступая последнему и пропуская через себя посторонние токи. С мистической точки зрения инстинкт следовало бы считать чем-то неизменным. С физиологической точки зрения следует ожидать, что в инстинктах должны обнаруживаться случайные отклонения у всякого животного, у которого число отдельных инстинктов велико и многие из них могут возникать под влиянием того же внешнего раздражения. В инстинктах каждого высшего животного такие отклонения наблюдаются во множестве. Перед нами элементарная форма инстинктивной жизни в замаскированном виде во всех тех случаях, когда у животного значительно развита способность к различению; когда разряд возбуждения происходит в рефлекторной дуге под одновременным влиянием нескольких раздельных чувственных стимулов; когда животное не поддается импульсу непосредственно, ограничившись определением рода стимула и не разбирая, к какому виду относится он, при каких обстоятельствах появился; когда, наконец, различные индивиды и различные обстоятельства могут влиять на животных различным образом.

Вся история взаимных отношений между людьми и низшими дикими животными заключается в том, что мы умеем судить о вещах не по одной их внешности, животные же, отдаваясь непосредственному впечатлению, идут на приманки и делаются нашими жертвами. Природа дала им менее совершенную по сравнению с нами организацию, заставляя их делать всегда то, что лишь в большинстве случаев целесообразно. В природе гораздо более червей, свободно ползающих, чем червей, надетых на крючки удочек, потому природа внушила рыбам: «Хватайте всякого червяка, какой только попадется, рискуя попасться на крючок». Но чем выше животный тип, чем ценнее его жизнь, тем менее природа заставляет его рисковать. Где тот же предмет может оказаться то пищей, то опасной приманкой; где

общительный характер животного заставляет его различать в отдельных индивидах друзей или соперников, смотря по обстоятельствам; где каждый впервые видимый объект рассматривается сразу как нечто вредное или полезное, там природа влагает в животное стремление реагировать на многие классы объектов прямо противоположным образом и предоставляет решающее влияние в пользу того или другого импульса мелким частным особенностям отдельных случаев. Так, и в человеке, и в других млекопитающих, и в высших породах птиц жадность и подозрительность, застенчивость и похоть, скромность и тщеславие, общительность и угрюмость равным образом быстро приходят во взаимное столкновение и равным образом находятся в неустойчивом равновесии. Все это природные импульсы, первоначально совершенно «слепые», порождающие двигательные реакции строго определенного типа. Следовательно, каждый из них есть инстинкт, т. е. подходит под обычное определение инстинкта, но все они противоположны друг другу, и в каждом отдельном случае тот или другой частный опыт делает между ними выбор. Проявляя инстинкты, животное перестает действовать «инстинктивно» и становится, по-видимому, существом, ведущим интеллектуальную жизнь, колеблющимся между различными альтернативами и делающим между ними выбор не потому, что оно не имеет вовсе инстинктов, но скорее потому, что оно обладает таким множеством инстинктов, что они, приходя во взаимное столкновение, модифицируют конечный результат.

Итак, мы смело можем сказать: сколь ни кажутся иногда неопределенными реакции человека на окружающие условия по сравнению с реакциями низших животных, неопределенность эта, по всей вероятности, происходит не оттого, что последние располагают такими импульсами к деятельности, которых нет у человека. Наоборот, человек располагает всеми импульсами к действию, какие имеются у животных, и, сверх того, еще множеством других. Иными словами, с физиологической точки зрения между инстинктивными и разумными действиями нет никакого антагонизма. Сам по себе разум не может задерживать импульсы; единственное, что может нейтрализовать данный импульс, есть импульс в противоположном направлении. Впрочем, разум может сделать вывод, который, подействовав на воображение, способен изменить направление импульса, и, следовательно, хотя наиболее разумное животное есть в то же время наиболее одаренное инстинктивными импульсами, однако оно никогда не кажется автоматом, действующим роковым образом, каким должно казаться животное, руководимое только инстинктом.

Два фактора, нарушающих единообразие инстинктов. В жизни взрослого животного инстинкты могут быть замаскированы двумя другими факторами: 1) задерживающим влиянием привычек, 2) своим преходящим характером.

Закон задерживающего влияния привычек заключается в следующем. Когда объект, принадлежащий известному классу, вызывает в животном определенную реакцию, то нередко животное начинает предпочитать первый экземпляр данного класса, на который оно реагировало, и перестает реагировать на другие экземпляры того же класса.

Животные даже низших видов предпочитают определенный угол для житья, определенную самку, определенное пастбище, определенный вид пищи, вообще определенные объекты среди множества им подобных. «Блюдечко» обыкновенно прикрепляется постоянно к одной и той же части скалы, а морской рак возвращается в тот же облюбованный им уголок на дне моря. Зайцы испражняются всегда в одном и том же месте, птица норовит каждый год свить гнездо на том же суку дерева. Во всех этих случаях животное, предпочитая известный объект, относится безразлично ко всем другим подобным объектам, что физиологически можно объяснить только задерживающим влиянием прежних импульсов, вошедших в привычку, на новые аналогичные импульсы.

Обладая своим домом, своей женой, мы становимся удивительно индифферентны к домам и женам других, как бы они ни были привлекательны. Немногие из нас настолько отважны, чтобы относиться к любой пище с полнейшим равнодушием: для большинства из нас непривычное меню представляет нечто противное. Мы склонны думать, что не знакомые нам лица, особенно приехавшие из дальних городов, не представляют никакого интереса для знакомства. Тот первоначальный импульс, который побудил нас к приобретению дома, заключению брака, установлению дружеских отношений,

определенного образа питания, сразу заставил нас истратить весь запас энергии, так что новые, аналогичные впечатления не вызывают у нас никакой реакции. Наблюдая эту невосприимчивость человека ко множеству впечатлений, иной психолог способен прийти к заключению, что у людей не существует никакой инстинктивной склонности к известным объектам. На самом деле склонности эти существовали, но в смешанном виде или существовали даже в виде простого, чистого инстинкта, пока не образовалась привычка. Она, овладев каким-нибудь инстинктивным стремлением, суживает его область, заставляя нас реагировать только на освоенный объект, хотя и другие объекты могли бы так же легко стать для нас привычными, если бы попались нам на глаза первыми.

Другой пример задерживающего влияния привычки на инстинкт мы имеем тогда, когда тот же класс объектов вызывает прямо противоположные импульсы. При этом импульс, которому мы первоначально следуем, будучи направлен на один из объектов данного класса, может сделать навсегда невозможным возникновение в нас противоположного импульса по отношению к любому объекту данного класса. Определенное отношение к известному экземпляру данного класса может сделать действительно невозможным для нас противоположное отношение ко всему классу.

Например, в ребенке животное может вызывать два прямо противоположных импульса: или стремление приласкать его, или стремление бежать от него в страхе. Если, например, собака при первой попытке ребенка погладить ее оскалит зубы или укусит его и тем сильно испугает малыша, то могут пройти годы, прежде чем ребенок снова почувствует импульс приласкать собаку.

В то же время величайшие по своей природе враги, если их воспитывать с раннего детства вместе и требовать от них строгой дисциплины, образуют те счастливые семейства друзей-животных, которых показывают в зверинцах. Новорожденные животные не имеют инстинкта страха и явно выражают свою беспомощность, легко даваясь в руки. С возрастом, правда, они дичают и, если их оставить на воле, вскоре уже не подпускают к себе человека на близкое расстояние. Фермеры, обитатели дикой местности в Адирондаке, говорили мне об очень большой неприятности, когда корова, заблудившись, телится в лесу и ее с новорожденным находят через неделю и больше. Такие телята совершенно дики, бегают так же быстро, как и лани, и нужно употребить насилие, чтобы овладеть ими. Телята же, при которых люди находились в первые дни их жизни, когда инстинкт привязанности проявляется с особенной силой, редко обнаруживают дикость и не боятся посторонних.

То же явление в очень характерной форме наблюдается среди кур. Описание соответствующих фактов мы находим в удивительной статье об инстинкте Спалдинга (Macmillans Magazine. 1873. Febr.). Один и тот же объект, например человек, может вызывать в цыплятах противоположные инстинкты привязанности или страха. Если цыпленок родился в отсутствие курицы, то он «обыкновенно следует за любым движущимся предметом, руководствуясь одним чувством зрения: он безразлично следует за уткой, курицей и человеком. Недогадливые зрители, видя, как однодневные цыплята бегали за мной и отзывались на мой свисток, в то время как более старшие цыплята следовали за мной лишь издали, полагали, что я обладаю над этими существами какой-то таинственной властью. Между тем я просто приучил их раньше всего к себе; следуя за мной, они руководствовались прирожденным, предшествующим опыту инстинктом: ухо направляло их к полезному предмету сообразно с издаваемым им звуком».

Но если цыпленок видит человека впервые в тот момент, когда испытывает сильный страх, получают прямо противоположные явления. Спалдинг держал в продолжение четырех дней новорожденных цыплят с завязанными глазами и следующим образом описывает их дальнейшее поведение: «Каждый из них, когда я развязал ему глаза, обнаруживал по отношению ко мне величайший страх и бросался в сторону от меня всякий раз, как я пытался к нему подойти. Стол, на котором я снял с их глаз повязки, находился возле окна, и все они, как только я снял повязки, принялись один за другим биться в стекла, как дикие птицы. Один из них спрятался между книг, забился в угол и долгое время дрожал там всем телом. Можно догадываться о причине странного, совершенно исключительного одичания птиц, но пока я ограничусь простым указанием на это своеобразное явление. Каково бы ни было значение той резкой перемены, которая произошла в их психическом складе (развяжи я им глаза днем раньше — они

бежали бы не от меня, а ко мне), во всяком случае эта перемена не могла быть результатом тех изменений, которые произошли в организме цыплят». Описанное Спалдингом явление вполне аналогично приведенному мной выше наблюдению фермеров в Адирондаке над одичалыми телятами. Два противоположных инстинкта, относящихся к тому же объекту, созревают последовательно один, за другим. Если первый из них порождает привычку, она будет влиять задерживающим образом на развитие второго инстинкта по отношению к данному объекту. Все животные в самую раннюю пору младенчества ручные. Привычки, образуемые у них в это время, ограничивают проявление диких инстинктов, которые впоследствии достигают полного развития.

Теперь посмотрим, в чем заключается закон изменчивости инстинктов, который может быть сформулирован так: многие инстинкты созревают в известном возрасте и затем мало-помалу исчезают. Поэтому, сталкиваясь в период наибольшего развития данного инстинкта с соответствующими ему объектами, мы приобретаем привычку реагировать на эти объекты определенным образом. Привычка сохраняется у нас и тогда, когда первоначальный инстинкт уже исчез. Если же нам не удалось столкнуться с соответствующими данному инстинкту объектами, то у нас не образуется никакой привычки, и впоследствии, встречаясь в жизни с этими объектами, и животные, и люди не реагируют на них так, как они инстинктивно реагировали бы в более раннюю пору жизни.

Без сомнения, деятельность этого закона имеет ограниченную область. Некоторые инстинкты гораздо менее преходящи по сравнению с другими (инстинкты, связанные с питанием и самосохранением, почти неизменны); другие периодически то пропадают, то возвращаются с новой силой, например инстинкты случки и выведения детенышей. Впрочем, закон изменчивости инстинктов хотя и не имеет абсолютного значения, однако широко распространен в животном мире. Это лучше всего видно на частных примерах. В приведенных нами выше фактах отношение кур и телят к человеку было обусловлено тем, образовывалась или не образовывалась у них соответствующая привычка в течение первых дней жизни, и потому понятно, отчего инстинкт следования за кем-нибудь и привязанности через несколько дней исчезал и заменялся инстинктом бегства от опасности. Преходящий характер инстинкта привязанности у цыплят можно наблюдать по их отношению к наседке. Спалдинг держал несколько цыплят, пока они не подросли, в стороне от матери, и вот что он о них рассказывает: «Цыпленок, не слышавший в течение первых восьми дней жизни призывного крика матери, начинает относиться к нему совершенно безразлично, как к постороннему звуку. <...> Про одного из цыплят я наверное знаю, что, будучи продержан первые десять дней жизни в стороне от матери, он начал дичиться ее. Наседка гонялась за ним, всячески стараясь приманить его, но он упорно уклонялся от курицы, вбегая в дом или бросаясь к первому встречному человеку. Цыпленок упорно продолжал это делать, даже когда его неоднократно стегали прутиком и вообще жестоко обращались с ним. Его посадили на ночь под наседку, но утром он опять покинул ее».

Инстинкт сосания у всех млекопитающих зрелый уже в момент рождения и ведет к привычке брать грудь, привычке, которая у людей может сохраняться благодаря ежедневному упражнению гораздо долее обычных 12–18 мес. Но сам по себе инстинкт этот преходящ, и нелегко заставить взять грудь ребенка, которого в первые дни жизни почему-либо кормили с ложки, не давая ему вовсе груди. То же наблюдалось и на телятах. Если корова околела, или она не имеет молока, или не дает теленку сосать первых два дня и приходится кормить его из рук, то трудно заставить его сосать молоко, когда к нему приставят новую кормилицу. Та легкость, с какой можно путем искусственного кормления отучить животное кормиться от матери, показывает, что инстинкт сосания должен впоследствии совершенно исчезнуть.

Тот факт, что инстинкты отличаются преходящим характером и что проявления позднейших инстинктов могут модифицироваться под влиянием привычек, сложившихся от действия более ранних инстинктов, представляет гораздо более философское объяснение природы инстинкта, чем предположение об их «искажении» или «о выходе их из границ обычной нормы».

Я имел случай наблюдать шотландскую таксу, которая родилась в декабре на земляном полу конюшни

и через шесть недель была перенесена в дом с коврами на полу. Там, будучи четырех месяцев, щенок нередко необыкновенно старательно пытался закапывать на ковре разные предметы (например, перчатки), с которыми играл и возился до полного изнеможения сил. Он начинал царапать ковер передними лапами, бросал изо рта предмет в якобы вырытую на ковре яму, засыпал его кругом воображаемой землей и уходил прочь, преспокойно оставив предмет лежать на ковре. Разумеется, все старания были тщетны... В этом возрасте мне случалось наблюдать за подобными действиями раз пять-шесть, впоследствии они никогда не повторялись. В данном случае первоначальный инстинкт исчез, так как отсутствовали условия, которые могли бы превратить его в постоянную привычку. Но предположим, что в распоряжении собаки имеется кусок говядины вместо перчатки, что собака находится не на ковре, а на рыхлой земле, что животное не обеспечено постоянным пропитанием. Тогда, по всей вероятности, у собаки на всю жизнь сделалось бы обыкновением зарывать излишек пищи в землю. Кто может поручиться, что чисто инстинктивная сторона в стремлении зарывать в землю пищу у дикой собаки не отличается столь же преходящим характером, как и у описанной нами таксы?

Оставляя в стороне низших животных и обращаясь к человеку, мы видим, что закон изменчивости инстинктов подтверждается на изменчивости интересов и страстей в течение нашей жизни. У ребенка вся жизнь заполнена играми, сказками и ознакомлением с внешними свойствами вещей; у юноши на первом плане — систематический ряд телесных упражнений, чтение романов, товарищество, пение, любовь и дружба, природа, путешествия и приключения, наука и философия; у взрослого человека — политика, самолюбивые планы, стремление к наживе, ответственность перед другими и эгоистические поползновения в житейской борьбе за существование. Если ребенок одинок в ту пору, когда потребность в играх и спорте бывает очень велика, не учится играть в мяч, грести, править парусами, кататься на коньках, ловить рыбу, стрелять, то весьма возможно, что и во всю остальную жизнь он не почувствует желания приняться за эти развлечения. Может быть, он впоследствии будет иметь немало удобных случаев выучиться всему этому, но 99 % вероятности, что он останется ко всему равнодушен и отступится перед необходимостью сделать первые шаги по новому пути, а между тем в более раннем возрасте одна перспектива этой необходимости привела бы его в восторг.

Половое влечение ослабевает от чрезмерного воздержания; но хорошо известно, что его своеобразные проявления обусловлены почти всецело тем образом жизни, какой ведет индивид в ранний период полового созревания. Влияние дурной среды в этот период делает человека на всю жизнь никуда не годным существом; целомудрие в юности благоприятно отражается на половых отношениях в более зрелом возрасте. Главным правилом педагогики должно быть следующее: куй железо, пока горячо; нужно сообщать ребенку знания и развивать в нем способности к различным искусствам, предупредив тот момент, когда интерес к изучаемому начнет в нем ослабевать; отзывчивость на разнообразные проявления жизни и интерес к различным предметам будут иметь важное значение в течение всей последующей жизни ребенка. В течение жизни бывают моменты, благоприятные для развития тех или других наклонностей — умения рисовать, собирать зоологические и ботанические коллекции и т. п.; затем наступает пора знакомства с гармонией механических отношений, с удивительными законами физики и химии; позднее у юноши возникает интерес к психологическому самонаблюдению, к таинственным проблемам метафизики и религии; наконец, человек знакомится с мировой мудростью в самом широком смысле этого слова, становясь деятельным участником житейской борьбы.

В каждой области перечисленных нами родов деятельности мы быстро достигаем пресыщения, чисто познавательный интерес к изучаемому предмету ослабевает, и в тех случаях, когда изучение не связано с каким-нибудь исключительным личным интересом, в наших духовных силах устанавливается равновесие и мы продолжаем жить, не расширяя области наших интересов и пользуясь запасом знаний, полученных в более раннюю пору, когда потребность в приобретении знаний и привычек отличается особенной живостью и интенсивностью. На практике у большинства людей запас идей, приобретенный до 25 лет, составляет весь их умственный багаж до конца жизни, если не считать той

деятельности, которую они избрали своей специальностью. Мы не можем приобретать новые запасы идей. Если нам приходится в зрелом возрасте приниматься за изучение совершенно незнакомых вещей, то мы всегда испытываем чувство неуверенности в себе и не решаемся составлять определенного мнения относительно малознакомого предмета. Наоборот, то, чему мы выучились в годы живой восприимчивости и инстинктивной любознательности, всегда остается для нас привычным. По отношению к таким объектам мысли у нас постоянно сохраняется чувство близкого знакомства, благодаря которому даже тогда, когда нам не вполне удастся овладеть изучаемым предметом, у нас есть сознание нашей власти над ним, и потому в хорошо известной нам области мы никогда не чувствуем себя сбитыми с толку. Исключения здесь только подтверждают общее правило. Таким образом, важнейшая задача для всякого воспитателя — умение подметить при формировании инстинктов ребенка тот момент, когда данный инстинкт наиболее подготовлен предшествующим развитием. Что касается воспитанников, то высказываемые выше соображения, может быть, поколеблют в них веру в неограниченность их умственных способностей и вызовут большую сосредоточенность характера. Прочитав эти строки, учащаяся молодежь поймет, быть может, что, каковы бы ни были приобретенные в данную минуту сведения по физике, политической экономии или философии, они останутся для человека единственными сведениями по этим наукам на всю остальную жизнь.

Перечисление человеческих инстинктов. Вот что говорит Прейер в своем небольшом талантливом труде «Душа ребенка»: «Человек одарен немногочисленными инстинктивными актами, да и они, за исключением инстинктов, связанных с половым влечением, с трудом подмечаются по миновании раннего детства... Ввиду этого, — прибавляет он, — нам следует обратить особенное внимание на инстинктивные движения новорожденных, грудных младенцев и малолетних детей». То обстоятельство, что инстинктивные акты всего легче распознаются в раннем детстве, — вполне естественный результат установленных нами принципов изменчивости инстинктов и задерживающего влияния приобретенных привычек; но едва ли можно сказать, что инстинкты немногочисленны у человека. Прейер подразделяет движения детей на импульсивные, рефлекторные и инстинктивные. К импульсивным он относит случайные, бесцельные движения конечностей, туловища и органов речи, движения, предшествующие образованию восприятия. К числу первоначальных рефлекторных движений принадлежат крик при соприкосновении с воздухом, чихание, сопение, кашель, вздыхание, движения при рвоте, икание, вздрагивание, движения членами при прикосновении к ним и сосание. К ним можно еще прибавить наклонность вешаться на руках (in: Nineteenth Century. 1891 Nov.).

Позже возникают другие рефлексы: кусание, хватание предметов руками и поднесение их ко рту, умение сидеть, стоять, ползать и ходить. Не лишено вероятия, что мозговые центры, предназначенные для выполнения трех последних движений, созревают самопроизвольно (так же, как это уже доказано относительно центров летания у птиц) и что дети только, по-видимому, обучаются держаться на ногах и ходить путем ряда неудачных и удачных попыток, так как большинство детей начинают производить эти движения в то время, когда соответствующие центры еще не успели окончательно созреть. Дети различными способами научаются ходить. Наряду с первыми стремлениями к подражанию у детей зарождается наклонность придавать осмысленность звукам голоса. Далее немедленно возникает соревнование и наряду с ним драчливость. Страх к определенным объектам дети начинают испытывать очень рано, чувство симпатии — гораздо позже, хотя инстинкт симпатии (быть может, эмоция симпатии?) и играет такую важную роль в жизни человека. Застенчивость, общительность, наклонность к приобретению развиваются очень рано. Охотничий инстинкт, скромность, любовь, инстинктивная привязанность к родителям и т. д. являются позднее. К 15–16 годам все человеческие инстинкты уже достигают полного развития. Следует заметить, что ни одно млекопитающее, даже обезьяна, не имеет такого большого количества инстинктов, как человек. При вполне законченном развитии каждый из этих инстинктов породил бы привычку по отношению к известной группе объектов и задержал бы образование привычки по отношению к другой группе объектов.

При нормальном развитии ребенка так и бывает, но в цивилизованном обществе при одностороннем развитии время, благоприятное для формирования другого инстинкта, упускается, ребенок не находит под рукой соответствующих объектов, и в его душевном складе возникают пробелы, заполнить которые последующий опыт будет не в состоянии. Сравните безукоризненно воспитанного джентльмена с живущим в городе бедным ремесленником или торговцем; первый в юности по мере развития физических и духовных инстинктов находил всегда под рукой соответствующие им объекты, и в результате он вступает на арену житейской борьбы вооруженным с ног до головы. В том, для чего окружающая обстановка не могла дать ему соответствующих объектов, для него явился поддержкой спорт, который и позволил ему пополнить пробелы воспитания. Он познакомился со всеми сторонами человеческой жизни, будучи моряком, охотником, атлетом, борцом, школьником, оратором, светским человеком, дельцом и т. д.

Юность бедного городского мальчика не протекает так счастливо, и в зрелом возрасте в нем не пробуждаются даже желания испытать все это. Он уже должен считать себя счастливым, если пробелы в развитии инстинктов составляют единственную аномалию в его жизни, так как результатом неестественного воспитания нередко является извращение природных инстинктов.

Описание страха. Чтобы познакомиться ближе хотя бы с одним инстинктом, я рассмотрю подробнее инстинкт страха. Страх вызывается теми же объектами, которые возбуждают ярость. Антагонизм этих двух душевных состояний заслуживает в динамике инстинктов особое внимание. Мы одновременно и боимся того существа, которое хочет нас убить, и желаем сами убить его. Вопрос о том, какое из этих двух стремлений должно одержать верх, в каждом отдельном случае решается в зависимости от других побочных обстоятельств, которыми обыкновенно руководствуются только существа, одаренные нашими умственными способностями. Разумеется, эти обстоятельства вносят в реакцию неопределенность; она наблюдается в высших животных, так же, как и в человеке, и потому вовсе не доказывает, будто мы действуем менее инстинктивно, чем они.

Телесные проявления страха чрезвычайно энергичны, наряду с радостью и гневом это одна из трех сильнейших эмоций, какие только способен испытывать человек. Прогресс, наблюдаемый в постепенном развитии животного царства вплоть до человека, характеризуется главным образом уменьшением числа случаев, в которых представляются истинные поводы для страха. В частности, в жизни цивилизованных народов стало, наконец, возможным для большого числа людей от колыбели до могилы ни разу не испытать чувства очень сильного страха. Многим из нас надо подвергнуться душевной болезни, чтобы узнать, что такое страх. Вот чем объясняется слепой оптимизм, распространенный в сфере философских и религиозных учений. Ужасы земного существования могут стать для нас надписью на непонятном языке; мы готовы даже усомниться, может ли существо, подобное нам, быть в пасти тигра: такие ужасы рисуются нам в виде картины, которая могла бы украсить ковер на полу той комнаты, где мы так уютно расположились и откуда благодушно смотрим на окружающий мир.

Как бы там ни было, но страх есть неподдельный инстинкт; у человека он — один из самых ранних. Шумы, по-видимому, являются главными стимулами страха. Для ребенка, воспитанного внутри дома, большинство шумов вне дома не имеет никакого определенного значения. Они просто пугают его. Вот что пишет по этому поводу опытный психолог Пере: «Дети от трех до десяти месяцев пугаются гораздо реже под влиянием зрительных, чем под влиянием слуховых впечатлений. У котят (не моложе двух недель) наблюдается обратное явление. Ребенок трех с половиной месяцев среди пожарной сутолоки при виде яркого пламени, от которого разрушались стены, не обнаружил никаких признаков удивления или страха, улыбаясь женщине, державшей его на руках, пока родители выносили имущество. Но звуки рожка при приближении пожарных и шум от колес их машин испугали его, и он заплакал... Я никогда не наблюдал, чтобы ребенок этого возраста пугался даже очень яркой молнии, но мне не раз случалось замечать, что уже самые маленькие дети боятся звуков грома. Таким образом, у детей, мало знакомых с окружающим миром, страх развивается скорее при посредстве слуховых, чем при посредстве зрительных впечатлений» («Psychologie de l'enfant»).

У взрослых шум весьма заметно усиливает чувство страха. Вой бури — вот что вызывает главным образом то чувство тревоги, которое мы испытываем в открытом море или на морском берегу. Лежа в постели во время сильного ветра, который своим шумом мешал мне спать, я замечал, что каждый сильный порыв на мгновение останавливал биение моего сердца. Собака, бросаясь с лаем на нас, кажется особенно страшной из-за шума, производимого ею.

У нас вызывают тревогу странные на вид люди и странные животные, как большие, так и маленькие, но особенно пугают люди или животные, приближающиеся к нам с угрожающим видом. Чувство страха, вызываемое ими, вполне инстинктивно и предшествует всякому опыту. Некоторые дети, увидев впервые собаку или кошку, начинают реветь благим матом, после чего иногда в течение нескольких недель не удается уговорить их погладить этих животных.

Некоторые гады, и в особенности змеи и пауки, вызывают страх, преодолеваемый с большим трудом. Невозможно точно определить, в какой мере страх именно к этим животным инстинктивен и в какой мере отразился в нас под влиянием услышанных о них рассказов. Я убедился на собственном ребенке в том, что страх к гадам развивается у нас постепенно. Я дал в руки сыну живую лягушку, когда ему было шесть — восемь месяцев, а в другой раз, когда ему было полтора года. В первый раз он быстро схватил ее руками, несмотря на ее оборонительные движения, и в конце концов забрал ее голову себе в рот. Затем выпустил ее из рук, предоставив ей полную свободу разгуливать по его груди и лицу и не обнаруживая при этом никакого испуга. Но во второй раз, хотя за это время он не слышал никаких страшных рассказов о лягушке, его почти невозможно было уговорить потрогать ее. Другой мальчик, когда ему был один год, охотно взял в руки очень большого паука, а теперь он боится пауков, но за это время нянька успела напугать его страшными рассказами об этих насекомых. Моя маленькая дочь со дня рождения постоянно видела в доме мопсика, общего любимца нашей семьи. Около восьми месяцев (если не ошибаюсь) внезапно развился инстинкт страха к собаке и притом с такой силой, что девочка, несмотря на то что постоянно видела собаку, не могла к ней привыкнуть. Девочка вскрикивала всякий раз, как собака вбегала в комнату, и много месяцев спустя еще не решалась ее погладить. Нечего и говорить, что внезапная перемена в отношениях ребенка к собаке не была вызвана проявлениями злости со стороны животного, так как собака по-прежнему оставалась чрезвычайно ласковой. Двое других моих детей боялись в детстве меха. Подобное же наблюдение приводит Рише. Прейер рассказывает о маленьком ребенке, который начинал кричать от страха, всякий раз как его приносили на берег моря.

Одиночество в детстве служит одним из главных источников страха. Само собой понятно телеологическое значение как этого факта, так и того, что дети, проснувшись и не найдя около себя никого, проявляют страх непрерывным криком. Черные предметы и в особенности темные места, ямы, пещеры и т. п. вызывают весьма сильное чувство страха. Как этот вид страха, так и боязнь одиночества, боязнь быть «потерянным» объясняют в настоящее время, согласно модной гипотезе, влиянием опыта, унаследованного от предков. Вот что говорит по этому поводу Шнейдер: «Всем известно, что люди, особенно в детстве, боятся входить в темную пещеру или в тенистый лес. Чувство страха при этом, с одной стороны, несомненно, возникает отчасти вследствие того, что мы, согласно читанному и слышанному нами от других, думаем, будто в таких местах могут скрываться опасные звери. Но, с другой стороны, необходимо предположить, что этот страх, вызываемый известным восприятием, до некоторой степени прямо унаследован нами. Дети, которых никто никогда не запугивал страшными сказками, тем не менее, очутившись в темном месте, пугаются и начинают кричать, в особенности если при этом в темноте начинают раздаваться какие-то звуки. Даже взрослый человек, находясь один в лесу ночью, может легко подметить в себе неприятное чувство робости, которое неизбежно будет овладевать им, хотя он вполне уверен, что кругом нет никакой опасности... Этот страх темноты многие испытывают даже у себя дома, хотя в темной пещере или в лесу он гораздо сильнее. Подобный инстинктивный страх станет нам вполне понятен, если мы примем во внимание, что нашим диким предкам в течение бесчисленного множества поколений приходилось встречать в пещерах опасных зверей, в особенности медведей, что медведи нападали на людей преимущественно

в лесу ночью и что, таким образом, между восприятиями темноты, пещер и лесов и чувством страха образовалась неразрывная ассоциация, которая сделалась наследственной» («Der menschliche Wille»). Высокие места вызывают своеобразное болезненное чувство страха; впрочем, здесь весьма многое зависит от индивидуальных особенностей. Совершенно слепой инстинктивный характер движений, сопровождающих это чувство страха, обнаруживается в том, что они по большей части бесцельны, но рассудок не в состоянии подавить их. Очень возможно, что такие движения представляют случайную особенность в организации нервной системы и, подобно морской болезни или любви к музыке, не имеют никакого телеологического значения. Этот род страха проявляется у разных лиц столь различным образом и его вредные последствия имеют такой очевидный перевес над его пользой, что трудно понять, как мог возникнуть такой инстинкт путем естественного отбора. По анатомическому строению человек — одно из животных, наиболее приспособленных к лазанью по высоким местам. Поэтому лучшим психическим дополнением к такой организации должна бы быть способность сохранять присутствие духа на высоте, а не страх перед нею.

Вообще, далее известных пределов теоретическое значение страха крайне сомнительно. Некоторая доля робости, несомненно, приспособливает нас к условиям того мира, в котором мы живем, но пароксизм страха, овладевая человеком, бесспорно, не доставляет ему ничего, кроме вреда. Боязнь сверхъестественного — один из видов страха. Трудно подыскать для этого чувства соответствующий реальный объект, если только не допускать веры в привидения. Но, невзирая на деятельность «обществ психологических исследований», наука еще не уверовала в реальность выходцев с того света; ввиду этого мы можем только сказать, что известные идеи о сверхъестественных силах, ассоциируясь с определенной реальной обстановкой, производят это своеобразное чувство страха. Может быть, оно представляет сочетание нескольких простейших видов страха. Для получения сильнейшего мистического страха нужно сложение многих обычных элементов ужасного. Таковы одиночество, темнота, странные звуки, в особенности неприятного характера, неясные очертания каких-то фигур (или ясно очерченные страшные образы) и связанное с головокружением тревожное состояние ожидания. Последний элемент интеллектуального характера особенно важен. При виде того, как привычное для нас явление вдруг начинает осуществляться совершенно непредвиденным образом, мы чувствуем, что кровь как бы застыла на мгновение в жилах. У всякого из нас сердце перестало бы биться от страха, если бы стул в нашей комнате вдруг начал сам по себе двигаться по полу. На высших животных, как и на нас, таинственные, необычные явления производят сильное впечатление. Мой друг Брукс рассказывал, что с его большим породистым псом сделалось нечто вроде эпилептического припадка, когда пес увидел кость,двигающуюся по полу, не замечая нитки, при помощи которой ее двигали.

Подобные же факты приводят Дарвин и Романее. Со сверхъестественными образами ведьм и домовых связываются другие элементы страха: пещеры, болота, гады, насекомые, трупы и т. п. Мертвец сам по себе вызывает инстинктивное чувство страха, которое, без сомнения, обусловлено таинственностью смерти и которое при более близком знакомстве с трупом быстро рассеивается. Но ввиду того что страх, связанный с образами мертвецов, пещер и гадов, постоянно играет своеобразную роль во многих случаях помешательства и при кошмарах, можно не без основания предположить, не составляла ли эта ужасная обстановка, рисуемая перед ненормально возбужденным воображением, когда-нибудь в ранний период существования человека обычных условий его жизни. Ученый-эволюционист, слепо уверовавший в гипотезу развития, без труда объяснит такое явление, стоит только предположить, что мы при болезненном возбуждении мозга способны впадать в душевное состояние пещерного человека, которое при нормальных условиях подавлено впечатлениями, унаследованными нами от позднейших поколений.

Известны еще некоторые патологические проявления страха и некоторые особенности в обнаружении обыкновенного страха, которые, пожалуй, можно объяснить с помощью унаследованных воспоминаний об условиях жизни наших предков — людей, даже животных предков. При обыкновенном испуге мы или обращаемся в бегство, или, как бы наполовину парализованные,

замираем на месте. Последнее явление напоминает так называемый инстинкт притворной смерти, проявляемый многими животными. Линдсей в книге «Ум животных» замечает, что этот инстинкт требует большого самообладания со стороны тех животных, которые проявляют его. Но на самом деле здесь нет никакой притворной смерти, и потому в самообладании не возникает никакой надобности. Это просто временный паралич от страха, паралич, который благодаря своей полезности стал наследственным. Хищное животное вовсе не думает, что неподвижно лежащая птица, насекомое или ракообразное мертвы: животное просто не замечает их, так как его чувства, подобно нашим, гораздо скорее воспринимают движущийся, чем неподвижный предмет. Тот же самый инстинкт пробуждает спрятавшегося во время игры в прятки мальчика затаить дыхание, когда ищущий близко подходит к месту, где он скрывается.

Тот же инстинкт проявляет нередко и хищное животное, когда тихонько приближается к жертве, время от времени приостанавливаясь и оставаясь неподвижным. Противоположный инстинкт побуждает нас подпрыгивать и махать руками, когда мы хотим привлечь чье-нибудь внимание; руководствуясь этим инстинктом, потерпевший кораблекрушение моряк при виде дальнего паруса начинает неистово махать одеждой с плота, который носит его по волнам. Не представляет ли некоторой связи с описанным нами инстинктом и то неподвижное пребывание в скорченной позе, которое наблюдается у помешанных и меланхоликов и сопровождается общим беспокойством и страхом решительно перед всем на свете. Они не могут объяснить, отчего они боятся пошевелиться, а в неподвижном состоянии чувствуют себя удобнее и безопаснее. Разве это явление не представляет большого сходства с состоянием притворной смерти животных?

А вот другое странное болезненное явление, окрещенное недавно довольно нелепым названием «агорафобия». Человек, страдающий агорафобией, начинает дрожать от страха всякий раз, когда ему необходимо перейти одному через какое-нибудь открытое место или широкую улицу. Если у него хватает присутствия духа, то под прикрытием экипажа, медленно переезжающего через дорогу, или какого-нибудь прохожего ему удастся перебраться на другую сторону. Но обыкновенно он не решается делать это и обходит площадь кругом, держась как можно ближе домов. Для цивилизованного человека эта эмоция совершенно бесполезна, но обращает внимание на постоянно наблюдаемую агорафобию наших домашних кошек; вспомним также, что многие дикие животные, в особенности грызуны, стремятся всегда быть под каким-нибудь прикрытием и решаются на стремительное бегство по открытому месту только в самом крайнем случае (да и при этом норовят укрыться хоть на несколько мгновений за первый попавшийся по дороге камень или кустик). Приняв в соображение эти факты, мы готовы будем невольно задаться вопросом, не представляет ли агорафобия снова оживший под влиянием болезни инстинкт, который был постоянным у наших предков и в общем полезен.

Глава XXVI

Воля

Волевые акты. Желание, хотение, воля суть состояния сознания, хорошо знакомые всякому, но не поддающиеся какому-либо определению. Мы желаем испытывать, иметь, делать всевозможные вещи, которых в данную минуту мы не испытываем, не имеем, не делаем. Если с желанием чего-нибудь у нас связано осознание того, что предмет наших желаний недостижим, то мы просто желаем; если же мы уверены, что цель наших желаний достижима, то мы хотим, чтобы она осуществилась, и она осуществляется или немедленно, или после того, как мы совершим некоторые предварительные действия.

Единственные цели наших хотений, которые мы осуществляем тотчас же, непосредственно, — это движение нашего тела. Какие бы чувствования мы ни желали испытать, к каким бы обладаниям мы ни стремились, мы можем достигнуть их не иначе, как совершив для нашей цели несколько предварительных движений. Этот факт слишком очевиден и потому не нуждается в примерах: поэтому мы можем принять за исходный пункт нашего исследования воли то положение, что единственные

непосредственные внешние проявления — телесные движения. Нам предстоит теперь рассмотреть механизм, с помощью которого совершаются волевые движения.

Волевые акты суть произвольные функции нашего организма. Движения, которые мы до сих пор рассматривали, принадлежали к типу автоматических, или рефлекторных, актов, и притом актов, значение которых не предвидится выполняющим их лицом (по крайней мере лицом, выполняющим их первый раз в жизни). Движения, к изучению которых мы теперь приступаем, будучи преднамеренными и составляя заведомо объект желаний, конечно, совершаются с полным осознанием того, каковы они должны быть. Отсюда следует, что волевые движения представляют производную, а не первичную функцию организма. Это — первое положение, которое следует иметь в виду для понимания психологии воли. И рефлекс, и инстинктивное движение, и эмоциональное суть первичные функции. Нервные центры так устроены, что определенные стимулы вызывают в известных частях их разряд, и существо, впервые испытывающее подобный разряд, переживает совершенно новое явление опыта. Как-то раз я находился на платформе с маленьким сыном в то время, когда к станции с грохотом подъехал курьерский поезд. Мой мальчик, стоявший недалеко от края платформы, при шумном появлении поезда испугался, задрожал, стал прерывисто дышать, побледнел, заплакал, наконец, бросился ко мне и спрятал свое лицо. Я не сомневаюсь, что ребенок был почти столь же удивлен собственным поведением, как и движением поезда, и во всяком случае более удивлен своим поведением, чем я, стоявший возле него. Разумеется, после того как мы испытаем на себе несколько раз подобную реакцию, мы сами научимся ожидать ее результатов и начнем предвидеть свое поведение в таких случаях, даже если действия остаются при этом столь же произвольными, как и прежде. Но если в волевом акте мы должны предвидеть действие, то отсюда следует, что только существо, обладающее даром предвидения, может совершить сразу волевой акт, никогда не сделав рефлекторных или инстинктивных движений.

Но мы не обладаем пророческим даром предвидеть, какие движения мы можем произвести, точно так же, как мы не можем предугадать ощущения, которые нам предстоит испытать. Мы должны ждать появления известных ощущений; точно так же мы должны совершить ряд произвольных движений, чтобы выяснить, в чем будут заключаться движения нашего тела. Возможности познаются нами посредством действительного опыта. После того как мы произвели какое-то движение случайным, рефлекторным или инстинктивным путем и оно оставило след в памяти, мы можем пожелать вновь произвести это движение и тогда произведем его преднамеренно. Но невозможно понять, каким образом могли бы мы желать произвести известное движение, никогда перед тем не делая его. Итак, первым условием для возникновения волевых, произвольных движений является предварительное накопление идей, которые остаются в нашей памяти после того, как мы неоднократно произведем соответствующие им движения произвольным образом.

Два различных рода идей о движениях. Идеи о движениях бывают двоякого рода: непосредственные и опосредованные. Иначе говоря, в нас может возникать или идея о движении в самих двигающихся частях тела, идея, осознаваемая нами в момент движения, или идея о движении нашего тела, поскольку это движение видимо, слышимо нами или поскольку оно оказывает известное действие (удар, давление, царапанье) на какую-нибудь другую часть тела.

Непосредственные ощущения движения в двигающихся частях называются кинестетическими, воспоминания о них — кинестетическими идеями. При помощи кинестетических идей мы создаем пассивные движения, которые сообщают члены нашего тела друг другу. Если вы лежите с закрытыми глазами, а кто-то тихонько изменяет положение вашей руки или ноги, то вы осознаете, какое положение придано вашей конечности, и можете затем другой рукой или ногой воспроизвести сделанное движение. Подобным же образом человек, проснувшийся внезапно ночью, лежа в темноте, осознает, в каком положении находится его тело. Так бывает по крайней мере в нормальных случаях. Но когда ощущения пассивных движений и все другие ощущения в членах нашего тела утрачены, то перед нами патологическое явление, описанное Штрюмпеллем на примере мальчика, у которого сохранились только зрительные ощущения в правом глазу и слуховые в левом ухе (in: Deutsches Archiv

fur Klin. Medicin, XXII). «Конечностями больного можно было двигать самым энергичным образом, не привлекая его внимания. Только при исключительно сильном ненормальном растяжении сочленений, в особенности колен, у больного возникало неясное тупое чувство напряжения, но и оно редко локализовалось точным образом. Нередко, завязав глаза больного, мы носили его по комнате, клали на стол, придавали его рукам и ногам самые фантастические и, по-видимому, крайне неудобные позы, но пациент ничего этого даже не подозревал. Трудно описать изумление на его лице, когда, сняв с его глаз платок, мы показывали ему ту позу, в которую было приведено его тело. Только когда голова его во время опыта свешивалась вниз, он начинал жаловаться на головокружение, но не мог объяснить его причину.

Впоследствии по звукам, связанным с некоторыми нашими манипуляциями, он иногда начинал догадываться, что мы над ним проделываем что-то особенное... Чувство утомления мышц было совершенно неизвестно ему. Когда мы, завязав ему глаза, попросили поднять вверх руки и держать их в таком положении, он без труда выполнил это. Но через минуту или две его руки начали дрожать и незаметно для него самого опустились, причем он продолжал утверждать, что держит их в том же положении. Находятся ли пальцы его в пассивно-неподвижном состоянии или нет — этого он не мог заметить. Он постоянно воображал, что сжимает и разжимает руку, между тем как на самом деле она была совершенно неподвижна».

Нет оснований предполагать существование какого-либо третьего рода моторных идей. Итак, чтобы совершить произвольное движение, нам нужно вызвать в сознании или непосредственную (кинестетическую), или опосредованную идею, соответствующую предстоящему движению. Некоторые психологи предполагали, что, сверх того, в данном случае нужна идея о степени иннервации, необходимой для сокращения мышц. По их мнению, нервный ток, идущий при разряде из двигательного центра в двигательный нерв, порождает ощущение *sui generis* (своеобразное), отличающееся от всех других ощущений. Последние связаны с движениями центростремительных токов, между тем как с центробежными токами связано чувство иннервации и ни одно движение не предваряется нами мысленно без того, чтобы это чувство не предшествовало ему. Иннервационное чувство указывает будто бы на степень силы, с какой должно быть произведено данное движение, и на то усилие, при помощи которого его всего удобнее выполнить. Но многие психологи отвергают существование иннервационного чувства, и, конечно, они правы, так как нельзя привести прочных доводов в пользу его существования.

Различные степени усилия, действительно испытываемые нами, когда мы производим то же движение, но по отношению к предметам, оказывающим неодинаковую силу сопротивления, все обусловлены центростремительными токами, идущими от нашей груди, челюстей, брюшной полости и других частей тела, в которых происходят симпатические сокращения мышц, когда прилагаемое нами усилие велико. При этом нет никакой надобности осознавать степень иннервации центробежного тока. Путем самонаблюдения мы убеждаемся только в том, что в данном случае степень потребного напряжения всецело определяется нами при помощи центростремительных токов, идущих от самих мышц, от их прикреплений, от соседних суставов и от общего напряжения глотки, груди и всего тела. Когда мы представляем себе известную степень напряжения, то этот сложный агрегат ощущений, связанных с центростремительными токами, составляя объект нашего сознания, точным и отчетливым образом указывает нам, с какой именно силой мы должны произвести данное движение и как велико сопротивление, которое нам нужно преодолеть.

Пусть читатель попробует направить свою волю на определенное движение и постарается подметить, в чем состояло это направление. Входило ли в него что-либо, кроме представления тех ощущений, которые он испытает, когда произведет данное движение? Если мы мысленно выделим эти ощущения из области нашего сознания, то останется ли в нашем распоряжении какой-нибудь чувственный знак, прием или руководящее средство, при помощи которых воля могла бы с надлежащей степенью интенсивности иннервировать надлежащие мышцы, не направляя тока беспорядочно в какие попало мышцы? Выделите эти ощущения, предваряющие конечный результат движения, и, вместо того чтобы

получить ряд идей о тех направлениях, по которым наша воля может направить ток, вы получите в сознании абсолютную пустоту, оно окажется не заполненным никаким содержанием. Если я хочу написать Петр, а не Павел, то движениям моего пера предшествуют мысли о некоторых ощущениях в пальцах, о некоторых звуках, о некоторых значках на бумаге — и больше ничего. Если я хочу произнести Павел, а не Петр, то произнесению предшествуют мысли о слышимых мною звуках моего голоса и о некоторых мышечных ощущениях в языке, губах и глотке. Все указанные ощущения связаны с центростремительными токами; между мыслью об этих ощущениях, которая сообщает волевому акту возможную определенность и законченность, и самим актом нет места для какого-нибудь третьего рода психических явлений.

В состав волевого акта входит некоторый элемент согласия на то, чтобы акт совершился, — решение «да будет!». И для меня, и для читателя, без сомнения, именно этот элемент и характеризует сущность волевого акта. Ниже мы рассмотрим подробнее, в чем заключается решение «да будет!». В данную минуту мы можем оставить его в стороне, так как оно входит в состав всех волевых актов и потому не указывает на различия, которые можно установить между ними. Никто не станет утверждать, что при движении, например, правой рукой или левой оно качественно различно.

Итак, путем самонаблюдения мы нашли, что предшествующее движению психическое состояние заключается только в предваряющих движение идеях о тех ощущениях, которые оно повлечет за собой, плюс (в некоторых случаях) повеление воли, согласно которому движение и связанные с ним ощущения должны осуществиться; предполагать же существование особых ощущений, связанных с центробежными нервными токами, нет никаких оснований.

Таким образом, все содержание нашего сознания, весь составляющий его материал — ощущения движения, равно как и все другие ощущения, — имеют, по-видимому, периферическое происхождение и проникают в область нашего сознания прежде всего через периферические нервы.

Конечный повод к движению. Назовем конечным поводом к движению ту идею в нашем сознании, которая непосредственно предшествует двигательному разряду. Спрашивается: служат поводами к движению только непосредственные моторные идеи или ими могут быть также и опосредованные моторные идеи? Не может быть сомнения в том, что конечным поводом к движению могут быть равным образом и непосредственные, и опосредованные моторные идеи. Хотя в начале нашего знакомства с известным движением, когда мы еще учимся производить его, непосредственные моторные идеи и выступают на первый план в нашем сознании, но впоследствии это бывает не так. Вообще говоря, можно считать за правило, что с течением времени непосредственные моторные идеи все более отступают в сознании на задний план и чем более мы научаемся производить какое-то движение, тем чаще конечным поводом к нему являются опосредованные моторные идеи. В области нашего сознания господствующую роль играют наиболее интересующие нас идеи, от всего остального мы норовим отделаться как можно скорее. Но, вообще говоря, непосредственные моторные идеи не представляют никакого существенного интереса. Нас интересуют главным образом те цели, на которые направлено наше движение. Эти цели по большей части суть опосредованные ощущения, связанные с теми впечатлениями, которые данное движение вызывает в глазу, в ухе, иногда на коже, в носу, в нёбе. Если мы теперь предположим, что представление одной из таких целей прочно ассоциировалось с соответствующим ей нервным разрядом, то окажется, что мысль о непосредственных действиях иннервации явится элементом, так же задерживающим выполнение волевого акта, как и то чувство иннервации, о котором мы говорим выше. Наше сознание не нуждается в этой мысли, для него достаточно представления конечной цели движения.

Таким образом, идея цели стремится все более и более завладеть областью сознания. Во всяком случае если кинестетические идеи и возникают при этом, то они настолько поглощены живыми кинестетическими ощущениями, которые их немедленно настигают, что мы не осознаем их самостоятельного существования. Когда я пишу, я не осознаю предварительно вида букв и мышечного напряжения в пальцах как чего-то обособленного от ощущений движения моего пера. Прежде чем написать слово, я слышу как бы его звучание в моих ушах, но при этом не возникает никакого

соответствующего воспроизведенного зрительного или моторного образа. Происходит это вследствие быстроты, с которой движения следуют за их психическими мотивами. Признав известную цель подлежащей достижению, мы тотчас же иннервируем центр, связанный с первым движением, необходимым для ее осуществления, и затем вся остальная цепь движений совершается как бы рефлекторно.

Читатель, конечно, согласится, что эти соображения вполне справедливы относительно быстрых и решительных волевых актов. В них только в самом начале действия мы прибегаем к особому решению воли. Человек говорит сам себе: «Надо переодеться» — и тотчас непроизвольно снимает сюртук, пальцы его привычным образом начинают расстегивать пуговицы жилета и т. д.; или, например, мы говорим себе: «Надо спуститься вниз» — и сразу же встаем, идем, беремся за ручку двери и т. д., руководствуясь исключительно идеей цели, связанной с рядом последовательно возникающих ощущений, ведущих прямо к ней.

По-видимому, нужно предположить, что мы, стремясь к известной цели, вносим неточность и неопределенность в наши движения, когда сосредоточиваем внимание на связанных с ними ощущениях. Мы тем лучше можем, например, ходить по бревну, чем меньше обращаем внимание на положение наших ног. Мы более метко кидаем, ловим, стреляем и рубим, когда в нашем сознании преобладают зрительные (опосредованные), а не осязательные и моторные (непосредственные) ощущения. Направьте на цель наши глаза, и рука сама доставит к цели кидаемый вами предмет, сосредоточьте внимание на движениях руки — и вы не попадете в цель. Саутгард нашел, что он мог более точно определять на ощупь кончиком карандаша положение небольшого предмета посредством зрительных, чем посредством осязательных мотивов к движению. В первом случае он взглядывал на небольшой предмет и, перед тем как дотронуться до него карандашом, закрывал глаза. Во втором он клал предмет на стол с закрытыми глазами и затем, отведя от него руку, старался снова прикоснуться к нему. Средние ошибки (если считать только опыты с наиболее благоприятными результатами) равнялись 17,13 мм во втором случае и только 12,37 мм в первом (при зрении). Выводы эти получены путем самонаблюдения. При помощи какого физиологического механизма совершаются описанные действия, неизвестно.

В XIX главе мы видели, как велико разнообразие в способах воспроизведения у различных индивидов. У лиц, принадлежащих к «тактильному» (согласно выражению французских психологов) типу воспроизведения, кинестетические идеи, вероятно, играют более выдающуюся роль по сравнению с указанной мной. Мы вообще не должны ожидать слишком большого однообразия в этом отношении у различных индивидов и спорить о том, который из них типичный представитель данного психического явления.

Надеюсь, я выяснил теперь, в чем заключается та моторная идея, которая должна предшествовать движению и обуславливать его произвольный характер. Она не есть мысль об иннервации, необходимой для того, чтобы произвести данное движение. Она есть мысленное предварение чувственных впечатлений (непосредственных или опосредованных — иногда длинным рядом действий), которые явятся результатом данного движения. Это мысленное предварение определяет по крайней мере, каковы они будут. До сих пор я рассуждал, как будто оно определяло также, что данное движение будет сделано. Без сомнения, многие читатели не согласятся с этим, ибо часто в волевых актах, по-видимому, необходимо еще к мысленному предварению движения присоединить особое решение воли, согласие ее на то, чтобы движение было сделано. Это решение воли я до сих пор оставлял в стороне; анализ его составит второй важный пункт нашего исследования.

Идеомоторное действие. Нам предстоит ответить на вопрос, может ли до наступления движения идея о чувственных его результатах сама по себе служить достаточным к нему поводом, или движению должен еще предшествовать некоторый добавочный психический элемент в виде решения, согласия, приказания воли или другого аналогичного состояния сознания? Я даю на это следующий ответ. Иногда такой идеи бывает достаточно, иногда же необходимо вмешательство добавочного психического элемента в виде особого решения или повеления воли, предваряющего движение. В

большинстве случаев в простейших актах это решение воли отсутствует. Случаи более сложного характера будут обстоятельно рассмотрены нами позже.

Теперь же обратимся к типичному образчику волевого действия, так называемому идеомоторному действию, в котором мысль о движении вызывает последнее непосредственно, без особого решения воли. Всякий раз, как мы при мысли о движении немедленно, не колеблясь производим его, мы совершаем идеомоторное действие. В этом случае между мыслью о движении и ее осуществлением мы не сознаем ничего промежуточного. Разумеется, в этот промежуток времени происходят различные физиологические процессы в нервах и мышцах, но мы абсолютно не осознаем их. Только что мы успели подумать о действии, как оно уже совершено нами, — вот всё, что дает нам здесь самонаблюдение. Карпентер, впервые употребивший (насколько мне известно) выражение «идеомоторное действие», относил его, если я не ошибаюсь, к числу редких психических явлений. На самом же деле это просто нормальный психический процесс, не замаскированный никакими посторонними явлениями. Во время разговора я замечаю булавку на полу или пыль у себя на рукаве. Не прерывая разговора, я поднимаю булавку или стираю пыль. Во мне не возникает никаких решений по поводу этих действий, они совершаются просто под впечатлением известного восприятия и проносящейся в сознании моторной идеи.

Подобным же образом я поступаю, когда, сидя за столом, время от времени протягиваю руку к стоящей передо мной тарелке, беру орех или кисточку винограда и ем. С обедом я уже покончил и в пылу послеобеденной беседы не сознаю того, что делаю, но вид орехов или ягод и мимолетная мысль о возможности взять их, по-видимому, роковым образом вызывают во мне известные действия. В этом случае, конечно, действиям не предшествует никакого особого решения воли, так же как и во всех привычных действиях, которыми полон каждый час нашей жизни и которые вызываются в нас притекающими извне впечатлениями с такой быстротой, что нередко нам трудно бывает решить — отнести ли то или другое подобное действие к числу рефлекторных или произвольных актов. По словам Лотце, мы видим, «когда пишем или играем на рояле, что множество весьма сложных движений быстро сменяют одно другое; каждый из мотивов, вызывающих в нас эти движения, осознается нами не более секунды; этот промежуток времени слишком мал для того, чтобы вызвать в нас какие-либо волевые акты, кроме общего стремления производить последовательно одно за другим движения, соответствующие тем психическим поводам для них, которые так быстро сменяют друг друга в нашем сознании. Таким путем мы производим все наши ежедневные действия. Когда мы стоим, ходим, разговариваем, нам не требуется никакого особого решения воли для каждого отдельного действия: мы совершаем их, руководствуясь одним только течением наших мыслей» («Medizinische Psychologie»). Во всех этих случаях мы, по-видимому, действуем безостановочно, не колеблясь при отсутствии в нашем сознании противодействующего представления. В нашем сознании или нет ничего, кроме конечного повода к движению, или есть что-нибудь, не препятствующее нашим действиям. Мы знаем, что такое встать с постели в морозное утро в нетопленной комнате: сама натура наша возмущается против такого мучительного испытания. Многие, вероятно, лежат каждое утро целый час в постели, прежде чем заставить себя подняться. Мы думаем лежа, как мы поздно встаем, как от этого пострадают обязанности, которые мы должны выполнить в течение дня; мы говорим себе: «Это черт знает что такое! Должен же я наконец встать!» — и т. д. Но теплая постель слишком привлекает нас, и мы снова оттягиваем наступление неприятного мгновения.

Как же мы все-таки встаем при таких условиях? Если мне позволено судить о других по личному опыту, то я скажу, что по большей части мы поднимаемся в подобных случаях без всякой внутренней борьбы, не прибегая ни к каким решениям воли. Мы вдруг обнаруживаем, что уже поднялись с постели; забыв о тепле и холоде, мы в полудремоте вызываем в своем воображении различные представления, имеющие какое-нибудь отношение к наступающему дню; вдруг среди них мелькнула мысль: «Баста, довольно лежать!» Никакого противодействующего соображения при этом не возникло — и тотчас же мы совершаем соответствующие нашей мысли движения. Живое сознавая противоположность ощущений тепла и холода, мы тем самым вызвали в себе нерешительность, которая парализовала

наши действия, и стремление подняться с постели оставалось в нас простым желанием, не переходя в хотение. Как только задерживающая действие идея была устранена, первоначальная идея (о необходимости встать) тотчас же вызвала соответствующие движения.

Этот случай, мне кажется, заключает в себе в миниатюре все основные элементы психологии хотения. Ведь все учение о воле, развиваемое в настоящем сочинении, в сущности, обосновано мной на обсуждении фактов, почерпнутых из личного самонаблюдения: эти факты убедили меня в истинности моих выводов, и потому иллюстрировать вышеприведенные положения какими-либо другими примерами я считаю излишним. Очевидность моих выводов подрывается, по-видимому, только тем обстоятельством, что многие моторные идеи не сопровождаются соответствующими действиями. Но, как мы увидим ниже, во всех, без исключения, подобных случаях одновременно с данной моторной идеей в сознании имеется какая-нибудь другая идея, которая парализует активность первой. Но даже и тогда, когда действие вследствие задержки не совершается вполне, оно все-таки совершается отчасти. Вот что говорит Лотце по этому поводу: «Следя за играющими на бильярде или глядя на фехтующих, мы производим руками слабые аналогичные движения; люди маловоспитанные, рассказывая о чем-нибудь, непрерывно жестикулируют; читая с интересом живое описание какого-нибудь сражения, мы чувствуем легкую дрожь во всей мышечной системе, как будто мы присутствовали при описываемых событиях. Чем живее мы начинаем представлять себе движения, тем заметнее начинает обнаруживаться влияние моторных идей на нашу мышечную систему; оно ослабевает по мере того, как сложный комплекс посторонних представлений, заполняя область нашего сознания, вытесняет из него те моторные образы, которые начинали переходить во внешние акты». «Чтение мыслей», так вошедшее в моду в последнее время, есть в сущности отгадывание мыслей по мышечным сокращениям: под влиянием моторных идей мы производим иногда против нашей воли соответствующие мышечные сокращения».

Итак, мы можем считать вполне достоверным следующее положение. Всякое представление движения вызывает в известной степени соответствующее движение, которое всего резче проявляется тогда, когда его не задерживает никакое другое представление, находящееся одновременно с первым в области нашего сознания.

Особое решение воли, ее согласие на то, чтобы движение было произведено, является в том случае, когда необходимо устранить задерживающее влияние этого последнего представления. Но читатель может теперь убедиться, что во всех более простых случаях в этом решении нет никакой надобности. <...>

Движение не есть некоторый особый динамический элемент, который должен быть прибавлен к возникшему в нашем сознании ощущению или мысли. Каждое воспринимаемое нами чувственное впечатление связано с некоторым возбуждением нервной деятельности, за которым неминуемо должно последовать известное движение. Наши ощущения и мысли представляют собой, если так можно выразиться, пункты пересечения нервных токов, конечным результатом которых является движение и которые, едва успев возникнуть в одном нерве, уже перебегают в другой. Ходячее мнение, будто сознание не есть по существу своему предварение действия, но будто последнее должно быть результатом нашей «силы воли», представляет собой естественную характеристику того частного случая, когда мы думаем об известном акте неопределенно долгий промежуток времени, не приводя его в исполнение. Но этот частный случай не есть общая норма; здесь задержание акта противодействующим течением мыслей.

Когда задержка устранена, мы чувствуем внутреннее облегчение — это и есть тот добавочный импульс, то решение воли, благодаря которому и совершается волевой акт. В мышлении высшего порядка подобные процессы совершаются постоянно. Где нет этого процесса, там обыкновенно мысль и двигательный разряд непрерывно следуют друг за другом, без всякого промежуточного психического акта. Движение есть естественный результат чувственного процесса, независимо от его качественного содержания и при рефлексе, и при внешнем проявлении эмоции, и при волевой деятельности. Таким образом, идеомоторное действие не исключительное явление, значение которого приходилось

бы умалять и для которого надо подыскивать особое объяснение. Оно подходит под общий тип сознательных действий, и мы должны принимать его за исходный пункт для объяснения тех действий, которым предшествует особое решение воли. Замечу, что задержание движения, так же как и выполнение, не требует особого усилия или повеления воли. Но порой и для задержания, и для выполнения действия необходимо особое волевое усилие. В простейших случаях наличие в сознании известной идеи может вызвать движение, наличие другой идеи — задержать его. Выпрямите палец и в то же время старайтесь думать, будто вы сгибаете его. Через минуту вам почудится, будто он чуть-чуть согнулся, хотя в нем и не обнаружилось заметным образом никакого движения, так как мысль о том, что он на самом деле неподвижен, также входила при этом в состав вашего сознания. Выкиньте ее из головы, подумайте только о движении пальца — мгновенно без всякого усилия оно уже сделано вами. Таким образом, поведение человека во время бодрствования — результат двух противоположных нервных сил. Одни невообразимо слабые нервные токи, пробегая по мозговым клеткам и волокнам, возбуждают двигательные центры; другие столь же слабые токи вмешиваются в деятельность первых: то задерживают, то усиливают их, изменяя их скорость и направление. В конце концов все эти токи рано или поздно должны быть пропущены через известные двигательные центры, и весь вопрос в том, через какие именно: в одном случае они проходят через одни, в другом — через другие двигательные центры, в третьем они так долго уравнивают друг друга, что постороннему наблюдателю кажется, будто они вовсе не проходят через двигательные центры. Однако нельзя забывать, что с точки зрения физиологии жест, сдвигание бровей, вздох — такие же движения, как и перемещение тела. Перемена в выражении лица короля может производить иногда на подданного такое же потрясающее действие, как смертельный удар; и наружные наши движения, являющиеся результатом нервных токов, которые сопровождают удивительный невесомый поток наших идей, не должны непременно быть резки и порывисты, не должны бросаться в глаза своим грубым характером.

Обдуманное действие. Теперь мы можем приступить к выяснению того, что происходит в нас, когда мы действуем обдуманно или когда перед нашим сознанием имеется несколько объектов в виде противодействующих или равно благоприятных альтернатив. Один из объектов мысли может быть моторной идеей. Сам по себе он вызвал бы движение, но некоторые объекты мысли в данную минуту задерживают его, а другие, наоборот, содействуют его выполнению. В результате получается своеобразное внутреннее чувство беспокойства, называемое нерешительностью. К счастью, оно слишком хорошо знакомо всякому, описать же его совершенно невозможно.

Пока оно продолжается и внимание наше колеблется между несколькими объектами мысли, мы, как говорится, обдумываем: когда, наконец, первоначальное стремление к движению одерживает верх или окончательно подавлено противодействующими элементами мысли, то мы решаемся, принимаем то или другое волевое решение. Объекты мысли, задерживающие окончательное действие или благоприятствующие ему, называются основаниями или мотивами данного решения.

Процесс обдумывания бесконечно сложен. В каждое его мгновение наше сознание является чрезвычайно непростым комплексом взаимодействующих между собой мотивов. Вся совокупность этого сложного объекта сознается нами несколько смутно, на первый план выступают то одни, то другие его части в зависимости от перемен в направлении нашего внимания и от «ассоциационного потока» наших идей. Но как бы резко ни выступали перед нами господствующие мотивы и как бы ни было близко наступление моторного разряда под их влиянием, смутно создаваемые объекты мысли, находящиеся на заднем плане и образующие то, что мы назвали выше психическими обертонами (см. главу XI), задерживают действие все время, пока длится наша нерешительность. Она может тянуться недели, даже месяцы, по временам овладевая нашим умом.

Мотивы к действию, еще вчера казавшиеся столь яркими, убедительными, сегодня уже представляются бледными, лишенными живости. Но ни сегодня, ни завтра действие не совершается нами. Что-то подсказывает нам, что все это не играет решающей роли; что мотивы, казавшиеся слабыми, усилятся, а мнимо сильные потеряют всякое значение; что у нас еще не достигнуто окончательное равновесие между мотивами, что мы в настоящее время должны их взвешивать, не

отдавая предпочтения какому-либо из них, и по возможности терпеливо ждать, пока не созреет в уме окончательное решение. Это колебание между двумя возможными в будущем альтернативами напоминает колебание материального тела в пределах его упругости: в теле есть внутреннее напряжение, но нет наружного разрыва. Подобное состояние может продолжаться неопределенное время и в физическом теле, и в нашем сознании. Если действие упругости прекратилось, если плотина прорвана и нервные токи быстро пронизывают мозговую кору, колебания прекращаются и наступает решение.

Решимость может проявляться различным образом. Я попытаюсь дать сжатую характеристику наиболее типичных видов решимости, но буду описывать душевные явления, почерпнутые только из личного самонаблюдения. Вопрос о том, какая причинность, духовная или материальная, управляет этими явлениями, будет рассмотрен ниже.

Пять главных типов решимости. Первый может быть назван типом разумной решимости. Мы проявляем ее, когда противодействующие мотивы начинают понемногу стушевываться, оставляя место одной альтернативе, которую мы принимаем без всякого усилия и принуждения. До наступления рациональной оценки мы спокойно осознаем, что необходимость действовать в известном направлении еще не стала очевидной, и это удерживает нас от действия. Но в один прекрасный день мы вдруг начинаем осознавать, что мотивы для действия основательны, что никаких дальнейших разъяснений здесь нечего ожидать и что именно теперь пора действовать. В этих случаях переход от сомнения к уверенности переживается совершенно пассивно. Нам кажется, что разумные основания для действия вытекают сами собой из сути дела, совершенно независимо от нашей воли. Впрочем, мы при этом не испытываем никакого чувства принуждения, сознавая себя свободными. Разумное основание, находимое нами для действия, большей частью заключается в том, что мы подыскиваем для настоящего случая подходящий класс случаев, при которых мы уже привыкли действовать не колеблясь, по известному шаблону.

Можно сказать, что обсуждение мотивов по большей части заключается в переборе всех возможных концепций образа действия с целью отыскать такую, под которую можно было бы подвести наш образ действий в данном случае. Сомнения относительно образа действия рассеиваются в ту минуту, когда нам удастся отыскать такую концепцию, которая связана с привычными способами действовать. Люди с богатым опытом, которые ежедневно принимают множество решений, постоянно имеют в голове множество рубрик, из которых каждая связана с известными волевыми актами, и каждый новый повод к определенному решению они стараются подвести под хорошо знакомую схему. Если данный случай не подходит ни под один из прежних, если к нему неприменимы старые, рутинные приемы, то мы теряемся и недоумеваем, не зная, как взяться за дело. Как только нам удалось квалифицировать данный случай, решимость снова возвращается к нам.

Таким образом, в деятельности, как и в мышлении, важно подыскать соответствующий данному случаю концепт. Конкретные дилеммы, с которыми нам приходится сталкиваться, не имеют на себе готовых ярлыков с соответствующими названиями, и мы можем называть их весьма различно. Умный человек — тот, кто умеет подыскать для каждого отдельного случая наиболее соответствующее название. Мы называем рассудительным такого человека, который, раз наметив себе достойные цели в жизни, не предпринимает ни одного действия без того, чтобы предварительно не определить, благоприятствует оно достижению этих целей или нет.

В следующих двух типах решимости конечное решение воли возникает до появления уверенности в том, что оно разумно. Нередко ни для одного из возможных способов действия нам не удастся подыскать разумного основания, дающего ему преимущество перед другими. Все способы кажутся хорошими, и мы лишены возможности выбрать наиболее благоприятный. Колебание и нерешительность утомляют нас, и может наступить момент, когда мы подумаем, что лучше уж принять неудачное решение, чем не принимать никакого. При таких условиях нередко какое-нибудь случайное обстоятельство нарушает равновесие, сообщив одной из перспектив преимущество перед другими, и мы начинаем склоняться в ее сторону, хотя, подвернись нам на глаза в эту минуту иное случайное

обстоятельство, и конечный результат был бы иным. Второй тип решимости представляют те случаи, в которых мы как бы преднамеренно подчиняемся произволу судьбы, поддаваясь влиянию внешних случайных обстоятельств и думая: конечный результат будет довольно благоприятный.

В третьем типе решение также является результатом случайности, но случайности, действующей не извне, а в нас самих. Нередко при отсутствии побудительных причин действовать в том или другом направлении мы, желая избежать неприятного чувства смущения и нерешительности, начинаем действовать автоматически, как будто в наших нервах разряды совершались самопроизвольно, побуждая нас выбрать одну из представляющихся нам концепций. После томительного бездействия стремление к движению привлекает нас; мы говорим мысленно: «Вперед! А там будь что будет!» — и живо принимаемся действовать. Это беспечное, веселое проявление энергии, до того непредумышленное, что мы в таких случаях выступаем скорее пассивными зрителями, забавляющимися созерцанием случайно действующих на нас внешних сил, чем лицами, действующими по собственному произволу. Такое мятежное, порывистое проявление энергии редко наблюдается у лиц вялых и хладнокровных. Наоборот, у лиц с сильным, эмоциональным темпераментом и в то же время с нерешительным характером оно быть может весьма часто. У мировых гениев (вроде Наполеона, Лютера и т. п.), в которых упорная страсть сочетается с кипучим стремлением к деятельности, в тех случаях, когда колебания и предварительные соображения задерживают свободное проявление страсти, окончательная решимость действовать, вероятно, прорывается именно таким стихийным образом; так струя воды неожиданно прорывает плотину. Что у подобных личностей часто наблюдается именно такой способ действия, служит уже достаточным указанием на их фаталистический образ мыслей. А он сообщает особенную силу начинающемуся в моторных центрах нервному разряду.

Есть еще четвертый тип решимости, который так же неожиданно кладет конец всяким колебаниям, как и третий. К нему относятся случаи, когда под влиянием внешних обстоятельств или какой-то необъяснимой внутренней перемены в образе мыслей мы внезапно из легкомысленного и беззаботного состояния духа переходим в серьезное, сосредоточенное, и значение всей шкалы ценностей наших мотивов и стремлений меняется, когда мы изменяем наше положение по отношению к плоскости горизонта.

Объекты страха и печали действуют особенно отрезвляюще. Проникая в область нашего сознания, они парализуют влияние легкомысленной фантазии и сообщают особенную силу серьезным мотивам. В результате мы покидаем разные пошлые планы на будущее, которыми тешили до сих пор свое воображение, и немедленно проникаемся более серьезными и важными стремлениями, до той поры не привлекавшими нас к себе. К этому типу решимости следует отнести все случаи так называемого нравственного перерождения, пробуждения совести и т. п., благодаря которым происходит духовное обновление многих из нас. В личности вдруг изменяется уровень и сразу появляется решимость действовать в известном направлении.

В пятом, и последнем, типе решимости для нас может казаться наиболее рациональным известный образ действия, но мы можем и не иметь в пользу его разумных оснований. В обоих случаях, намереваясь действовать определенным образом, мы чувствуем, что окончательное совершение действия обусловлено произвольным актом нашей воли; в первом случае мы импульсом нашей воли сообщаем силу разумному мотиву, который сам по себе был бы не в состоянии произвести нервный разряд; в последнем случае мы усилием воли, заменяющим здесь санкцию разума, придаем какому-то мотиву преобладающее значение. Ощущаемое здесь глухое напряжение воли составляет характерную черту пятого типа решимости, отличающую его от остальных четырех.

Мы не будем здесь оценивать значения этого напряжения воли с метафизической точки зрения и не будем обсуждать вопроса, следует ли обособлять указанные напряжения воли от мотивов, которыми мы руководствуемся в действиях. С субъективной и феноменологической точек зрения здесь налицо чувство усилия, которого не было в предшествующих типах решимости. Усилие всегда неприятный акт, связанный с каким-то сознанием нравственного одиночества; так бывает и тогда, когда во имя чистого

священного долга мы сурово отрекаемся от всяких земных благ, и тогда, когда мы твердо решаемся считать одну из альтернатив невозможной для нас, а другую — подлежащей осуществлению, хотя каждая из них равно привлекательна и никакое внешнее обстоятельство не побуждает нас отдать которой-нибудь из них предпочтение. При более внимательном анализе пятого типа решимости оказывается, что он отличается от предыдущих типов: гам в момент выбора одной альтернативы мы упускаем или почти упускаем из виду другую, здесь же мы все время не теряем из виду ни одной альтернативы; отвергая одну из них, мы делаем для себя ясным, что именно в эту минуту мы теряем. Мы, так сказать, преднамеренно вонзаем иглу в свое тело, и чувство внутреннего усилия, сопровождающее этот акт, представляет в последнем типе решимости такой своеобразный элемент, который резко отличает его от всех остальных типов и делает его психическим явлением *suī generis*. В огромном большинстве случаев наша решимость не сопровождается чувством усилия. Я думаю, мы склонны считать это чувство более частым психическим явлением, чем оно есть на самом деле, вследствие того что во время обдумывания мы нередко сознаем, как велико должно быть усилие, если бы мы захотели реализовать известное решение. Позднее, когда действие совершено без всякого усилия, мы вспоминаем о нашем соображении и ошибочно заключаем, что усилие действительно было сделано нами.

Существование такого психического явления, как чувство усилия, ни в коем случае нельзя отвергать или подвергать сомнению. Но в оценке его значения господствуют большие разногласия. С уяснением его значения связано решение таких важных вопросов, как само существование духовной причинности, проблема свободы воли и всеобщего детерминизма. Ввиду этого нам необходимо обследовать особенно тщательно те условия, при которых мы испытываем чувство волевого усилия. Чувство усилия. Когда я утверждал, что сознание (или связанные с ним нервные процессы) по природе импульсивно, мне следовало бы добавить: при достаточной степени интенсивности. Состояния сознания различаются по способности вызывать движение. Интенсивность некоторых ощущений на практике бывает бессильна вызвать заметные движения, интенсивность других влечет за собой видимые движения. Говоря: «на практике», я хочу сказать: «при обыкновенных условиях». Такими условиями могут быть привычные остановки в деятельности, например приятное чувство *dolce far niente* (сладкое чувство ничегонеделания), вызывающее в каждом из нас известную степень лени, которую можно преодолеть только при помощи энергичного усилия воли; таково чувство прирожденной инертности, чувство внутреннего сопротивления, оказываемого нервными центрами, сопротивления, которое делает разряд невозможным, пока действующая сила не достигла определенной степени напряжения и не перешла за ее границу.

Условия эти бывают различны у разных лиц и у того же лица в разное время. Инертность нервных центров может то увеличиваться, то уменьшаться, и, соответственно, привычные задержки действия то возрастать, то ослабевать. Наряду с этим должна изменяться интенсивность каких-то процессов мысли и стимулов, и известные ассоциационные пути становятся то более, то менее проходимыми. Отсюда понятно, почему так изменчива способность вызывать импульс к действию у одних мотивов по сравнению с другими. Когда мотивы, действующие слабее при нормальных условиях, становятся сильнее действующими, а мотивы, сильнее действующие при нормальных условиях, начинают действовать слабее, то действия, совершаемые обыкновенно без усилия, или воздержание от действия, обыкновенно не сопряженное с трудом, становятся невозможными или совершаются только при затрате усилия (если вообще совершаются в подобной ситуации). Это выяснится при более подробном анализе чувства усилия.

Здоровая воля. Есть нормальная степень импульсивной силы в различных психических мотивах, которая характеризует здоровое состояние человеческой воли, а отклонения от этой степени возможны в исключительных случаях у ненормальных индивидов. Душевные состояния, связанные с наибольшей степенью импульсивной силы, суть, во-первых, объекты страстей, влечений и эмоций, — короче говоря, объекты инстинктивной реакции; во-вторых, приятные или неприятные чувства и идеи; в-третьих, идеи, которым мы почему-либо привыкли повиноваться, так что в нас укоренилась

привычка руководствоваться ими в действиях, наконец, в-четвертых, это впечатления, непосредственно воспринимаемые от данного объекта или близкие по пространству и времени. Все отдаленные соображения, крайне отвлеченные концепты, непривычные доводы и мотивы, не соответствующие состоянию развития наших инстинктов в данную минуту, лишены импульсивной силы или обладают ею в крайне слабой степени. В тех случаях, когда они одерживают верх, непременно сопровождаются усилием, и, таким образом, в нормальном состоянии воли, в отличие от патологического, применение усилия ограничивается сферой неинстинктивных мотивов всякий раз, когда последние нужно сделать руководящими нашим поведением.

Здоровье воли обусловлено известной степенью осложнения в тех психических процессах, которые предшествуют волевому решению или действию. Каждый стимул, каждая идея, порождая импульс, должны наряду с этим вызвать другие идеи и связанные с ними характерные импульсы, и затем уже, только не слишком преждевременно, должно наступить самое действие, являясь конечным результатом целого ряда взаимодействующих сил. Даже когда решение наступило быстро, при нормальном порядке вещей необходим предварительный обзор поля действия и окончательный выбор пути до наступления реакции. Когда воля здорова, окончательная оценка мотивов бывает верной (т. е. мотивы находятся в нормальном, привычном отношении друг к другу) и действие совершается в надлежащем направлении.

Таким образом, болезни воли возникают различным путем. В тех случаях, когда действие наступает слишком быстро вслед за вызывающим его мотивом, не давая времени развиться задерживающим ассоциациям, мы имеем стремительную волю. В тех случаях, когда ассоциации появляются, но нормальное отношение между импульсивными и задерживающими факторами нарушено, мы имеем извращение воли. Оно может быть, в свою очередь, обусловлено избытком или недостатком интенсивности в том или другом психическом процессе, избытком или недостатком инертности различных нервных центров, наконец, избытком или недостатком задерживающей силы. Сравнивая между собой внешние проявления извращения воли, мы можем разделить его на два вида, в одном из них нормальные акты воли невозможны, в другом неудержимо совершаются ненормальные акты. Короче говоря, мы можем назвать первый вид извращения воли пониженной активностью воли, второй — повышенной активностью воли.

Впрочем, зная, что конечный результат зависит от отношения, существующего в данную минуту между задерживающими и вызывающими его силами, мы поймем, что невозможно по одним внешним проявлениям определить элементарную причину извращения воли у данного лица: обусловлено ли извращение воли недостаточностью или чрезмерностью какого-нибудь из факторов, в совокупности порождающих данное действие. Повышенная активность воли может быть результатом как потери способности действовать импульсивным путем в известном направлении, так и приобретения способности действовать импульсивным путем в новых направлениях. Равным образом можно утратить способность к определенным импульсам вследствие ослабления первоначальных стремлений или вследствие образования новых стремлений и новых путей нервного разряда. По словам Клоустона, или ездок может быть так слаб, что не будет в состоянии править хорошо объезженной лошадью, или лошадь так тугоузда, что никакой ездок с ней не справится.

Повышенная активность воли. Во-первых, это происходит от недостаточного задержания движений. Повышенная активность воли наблюдается у лиц вполне нормальных, у которых импульсы к движению вызывают нервный разряд так быстро, что задерживающие движение токи не успевают возникнуть. Сюда относятся люди с крайне подвижным и горячим темпераментом, постоянно оживленные и разговорчивые люди, которыми изобилуют славянская и кельтская расы и с которыми столь резко контрастируют хладнокровные, тяжелые на подъем англичане. Первые кажутся нам похожими на вечно прыгающих обезьян, а мы им представляемся неповоротливыми земноводными. Если взять двух индивидов, одного — с повышенной, другого — с пониженной активностью воли, то нельзя решить, который из них располагает большим количеством жизненной энергии. Подвижной итальянец, одаренный живой восприимчивостью и впечатлительным умом, способен произвести своими

талантами необычайный эффект, «показать товар лицом», между тем как сдержанный янки, не уступая, может быть, итальянцу в талантах, будет скрывать их в глубине души, и вы едва сумеете их обнаружить. Итальянец будет душой общества; он поет, произносит речи, руководит общественными увеселениями, готов подшутить над кем-нибудь, приволокнуться, принять участие в дуэли, а в случае несчастья, разрушения надежд и планов так ведет себя, что постороннему наблюдателю кажется, будто энергии у этого человека неизмеримо больше, чем у какого-нибудь благоразумного и сдержанного юноши. Но последний может обладать такими же способностями и быть готовым каждую минуту проявить их, если бы задерживающие центры не препятствовали этому. Отсутствие предварительных соображений, колебаний, проявление в каждую минуту удивительно упрощенного душевного склада сообщают людям с повышенной активностью воли необыкновенную энергию и непринужденность в действии; их страсти, мотивы и стремления не должны достигать особенно большой интенсивности, чтобы вызвать моторный разряд. С постепенным ходом умственного развития человечества сложность душевного склада возрастает, и наряду с ней возрастает и число мотивов, задерживающих тот или другой импульс.

Как много мы — англичане — теряем в непринужденности нашей речи только потому, что привыкли всегда говорить правду! Преобладание задержки действий имеет свою хорошую и дурную стороны. Если человек выполняет действия в общем и хорошо, и быстро; если он при этом мужественно учитывает все следствия своих поступков и обладает достаточным умом, чтобы с успехом достигнуть цели, то ему остается только благодарить судьбу за подвижный характер, побуждающий его действовать, недолго думая. В истории можно встретить немало полководцев и революционеров, принадлежащих к этому подвижному и немногосложному импульсивному типу людей. Трудные и сложные проблемы преимущественно бывают по плечу лишь лицам рефлексивного, сдержанного типа. Лица же импульсивного типа способны иногда осуществлять более широкие замыслы и избегать многих ошибок, совершаемых обыкновенно лицами рефлексивного типа. Но в тех случаях, когда первые действуют безошибочно или когда умеют постоянно поправлять свои ошибки, они являются одними из самых ценных и необходимых деятелей на пользу человечества.

У детей при истощении и в некоторых других патологических случаях деятельность задерживающих центров может оказаться слишком слабой, чтобы предупреждать наступление импульсивного разряда. При таких условиях лицо с пониженной активностью воли может на время проявлять принадлежащую противоположному типу волевую активность. У других лиц (сюда принадлежат страдающие истерией, эпилептики, преступники, относящиеся к классу душевнобольных, которых французские психологи называют *degeneres*) наблюдается в нервном механизме недостаток, когда моторные идеи в них вызывают активность воли прежде, чем задерживающие центры успеют проявить свою деятельность. У лиц с нормальной от рождения волей дурные привычки могут создать для этого благоприятные условия, особенно в области импульсов известного характера.

Переспросите половину знакомых вам пьяниц, что побуждает их так часто отдаваться соблазну, и большинство из них скажут, что они сами этого не знают. Для них запой — род припадка. Нервные центры пьяницы приобрели способность расслабляться известным образом всякий раз, как ему попадается на глаза бутылка водки. Не вкус водки привлекает его, она может даже казаться ему отвратительной; неприятная перспектива похмелья на другой день представляется ему в момент выпивки очень живо. Но, видя водку, пьяница чувствует, что он против воли принимается пить ее; больше этого никто из пьяниц ничего не может сказать. Подобным же образом человек может предаваться половым излишества, причем стимулом, по-видимому, нередко бывает не сила чувственных побуждений, а, скорее, мысль о возможности удовлетворить их. Такие характеры слишком мизерны, чтобы их можно было назвать дурными в сколько-нибудь серьезном смысле слова. У лиц с подобным складом характера нервные пути, проводящие естественные (или противоестественные) импульсы, так расслаблены, что самая небольшая степень нервного возбуждения вызывает уже окончательную реакцию. Явление это называется в патологии ослабленная раздражимость. Период скрытого внутреннего возбуждения при раздражении нервных

центров в данном случае так короток, что интенсивность напряжения в них не успевает возрасти до надлежащей степени, вследствие чего, несмотря на значительное наружное проявление активности, чувственное возбуждение может быть очень мало. Подобное нарушение внутреннего равновесия между нервными центрами особенно часто развивается у лиц с истерическим темпераментом. Они могут проявлять искреннее и глубокое отвращение к поведению известного рода, но тут же под влиянием соблазна всецело отдаются овладевшей ими страсти.

Во-вторых, повышенная активность воли проявляется от чрезмерной силы импульса. Но в то же время беспорядочные импульсивные действия можно наблюдать и тогда, когда нервные ткани сохранили нормальную степень внутреннего напряжения, а задерживающие центры действуют правильно или даже с чрезмерной силой. В таких случаях сила импульсивной идеи ненормально велика, и то, что при других обстоятельствах промелькнуло бы в качестве простой возможности действия, вызывает страстное, неудержимое стремление к действию. <...>

Нормальные люди не могут составить себе понятия о той неудержимой силе, с какой дипсоман или опиоман стремится удовлетворить свою страсть. «Поставьте в одном углу комнаты меня, в другом — бутылку рому, а в промежутке между ними стреляйте непрерывно из пушек — и все-таки я перебегу через комнату, чтобы достать бутылку»; «Если бы с одной стороны стояла бутылка водки, а с другой — были открыты врата ада и если бы я знал, что, выпив один стакан, я немедленно попаду в ад, то и тогда я не отказался бы выпить» — вот что говорят многие дипсоманы. Муссей (в Цинциннати) описывает следующий случай: «Несколько лет тому назад в один из домов призрения в Цинциннати был помещен горький пьяница. В течение нескольких дней он всячески пытался раздобыть рому, но безуспешно. Наконец, он придумал удачный способ. При богадельне был дровяной двор; придя на этот двор, пьяница взял в одну руку топор, а другую положил на деревянную колоду и единым взмахом топора отрубил себе кисть руки. Приподняв кверху обрубок руки, из которого лилась потоком кровь, он вбежал в дом с криком: «Рому! Скорее рому! Я отрубил себе руку!» Поднялась суматоха, тотчас принесли чашку рому; пьяница погрузил в нее окровавленный обрубок руки, а затем быстро поднял чашку ко рту, выпил залпом ее содержимое и радостно закричал: «Ну, теперь я доволен!» Муссей рассказывает о другом пьянице, который, находясь на лечении от запоя, в течение месяца тихонько попивал алкоголь из шести банок с заспиртованными препаратами. Когда доктор спросил его, что побудило его к такому омерзительному поступку, он отвечал: «Сэр, я так же не властен обуздать мою болезненную страсть к вину, как не властен остановить биение сердца». < >

Пониженная активность воли. Описанные случаи, в которых импульс к действию слишком силен или задержание действия недостаточно велико, представляют резкий контраст с теми случаями, когда импульс к действию слишком слаб или задержание его слишком велико. В главе «Внимание» описано душевное состояние, при котором мы на несколько минут теряем способность сосредоточиваться на чем-нибудь и наше внимание рассеивается. Мы сидим, бесцельно уставив глаза в пространство, и ничего не делаем. Ничто не задевает нас за живое, внешние впечатления не привлекают нашего внимания. Они воспринимаются нами, но не настолько живо, чтобы вызывать в нас какой-либо интерес. Это индифферентное отношение к некоторой части объектов, входящих в данную минуту в область нашего сознания, — нормальное явление. Сильное утомление или истощение может вызвать у нас такое же отношение почти ко всему содержанию нашего сознания; апатия, сходная с этим состоянием духа, называется психиатрами абулией и считается душевной болезнью. Для нормального состояния воли, как я заметил выше, необходимо, чтобы мы отчетливо сознавали область каждого нашего действия и, руководствуясь ею, выполняли последнее. Но при душевной болезни область действия может совершенно оставаться без внимания. В таких случаях, несмотря на неповрежденность умственных способностей, действие или вовсе не выполняется, или выполняется ненадлежащим образом. «*Video meliora proboque deteriora sequor*» (доброе вижу и сочувствую ему, но влекусь к иному) — вот классическая характеристика такого душевного состояния.

В нашей нравственной жизни трагическое обусловлено главным образом тем, что нормальная связь между осознанием истинного плана действия и его осуществлением порвалась, и тем, что известные

идеи никак не могут возбудить в нас живого стремления к их реализации. Люди не так различаются между собой по складу чувств и мыслей, как по образу действия. Их идеалы, мотивы их действий далеко не так расходятся между собой, как это можно было бы подумать при различии их судеб. Никто не чувствует так живо разницы между благородными и низкими путями в жизни, как разные горькие неудачники, мечтатели, составители неосуществимых проектов, спившиеся с круга таланты и т. д., жизнь которых — одно сплошное противоречие между знанием и действием и которые при всех познаниях бессильны исправить свой жалкий характер. Иные из них обладают чрезвычайно большими познаниями, в тонкости нравственного чувства они далеко превосходят добропорядочность довольного судьбой буржуа, который так возмущается их недостойным поведением. И тем не менее это существа вечно недовольные, вечно жалующиеся на горькую участь. Они постоянно высказывают догадки, соображения, протестуют против чего-нибудь, вечно колеблются, никогда не принимают окончательных решений, обо всем рассуждают в минорном тоне, ограничиваясь выражением своих желаний и требований; стряхнуть с себя апатию и бодро приняться за работу такие люди совершенно неспособны. Можно предположить, что в таких характерах, как Руссо и Рестиф, низменные импульсы к деятельности преобладали. Эти импульсы для подобных людей как будто исключают всякую возможность более благородного склада жизни. Наряду с низменными импульсами у них в изобилии благородные мотивы к деятельности, но эти мотивы совершенно бессильны повлиять на их поведение, как не влияют на быстро мчащийся поезд крики стоящего у дороги пешехода, который просит посадить его. До конца жизни такие мотивы являются балластом; и то чувство душевной пустоты, которое начинаешь испытывать, видя, как люди с благороднейшими чертами характера совершают наихудшие поступки, это чувство — одно из самых тягостных, какое может испытывать человек в нашем печальном мире.

Усилие создается нами как некоторый первичный фактор. Теперь нам легко увидеть, когда в состав волевого акта входит чувство усилия. Это бывает, когда мотивы более редкие, более идеального характера должны одержать перевес над мотивами более привычного, импульсивного характера, когда нужно подавить порывистые стремления или преодолеть значительные препятствия к действию. «Une ame bien p  e» — счастливое дитя, которому судьба покровительствует от самого рождения, щедро одарив его всякими благами, — редко прибегает в жизни к усилиям воли. Но герои постоянно ими пользуются. Нервные люди также часто нуждаются в усилиях воли. При всех этих условиях мы представляем себе произвольное усилие воли в виде активного напряжения, сообщающего силу тем мотивам, которые в конце концов одерживают верх. Когда на наше тело действуют внешние силы, мы говорим, что в результате получается движение по линии наибольшего давления или наименьшего сопротивления.

Любопытно, что, с обыденной точки зрения, усилие при волевом акте ведет к иному результату. Разумеется, если мы условимся называть линией наименьшего сопротивления ту, по которой совершается конечное движение, то общий физический закон придется распространить и на область волевых актов. Но во всех случаях, где напряжение воли велико и где одерживают верх редкие идеальные мотивы, нам кажется, будто действие совершается по линии наибольшего сопротивления и будто нам представлялась возможность в момент совершения действия направить его по линии наименьшего сопротивления, но мы предпочли более трудный путь. Тот, кто удерживается от криков под ножом хирурга или кто выносит общественный позор во имя долга, думает, что в момент совершения действия он выполняет его по линии наибольшего сопротивления. Он говорит, что победил, преодолел известные соблазны и побуждения.

Лентяи же, подлецы и трусы не выражаются таким образом о своем поведении: лентяи не говорят, что противодействовали своему трудолюбию, пьяницы — что боролись с трезвостью, трусы — что подавили в себе храбрость. Все вообще мотивы к действию можно разделить на два класса, из которых первый образует природные склонности, а второй — идеальные стремления; человек, отдавшийся чувственным наслаждениям, никогда не говорит, что он победил в себе идеальные стремления, но строго нравственные люди всегда толкуют о победе над природными склонностями. Человек,

привыкший наслаждаться чувственным образом, иногда говорит, что в нем мало нравственной энергии, что он утратил веру в идеал, что он глух к голосу совести и т. п. Смысл этих выражений, по-видимому, тот, что идеальные мотивы могут быть сами по себе подавлены без особенных усилий, склонности же можно преодолеть только действиями, совершаемыми по линии наибольшего давления.

В сравнении со склонностями идеальные мотивы кажутся столь слабыми, что, по-видимому, только искусственным путем можно сообщить им преобладающее значение. Усилие увеличивает интенсивность идеальных мотивов, заставляя нас думать, будто, в то время как сила склонности остается всегда одной и той же, сила идеальных мотивов может быть различных степеней. Но чем обусловлена эта степень усилия, когда с ее помощью идеальные мотивы начинают одерживать верх над грубыми чувственными побуждениями? Самой величиной сопротивления. Если слабо чувственное побуждение, то и усилие для подавления его должно быть слабым. Чем больше препятствие, тем большее усилие необходимо для того, чтобы одолеть его. Поэтому наиболее сжатым и соответствующим кажущемуся порядку вещей определением идеального или морального действия может быть следующее: оно есть действие по линии наибольшего сопротивления. <...> Страдание и наслаждение как источники деятельности. Предметы и мысли о предметах служат стимулами для наших действий, но наслаждения и страдания, сопровождающие действия, видоизменяют характер последних, регулируя их; позднее мысли о наслаждениях и страданиях, в свою очередь, приобретают силу двигательных импульсов и мотивов, задерживающих действия. Для этого не нужно, чтобы с мыслями о наслаждении было непременно связано чувство наслаждения: обыкновенно мы замечаем обратное. «Nessun maggior dolore...» (нет большего мучения...), — говорит Данте. Равным образом с мыслями о страдании может быть связано чувство удовольствия. Воспоминания о минувшем горе, по словам Гомера, доставляют удовольствие. Но так как наслаждения весьма усиливают любые вызывающие их действия, а страдания затормаживают их, то мысли о страданиях и наслаждениях принадлежат к мыслям, связанным с наибольшей импульсивной и задерживающей силой. Ввиду этого нам необходимо рассмотреть их подробнее, чтобы точно выяснить отношение этих мыслей к другим.

Если известное движение приятно, то мы повторяем его до тех пор, пока продолжается связанное с ним приятное ощущение. Как только движение вызвало в нас боль, мышечные сокращения мгновенно прекращаются. Движение в этом случае задерживается с такой силой, что человеку почти невозможно преднамеренно, не торопясь, изуродовать или изрезать себя: рука невольно отказывается причинять нам боль. Есть немало приятных ощущений, которые, как только мы начали испытывать их, с неудержимой силой побуждают нас поддерживать в себе ту деятельность, которая вызывает их. Влияние наслаждений и страданий на наши движения так сильно и глубоко, что некоторые философы поспешили сделать скороспелое заключение, будто приятные и неприятные ощущения суть единственные стимулы к деятельности и будто эти ощущения кажутся иногда отсутствующими во время действия только потому, что представления, с которыми они тогда связаны, не играют первенствующей роли в нашем сознании и вследствие этого остаются не замеченными нами. Такая точка зрения глубоко ошибочна. Как ни важно влияние наслаждений и страданий на нашу деятельность, они все-таки далеко не единственные стимулы к движению, например в проявлениях инстинктов и эмоций они не играют ровно никакой роли. Кто улыбается ради удовольствия улыбаться или хмурится ради удовольствия хмуриться? Разве мы краснеем, чтобы избежать неприятных ощущений, которые нам придется испытать, если мы не покрасеем? Разве мы проявляем наш гнев, печаль или страх движениями ради какого-нибудь удовольствия? Во всех этих случаях определенные движения совершаются роковым образом силой внутреннего импульса, возникающего в нашей нервной системе под влиянием внешнего стимула. Объекты гнева, любви, страха, поводы к слезам или улыбкам как в виде непосредственных впечатлений, так и в виде воспроизведенных образов обладают этой своеобразной импульсивной силой. Почему известное психическое состояние обладает этим импульсивным качеством, остается для нас недоступным. Различные психические состояния обладают

этим качеством в разной степени и проявляют его по-разному. Оно бывает связано и с чувствами наслаждения и страдания, и с восприятиями, и с воспроизведенными представлениями, но ни одно из этих душевных явлений не обладает им по преимуществу.

Все состояния сознания (или связанные с ними нервные процессы) по своему существу являются источниками известных движений. Объяснить все разнообразие этих движений у различных живых существ и при различных внешних стимулах составляет проблему истории развития. Но каков бы ни был исторический генезис наблюдаемых у нас импульсов, мы должны описывать их в том виде, в каком они проявляются у человека в настоящее время. И психологи, которые считают себя обязанными усматривать в наслаждении и страдании единственные сознательные или полусознательные мотивы для импульсов к движению и для задержки движений, являются сторонниками узкой и ложной телеологии: последняя есть научный предрассудок. Если мысль о наслаждении может быть стимулом к движению, то, конечно, таким стимулом могут быть также и другие мысли. Каковы эти мысли, можно определить только при помощи опыта. В главах «Инстинкт» и «Эмоция» мы видели, что имя им — легион; ввиду этого нам придется или отвергнуть чуть не половину известных нам фактов, или отказаться от мнимо научных упрощений.

Если в первичных актах человека ощущения наслаждений и страданий не играют никакой роли, то в производных действиях в искусственно приобретенных актах, ставших привычными, они имеют так же мало значения. Наши ежедневные действия: одевание, раздевание, различные акты при начале работы, во время ее и по окончании — за редкими исключениями не связаны ни с какими чувствами наслаждения или страдания. Это идеомоторные акты. Как я дышу не ради удовольствия дышать, а просто сознаю, что дышу, так и пишу не ради удовольствия писать, а просто потому, что, раз принявшись писать и чувствуя, что голова хорошо работает и дело подвигается вперед, я вижу, что продолжаю еще писать. Кто станет утверждать, что, рассеянно играя ручкой ножа за столом, он этим доставляет себе удовольствие или избегает неприятных ощущений? Все подобные действия мы совершаем потому, что не можем в данную минуту удержаться от них; наша нервная система так именно сложилась, что эти действия таким путем проявляются у нас, и для многих бесцельных или прямо «нервических» движений мы не можем привести никаких оснований.

Представьте себе застенчивого и малообщительного человека, который неожиданно получает приглашение на семейный вечер. Бывать на таких вечерах для него сущая пытка, но в нашем присутствии он не решается отказаться и обещает приехать, в то же время проклиная себя в душе. Подобные вещи случаются постоянно с каждым из нас, и только люди с необыкновенным самообладанием редко испытывают такие состояния. *Voluntas invita* (подавленная воля), проявляющаяся в подобных случаях, не только показывает, что наши действия вовсе не должны быть связаны с представлением будущего наслаждения, но и что здесь может даже не быть никакого представления будущего блага. С понятием «благо» связано гораздо больше мотивов к деятельности, чем с понятием «наслаждение». Но наши действия бывают столь же часто не связаны с идеей блага, как и с идеей наслаждения. Все болезненные импульсы, все патологические *idees fixes* могут служить примерами этому. Иногда дурные последствия придают запретному акту всю его заманчивость. Снимите запрет с поступка, имеющего дурные последствия, и он утратит привлекательность. <...> Наши действия определяются объектом, на который направлено наше внимание. Интерес объекта — вот главное условие, от которого зависит его способность вызывать или задерживать наши действия. В состав понятия «интересное» входит не только приятное и неприятное, но и болезненно-привлекательное, и неотвязчиво-преследующее, и даже просто привычное, поскольку различные стороны последнего составляют попеременно объект нашего внимания: «то, что интересуется нас» и «то, на что направлено наше внимание», в сущности, синонимы. Импульсивность идеи, по-видимому, заключается не в известного рода связи ее с путями моторного разряда (ибо все идеи находятся в том или другом отношении к некоторым путям моторного разряда), но, скорее, в некотором явлении, предваряющем действие, именно в стремительности, с которой она способна привлечь наше внимание и сделаться господствующей в области нашего сознания. Как только она

сделалась господствующей, как только другие идеи оказались не в состоянии занять ее место, связанные с ней по природе, движения немедленно выполняются. Иначе говоря, двигательный импульс необходимо следует за ней.

Как мы видели, и в инстинкте, и в эмоции, и в обыкновенном идеомоторном действии, и при гипнотическом внушении, и при болезненных импульсах, и при *voluntas invita* импульс к движению сообщает просто та идея, которая в данную минуту овладела нашим вниманием. То же наблюдается и в случае, когда стимулами к действию являются наслаждение и страдание; вызывая свойственные им волевые действия, они в то же время вытесняют из области сознания другие объекты мысли. То же бывает и при возникновении в нашем сознании окончательного решения во всех пяти описанных нами случаях решимости. Короче говоря, нельзя указать такого случая, где господствующий в нашем сознании элемент мысли не являлся бы в то же время главным условием, от которого зависит проявление импульсивной силы. Еще очевиднее, что он главное условие и для проявления задерживающей силы. Простое представление о мотивах, не благоприятствующих данному импульсу, уже задерживает последний; они налагают на известные поступки свое *veto*, и действия, весьма привлекательные при других условиях, становятся невозможными. Какую бодрость и энергию почувствовали бы мы, если бы могли выкинуть из головы на некоторое время наши колебания, сомнения и опасения!

Воля есть отношение между духом и идеями. Заканчивая анализ внутренней природы волевого процесса, мы подходим к рассмотрению почти исключительно тех условий, при которых известные идеи достигают преобладания в нашем сознании. Этим простым констатированием наличия в сознании моторной идеи психология воли, собственно говоря, должна ограничиться.

Сопровождающие моторную идею движения представляют собой чисто физиологическое явление, обусловленное, согласно физиологическим законам, нервными процессами, соответствующими данной идее. С появлением идеи воление заканчивается, и для самого психического акта воления несущественно, совершилось или нет желанное движение. Я хочу писать — и пишу. Я желаю чихнуть — и не могу. Я желаю, чтобы стол с другого конца комнаты самопроизвольно придвинулся ко мне, — он остается неподвижным. Мое желание так же мало может побудить меня чихнуть, как и побудить этот стол придвинуться ко мне. Но здесь в обоих случаях происходит воление так же, как и тогда, когда я захотел писать.

Словом, воление есть чисто психическое явление, которое всегда налицо там, где есть известное устойчивое состояние сознания в виде моторной идеи.

Волевое усилие есть усилие внимания. Итак, мы подошли к центральному пункту учения о воле, к выяснению вопроса о том, в силу какого процесса мысль об известном действии становится устойчивой в нашем сознании. В главах об ощущениях, ассоциации и внимании мы подробно рассмотрели, при каких условиях проникают в сознание и делаются в нем устойчивыми мысли, не связанные с усилием. Чтобы не повторяться, ограничимся следующим замечанием: каково бы ни было значение закона ассоциаций и связанных с ними интересов, этот закон остается главным руководящим принципом наших объяснений. Что касается случаев, когда наличие мысли сопровождается психическим явлением усилия, то здесь требуется более разъяснений. Для нас должно быть ясно, что для произвольного волевого акта не требуется ничего иного, кроме внимания, сопряженного с усилием. Короче говоря, в случаях наиболее «произвольного» воления главнейший подвиг воли заключается в том, чтобы направить сознание на непривлекательный объект и сосредоточить на нем все внимание. Произойдут ли при этом ожидаемые движения или нет — уже зависит от простой физиологической случайности.

Таким образом, усилие внимания составляет существенную черту волевого акта. Читатель мог убедиться в справедливости этого положения из личного опыта, ибо ему наверное случалось когда-нибудь испытать порыв бурной страсти. Почему человеку, который пытается отделаться от охватившей его безумной страсти, трудно поступать так, как будто страсть его была благоразумна? Разумеется, не вследствие физических причин. Физически одинаково легко избежать драки или

завязать ее, прикарманить чужие деньги или растратить собственные на чужие прихоти, пойти или не пойти на любовное свидание. Трудность здесь заключается в психическом напряжении, в умении найти соответствующую благоразумную идею и на ней сосредоточить свое внимание.

При сильном эмоциональном возбуждении мы склонны вызывать в себе только те представления, которые благоприятствуют нашей страсти. Если при этом нам приходят в голову иные представления, мы тотчас отвергаем их и вытесняем из сферы сознания. Если нас охватило радостное настроение, то мы крайне не расположены думать о непредвиденных случайностях, которые могут нас постигнуть в будущем; если мы чувствуем дурное расположение духа, мысли о торжестве, приятных путешествиях, счастливых любовных приключениях и других радостях жизни не идут нам на ум; если мы хотим отомстить кому-нибудь, то не чувствуем ни малейшего желания сравнивать врага с собой и находить у обоих сходные черты.

Ничто на свете не способно так раздражать нас, как хладнокровные советы, даваемые нам в момент сильнейшего порыва страсти. Не будучи в состоянии ничего возразить на них, мы начинаем сердиться, ибо с нашей страстью бывает связан какой-то инстинкт самосохранения; она будто чувствует, что холодные соображения, раз забравшись в нашу голову, постепенно ослабят пыл наших восторгов и разрушат до основания те воздушные замки, которыми заполнено наше воображение. Таково неизбежное влияние благоразумных соображений на неблагоразумные в тех случаях, когда мы даем себе труд спокойно выслушать приводимые нам резоны. Ввиду этого страсть стремится окончательно заглушить их слабый голос: «Ах, лучше не думать об этом!»; «Не говорите мне об этом!» — вот обычные восклицания ослепленных страстью людей, которым приводят разумные доводы, идущие вразрез с их стремлениями. Есть что-то холодное, мертвящее, глубоко враждебное нашим жизненным стремлениям в голосе разума, говорящего нам: «Стой! Удержись! Отступи! Оставайся на месте!» Поэтому не мудрено, что большинство людей в минуту увлечения боятся увещания разума, как призрака смерти. Впрочем, человеком с сильной волей может быть назван только тот, кто неуклонно выслушивает слабый голос разума, не старается выкинуть из головы страшные мысли о будущем, а, наоборот, сосредоточивает на неблагоприятных соображениях свое внимание, соглашается с ними и пытается глубже вникнуть в них, невзирая на то, что множество иных идей возмущаются против этих соображений и стремятся вытеснить их из области сознания. Соображения эти, удерживаясь энергичными усилиями внимания в нашем сознании, влекут за собой сходные с ними мысли и элементы ассоциаций и в конце концов вызывают в человеке полную перемену настроения. А с переменой взгляда на дело и образ действия человека меняется, направляется на новый объект мысли, который становится господствующим в его сознании и неизбежно влечет за собой какие-то действия.

Вся трудность в том, чтобы сделать известный объект мысли господствующим в области сознания. Для этого мы должны, несмотря на то что произвольное течение мысли направлено на посторонние предметы, упорно сосредоточивать внимание на нужном объекте, пока он не начнет разрастаться так, чтобы без труда овладеть областью сознания и стать в ней господствующим.

Таким образом, напряжение внимания — основной волевой акт. И в большинстве случаев активность воли заканчивается в тот момент, когда она оказала достаточную поддержку объекту мысли, который обыкновенно сам по себе неохотно удерживается нами в области сознания. Только вслед за этим устанавливается таинственная связь между мыслью и двигательными центрами, а затем уже (невозможно даже догадаться, каким именно путем) наступают как необходимый конечный результат послушные нашей воле движения телесных органов.

Из сказанного легко увидеть, что непосредственное применение волевого усилия есть чисто психический факт: вся внутренняя борьба, переживаемая нами при этом, есть чисто психическое явление; вся трудность, которую нам приходится преодолевать при волевом акте, заключается в стремлении сделать известный психический элемент господствующим в области сознания, — короче говоря, все дело заключается в идее, на которую направлена наша воля и которую мы удерживаем, так как в противном случае она ускользнет от нас. Весь подвиг волевого усилия состоит в том, чтобы

вынудить у нас согласие на господство определенной идеи в области нашего сознания. Единственное назначение усилия — в достижении такого согласия. Достигнуть же его можно только одним путем: надо задержать в области сознания то соображение, которое должно вызвать в нас согласие, и не давать этому соображению ускользнуть, пока оно не заполнит всю область сознания. <...> Если данное представление или соображение так или иначе связано с какими-то движениями нашего тела, то, допуская после некоторых усилий его присутствие в области сознания, мы тем самым совершаем то, что называется произвольным движением. В этом случае природа «следует по пятам» за нашим внутренним волевым процессом, немедленно воплощая наши помыслы в движении тела. Как жаль, что она не оказалась еще великодушнее, не подчинила непосредственно нашей воле и перемены в остальном внешнем мире!

Описывая разумный тип решимости, мы заметили, что к нему относятся обыкновенно те случаи, в которых мы подыскиваем для предстоящего действия аналогичный поступок в прошлом. Впрочем, когда мы должны на основании прежних опытов задержать действие, вся изворотливость нашего ума тратится на то, чтобы подыскать благоприятный случай, якобы аналогичный данному, в котором действие не задерживалось, и таким путем, потворствуя нашим страстям, мы санкционируем предосудительное действие. Как много оправданий находит пьяница для выпивки в минуты соблазна! То перед ним новый необыкновенный род вина, который необходимо попробовать как явление, знаменующее шаг вперед по пути умственного прогресса; тем более оно уже разлито по рюмкам — не за окно же выливать его! Да, наконец, и кругом все пьют — не пить в их присутствии прямо невежливо! Или оказывается, что вино хорошо от бессонницы; что оно придаст бодрости, как раз на столько, чтобы окончить к сроку работу; что на дворе очень холодно, а потому необходимо выпить; что нынче праздник — Рождество Христово; что вино подбадривает, и потому, выпив, можно с гораздо большей решимостью дать зарок больше не пить; что одну-единственную рюмочку в последний раз можно выпить; что одна не считается и т. д. Одно только представление остается без внимания — «пьяница». Поклонник Бахуса старается как можно скорее выкинуть его из головы, если оно случайно придет ему на ум. Но это представление поражает воображение человека, когда приятные доводы в пользу выпивки стушевываются перед страшной перспективой стать пьяницей, тогда нередко склонность к вину быстро пропадает. Усилие, с помощью которого удастся постоянно удерживать перед собой страшное представление «пьяница», — именно это усилие и избавляет человека от нравственного падения.

Итак, роль усилия везде та же: оно задерживает и делает господствующим в нашем уме то представление, которое само по себе непременно ускользнуло бы из области сознания. Такое усилие слабо и вяло, когда произвольное течение мыслей стремится к подъему, или велико и стремительно, когда произвольное течение мыслей клонится к упадку. В первом случае усилие должно задерживать повышенную активность воли, во втором — возбуждать пониженную активность воли. У истомленного моряка, потерпевшего кораблекрушение и плывущего на обломках судна, активность воли понижена. Ссадины на руках его болят, организм истощен до последней степени, он с наслаждением лег бы и заснул, а между тем надо править парусами, чтобы плыть вперед. Страшный вид моря, готового каждую минуту проглотить его, удерживает его от соблазна «соснуть». «Лучше пострадать еще немного, — говорит он себе, — чем гибнуть в море!» И последнее соображение одерживает верх над соблазнительным желанием отдохнуть. Иногда бывает наоборот: мысль о сне не идет на ум, и только при помощи больших усилий удается заснуть. Если человек, страдающий бессонницей, начнет безучастно созерцать беспорядочную смену идей в своем сознании, стараясь ни о чем не думать (что возможно), если начнет про себя медленно и монотонно произносить букву за буквой из какого-нибудь текста Священного писания, то почти всегда это оказывает надлежащее физиологическое действие и сон наступает. Только трудно сосредоточивать внимание на впечатлениях, не представляющих никакого интереса. Мышление, сосредоточение внимания на определенных представлениях — вот единственный связанный с моральным усилием акт, общий и для здоровых лиц, и для сумасшедших, и для людей с повышенной, и для людей с пониженной активностью

воли. Большинство маньяков сознают нелепость своих мыслей, но не могут от них отделаться вследствие их неотразимости. Разумный образ мыслей по сравнению с дикими фантазиями представляется им таким бесцветным, прозаически-трезвым, что у них не хватает духу сказать себе: «Пусть этот взгляд на вещи сделается моим постоянным мирозерцанием». Но при достаточном усилии воли, говорит Ви-ган, таким людям удастся на время взвинтить себя и внушить себе, что нелепые фантазии, связанные с расстройством мозга, не должны больше приходить на ум. <...> Итак, мы приходим к выводу, что в волевом процессе опорным пунктом, на который воля непосредственно направлена, всегда бывает известная идея. Существует группа идей, которых мы смертельно боимся и потому не даем переходить выше порога сознания. Единственное сопротивление, какое может испытывать наша воля, — это сопротивление подобных идей, когда мы хотим насильно вовлечь их в область нашего сознания. Стремление удерживать в области сознания подобные идеи, и только оно одно, и составляет внутреннюю сторону всякого волевого акта. Вопрос о свободе воли. Выше мы заметили, что при волевом усилии нам кажется, будто в каждую минуту мы могли бы сделать это усилие большим или меньшим по сравнению со сделанным нами. Другими словами, нам кажется, будто усилие не зависит постоянно от величины сопротивления, которое оказывает известный объект нашей воли; будто по отношению к окружающим обстоятельствам (к мотивам, складу характера и т. д.) оно представляет то, что на математическом языке называется независимой переменной. Если степень усилия представляет независимую переменную в отношении к окружающим условиям, то наша воля, как говорится, свободна. Если же, наоборот, степень усилия есть вполне определенная функция, если мотивы, которые должны влиять вполне точным образом на наше усилие, оказывающее им равное противодействие, если эти мотивы были предопределены от вечности, то воля наша несвободна и все наши действия обусловлены предшествующими действиями. Таким образом, вопрос о свободе воли чрезвычайно прост: все дело сводится к определению степени усилия внимания, которым мы можем располагать в данную минуту. Находятся ли продолжительность и интенсивность усилия в постоянной зависимости от окружающих условий или нет?

Нам кажется, как я заметил выше, будто в каждом отдельном случае мы можем по произволу проявить большую или меньшую степень усилия. Если человек в течение дней и даже недель предоставлял полную свободу течению своих мыслей и вдруг завершил его каким-нибудь особенно подлым, грязным или жестоким поступком, то после, в минуту раскаяния, трудно убедить его, что он не мог не совершить этого поступка, роковым образом обусловленного всем предшествующим ходом мысли; трудно заставить его поверить, что поступок был подготовлен влиянием окружающего внешнего мира и предопределен от вечности.

Но в то же время несомненно, что все акты его воли, не связанные с чувством усилия, представляют необходимый результат тех интересных для него идей и ассоциаций между ними, интенсивность и последовательность которых были в свою очередь обусловлены строением физического тела — его мозга; мысль об общей связи мировых явлений и потребность в единстве мирового зрения также по необходимости заставляют его предполагать, что и столь незначительное явление, как степень усилия, не может не быть подчиненным всеобщему господству закона причинности. И при отсутствии усилия в волевом акте мы представляем себе возможность иной альтернативы, иного образа действия. Здесь эта возможность есть на самом деле самообман; почему же не быть ей самообманом и при всяком вообще волевом акте?

В самом деле, вопрос о свободе воли на почве чисто психологической неразрешим. После того как внимание с известной степенью усилия направлено на данную идею, мы, очевидно, не в состоянии решить, можно ли было бы сделать степень усилия большей или меньшей или нет. Чтобы решить это, мы должны выяснить, какие мотивы предшествовали волевому решению, определить с математической точностью степень интенсивности каждого из них и показать на основании законов, о которых мы не имеем в настоящее время ни малейшего понятия, что степень сделанного в данном случае усилия была единственно возможной.

Разумеется, математически точное измерение интенсивности психических или физиологических сил навсегда останется недоступным человеческому уму. Ни один психолог или физиолог не станет всерьез даже высказывать догадок о том, каким путем можно было бы добиться такой точности измерения на практике. Не имея других оснований для составления окончательного суждения об этом вопросе, мы могли бы оставить его нерешенным. Но психолог не может поступить так, он может привести важные соображения в пользу детерминизма. Он участвует в построении науки, наука же есть система определенных отношений. Где мы сталкиваемся с «независимой переменной», там для науки нет места.

Таким образом, научная психология должна постольку игнорировать произвольность наших действий, поскольку они представляют «независимую переменную», и рассматривать в них лишь ту сторону, которая строго предопределена предшествующими явлениями. Другими словами, она должна иметь дело исключительно с общими законами волевых действий, с идеями, поскольку они служат импульсами для наших действий или задерживают последние, с теми условиями, при которых может возникнуть усилие, но она не должна пытаться определять точную степень наших волевых усилий, ибо последние в случае, если воля свободна, не поддаются точному вычислению. Психология оставляет без внимания проявления свободы воли, не отрицая, безусловно, их возможности. На практике, конечно, это сводится к отрицанию свободы воли, и большинство современных психологов действительно, не колеблясь, отвергают существование свободы воли.

Что касается нас, то мы предоставим метафизикам решать вопрос о том, свободна воля или нет. Без сомнения, психология никогда не дойдет до такого совершенства, чтобы применять математически точные измерения к индивидуальным волевым актам. Она никогда не будет иметь возможности сказать заранее, до совершения действия (как в случае, когда усилие, вызвавшее его, было предопределено предшествующими явлениями, так и в случае, когда оно было отчасти произвольно), каким путем совершен данный поступок. Свободна ли воля или нет, но психология всегда останется психологией, а наука — наукой.

Итак, вопрос о свободе воли может быть в психологии оставлен без внимания. Как мы заметили выше, свобода воли, если только она существует, всецело сводится к более или менее продолжительному, более или менее интенсивному созерцанию известного представления или известной части представления. Перевес в продолжительности или интенсивности одного из мотивов, равно возможных для осуществления, и придает этому мотиву решающее значение, реализуя связанный с ним акт воли. Такое усиление или ускорение мотива может иметь огромное значение для моралиста или историка, но для психолога, рассматривающего явления с точки зрения строго детерминистской, проявления свободы воли могут быть отнесены к числу бесконечно малых факторов, которые современной науке позволительно оставить без внимания.

Важное этическое значение волевого усилия. Но, оставляя в стороне вопрос об определении степени волевого усилия как вопрос, который психологии никогда не потребует решать в ту или другую сторону, я должен заметить, что чувство усилия имеет важное значение в наших глазах при оценке человеческой личности. Разумеется, мы можем оценивать ее с различных точек зрения. Физическая сила, ум, здоровье и счастливая судьба дороги для нас: они сообщают нам достаточный запас сил для житейской борьбы. Но осознание той степени усилия, которую мы способны проявлять, составляет внутреннюю сущность нашей личности, оно одно, помимо всего остального, способно доставлять нам в жизни полное удовлетворение. Другие наши достоинства — так или иначе результат воздействий внешнего мира на нашу личность и всецело развиваются под влиянием окружающих условий, чувство же усилия, по-видимому, относится к совершенно иному миру, оно как будто составляет нашу внутреннюю сущность, нас самих; все же остальное принадлежит нам. Если цель житейской борьбы заключается в том, чтобы мы постигли в ней внутреннюю сущность нашей духовной природы, то мы должны видеть эту сущность именно в чувстве усилия, какое способны проявлять. Кто не способен к проявлению усилий воли, тот не заслуживает имени человека; кто способен проявлять громадные усилия воли, того мы называем героем.

Необъятный окружающий мир предлагает нам всевозможные вопросы, подвергает нас всевозможным испытаниям. На иные вопросы нам удастся найти ответы, из некоторых испытаний мы без труда выходим победителями. Но на важнейший вопрос жизни у нас нет ответа: в минуту нравственной борьбы мы безмолвно напрягаем нашу волю, как бы желая сказать: «А все-таки я поставлю на своем». Когда мы встречаемся с чем-нибудь трагическим в жизни, когда она раскрывает перед нами свои мрачные бездны, то слабейшие из нас теряют голову, спешат отвлечь внимание от страшного зрелища, если же это не удастся, то впадают в полное отчаяние. Они не в состоянии сделать над собой усилие и сохранить достаточно присутствия духа, чтобы смело взглянуть в лицо ужасной действительности. Иначе поступает героическая натура. На нее созерцание ужасного производит не менее потрясающее впечатление, но она в случае необходимости сохраняет в себе достаточно мужества, чтобы примириться с ужасным, найдя себе опору в других сторонах жизни. Для героической личности мир является достойной ареной, а ее роль в житейской борьбе измеряется непосредственно степенью усилия, при помощи которого она придает себе бодрость и мужество. Подобная личность в состоянии вынести бремя жизни, сохраняя веру в нее при таких обстоятельствах, когда слабейшие гибнут. Она умеет найти в жизни нравственное удовлетворение, не закрывая глаза перед опасностью, но силой одной своей воли заставляя себя идти ей навстречу. Подобные люди всегда в жизни господского положения, с ними приходится считаться, так как они играют видную роль в истории человечества. Ни в области умозрения, ни в практической жизни нам нечего беспокоиться о тех, которые ничего не боятся, которым незнакомо чувство страха. В настоящее время в практической жизни чувство страха нам приходится испытывать реже, чем прежде; в религиозной сфере, наоборот, страшные мысли чаще приходят в голову, чем в былое время. Но, подобно тому как наша храбрость нередко бывает отголоском чужой храбрости, наша вера может быть отголоском веры другого человека. Героический поступок служит нам примером для подражания. Религиозный проповедник гораздо более нас изведет горечь жизни, но бодрый вид его и восторженная речь невольно вызывают в нас аналогичные чувства, мы покоряемся его воле и следуем за ним.

Итак, и в нравственном, и в религиозном чувстве (в последнем постольку, поскольку оно зависит от нашей воли) волевое усилие играет первостепенную роль. «Хочешь ли ты, чтобы это было так или иначе?» — вот вопрос, который мы ежечасно предлагаем себе и в теории, и на практике, и в важнейших случаях жизни, и по поводу самых ничтожных житейских мелочей. Отвечаем на этот вопрос мы не словами, а поступками, совершая или не совершая известные действия. Вот почему усилие воли составляет сокровенную сущность нашей духовной природы, мерило, при помощи которого мы оцениваем достоинство человека; вот почему проявление этого усилия есть та единственная присущая нашему духу особенность, которая не зависит от окружающего мира.

Эпилог

Психология и философия

Значение слова «метафизика». В последней главе я заметил, что вопрос о свободе воли должен быть отнесен в область метафизики. Решать его окончательно на чисто психологической почве было бы преждевременно. Пусть психолог открыто станет в этом вопросе на сторону детерминизма ради специально научных психологических целей, и никто не вправе будет упрекнуть его. Если впоследствии окажется, что детерминизм имеет лишь относительное значение, что ему может быть противопоставлено иное воззрение на человеческую волю, то возможно будет найти такую позицию, которая примирит противоречащие взгляды. С этической точки зрения детерминизм должен быть ограничен, и автор, не колеблясь, становится на эту последнюю точку зрения, признавая волю «свободной». Детерминизм в психологии имеет для него лишь условное, методологическое значение. Здесь не место приводить доводы в пользу свободы воли, и я отмечаю только столкновение двух взглядов на тот же вопрос в двух различных науках, обособленных одна от другой ради практических целей научного исследования, для того чтобы показать: принципы, принимаемые на веру отдельными

науками, требуют взаимной проверки. Та область знания, где производится эта проверка, и называется метафизикой.

Метафизика — необычайно упорное стремление к ясности и последовательности в мышлении.

Отдельные науки руководствуются принципами, крайне неясными и полными противоречий, но несовершенство принципов может быть оставлено ими без внимания для специальных целей. Этим объясняется то презрительное отношение к метафизике, которое так часто можно наблюдать. Для человека, преследующего ограниченную цель, слишком утонченное, не имеющее значения для его цели обсуждение принципов представляется «метафизикой». Вопрос о том, что такое время, какова его сущность, не имеет для геолога никакого значения и выходит за пределы его исследований.

Механику нет надобности знать, как возможны действие и противодействие. Психологу нет времени задаваться вопросом, каким образом он и дух, объект его исследования, познают тот же внешний мир. Но без сомнения, проблемы, не имеющие никакого значения с одной точки зрения, могут быть очень важными с другой. Для того, кто задается целью уяснить наивозможно глубже значение мира как целого, проблемы метафизики должны стать важнейшим объектом исследования. Психология представляет на усмотрение метафизики целый ряд таких проблем, и я намерен теперь указать вкратце важнейшие из них. Первой из них является выяснение того, как сознание относится к мозгу. Отношение сознания к мозгу. В психологии, поскольку мы будем разрабатывать ее как естественную науку (а такой точки зрения мы придерживались во всем предшествующем изложении), состояния сознания принимаются за непосредственные данные опыта; причем регулятивная гипотеза, которой мы руководствовались все время, предполагает, что в каждую данную минуту каждому общему состоянию нашего мозга соответствует только одно определенное состояние сознания. Такая гипотеза вполне ясна до тех пор, пока мы, вдаваясь в область метафизики, не зададимся вопросом, что означает слово «соответствует». Если мы хотим этим словом выразить не простое параллельное изменение состояний мозга и состояний сознания, а нечто большее, то понятие, связанное с этим словом, окажется крайне неясным.

Некоторые думают, что его можно сделать более ясным, предположив, что состояния мозга и состояния сознания суть внешняя и внутренняя «стороны» одной и той же «реальности». Другие видят в состояниях сознания реакцию некоторой единой сущности — «души» на множество воздействий на нее со стороны мозга. Третьи полагают, что тайну взаимодействия души и тела можно разгадать, если предположить, что каждая мозговая клеточка одарена особым сознанием и что эмпирически данное состояние нашего сознания есть результат слияния множества отдельных сознаний в одно, так же как, с другой стороны, наш мозг представляет собой совокупность множества нервных клеток.

Первую из этих точек зрения мы можем назвать монистической, вторую — спиритуалистической, третью — атомистической. Каждая из них связана с весьма значительными трудностями; наиболее состоятельной в логическом отношении я считаю спиритуалистическую теорию. Но она не дает никакого объяснения таким психическим явлениям, как раздвоение личности, периодическая смена одной личности другою (см. XII главу).

Эти факты удобно объяснить при помощи атомистической теории, так как гипотеза слияния множества подчиненных сознаний в одно общее и распадаения общего сознания на множество мелких подчиненных представляется более приемлемой, чем гипотеза активности единого духа, то распадающегося на множество одновременно действующих независимо друг от друга сознаний, то снова возвращающегося к нераздельному единству. Локализация психических функций в различных частях мозга также благоприятствует атомистической точке зрения. Предположим, передо мной колокольчик; если я вижу его при посредстве затылочных долей мозга и слышу его звон при посредстве височных долей, то весьма естественно можно сказать, что затылочные доли мозга видят колокольчик, височные слышат его звон; а затем зрительное и слуховое впечатления «сливаются» в одно цельное восприятие. Таким образом, факт совместного действия различных частей мозга при восприятии данного объекта различными органами чувств объясняется, по-видимому, настолько просто, что сторонник психического атомизма признает не идущими к делу, «метафизическими» все

возражения, приводившиеся нами несколько выше против мысли о возможности «слияния» отдельных «частей» сознания. Он пользуется гипотезой атомизма, находя ее простым и удобным приемом для подведения различных психических явлений под одну общую формулу.

Вопрос о соответствии между состояниями мозга и души не только представляет трудности для окончательного решения, но и в самой постановке его уже есть некоторая неясность: «l'ombre en ce lieu s'amasse et la nuit est la toute» (здесь сгущаются тени и наступает полный мрак).

Прежде чем задавать вопрос, в чем заключается перемена психических и соответствующих им физиологических процессов, надо найти носителей этих перемен. <...> Мы должны отыскивать такое элементарное психическое состояние, которому бы прямо соответствовало известное состояние мозга и, наоборот, определить, какому элементарному физиологическому процессу соответствует элементарное душевное явление. Определив таким путем элементарный и психический факты, мы могли бы установить непосредственно между ними известное отношение в виде элементарного психофизического закона.

Метэмпирическая гипотеза существования психических атомов была найдена нами, так как мы все время принимали душевное состояние человека во всей его цельности и сложности за элементарный психический факт, а весь мозг — за элементарный физический факт. Но «весь мозг» вовсе не есть физический факт! Это — просто название, которое мы даем воздействию на наши чувства биллионов молекул, сгруппированных известным образом. С механической точки зрения отдельные молекулы или, самое большое, образованные из них «клеточки» представляют единственный реальный субстрат того объекта, который в просторечии называется мозгом. Эту фикцию мы не можем противопоставлять душевным состояниям как нечто объективно реальное. Объективно реальны только физические молекулы; они-то и представляют элементарное явление. Отсюда ясно, что элементарный психофизический закон мы могли бы получить, лишь став на точку зрения психического атомизма, ибо, приняв молекулу за элемент «мозга», мы по необходимости должны противопоставить ей как простейшее душевное состояние не сознание во всей его цельности, а только элемент сознания. Таким образом, оказывается, что реальное в области психической соответствует нереальному в области физической и наоборот, и вопрос об отношении душевных явлений к телесным становится еще более запутанным.

Отношение состояний сознания к объектам. Запутанность вопроса о взаимодействии души и тела несколько не прояснится для нас, если мы примем в соображение тот факт, что состояние сознания возможно познавать. С точки зрения здравого смысла (а натуралисты по большей части придерживаются ее), познание всегда сводится к отношению между двумя обособленными сущностями: познающим субъектом и познаваемым объектом. Внешний мир есть нечто хронологически предшествующее состояниям сознания; последние постепенно знакомятся с внешним миром, причем их познание становится все более сложным. Но такое дуалистическое противоположение духа и материи не выдерживает идеалистической критики. Предположим, мы испытываем то состояние сознания, которое называется чистым ощущением (поскольку таковое состояние существует), например ощущение голубого цвета при взгляде на безоблачное небо в ясный день. Составляет ли этот голубой цвет наше ощущение или принадлежит «объекту» нашего ощущения? Скажем ли мы, что голубой цвет в данном случае есть некоторое свойство нашего ощущения или есть ощущение некоторого объективного свойства? В просторечии мы выражаемся то так, то иначе; чтобы избежать определенности выражения, в последнее время нередко говорят «содержание» представления вместо «объект» представления, ибо слово «содержание» включает в себе не то нечто, без остатка разлагающееся на чисто субъективные элементы — ощущения, не то нечто, привходящее в состав ощущения извне, со стороны, причем последнее является как бы приемником, вместилищем для внешнего объекта. Но «ощущения» помимо заключенного в них чувственного содержания не означают ровно ничего определенного, и выражения «вместилище», «приемник» внешнего объекта в применении к ним не имеют никакого смысла. Непосредственно испытываемое нами ощущение голубого цвета всего лучше обозначать неопределенными терминами «явление», «феномен». Ведь это

ощущение не создается нами непосредственно как отношение между двумя реальностями, психической и физической. Только созная, что мы думаем непрерывно о том же голубом цвете, мы устанавливаем известное отношение между ним и другими объектами, причем он как бы раздваивается в наших глазах, являясь в связи с одними элементами ассоциаций некоторым физическим свойством, в связи с другими — некоторым душевным состоянием.

В противоположность непосредственным ощущениям наши концепты, по-видимому, подчинены иному закону. Каждый концепт является непосредственно в качестве представителя чего-то выходящего из его сферы, хотя он и бывает связан с известным непосредственно данным «содержанием», которое дает нам знать, что оно «служит представителем» чего-то выходящего за его пределы. Например, «голубой цвет», о котором мы только что говорили, представляет собой, в сущности, два слова, но эти два слова имеют определенное значение. Содержанием мысли в данном случае были слова, а объектом — качество голубого цвета. Короче говоря, испытываемое нами душевное состояние не обособлено от всего остального как простейшие ощущения, но служит указанием на нечто, находящееся вне его пределов и означаемое им.

Но как только мы допустим, что всякий объект и всякое душевное состояние, подобно простейшим ощущениям, представляют собой только две различные точки зрения на один и тот же факт, так невольно возникает вопрос, по какому праву мы считали невозможной делимость душевных состояний на части. Ведь с физической точки зрения, голубое небо представляет собой совокупность находящихся рядом протяженных частиц, почему же не считать его и с психологической точки зрения такой же совокупностью элементов?

Из всего сказанного мы можем только заключить, что отношения между познающим субъектом и познаваемым объектом бесконечно сложны и что общепринятый, усвоенный натуралистами взгляд на эти отношения не выдерживает критики. Отношения могут быть окончательно выяснены только путем тонкого метафизического анализа; только с помощью философских умозрений идеалистического характера и исследований в области так называемой теории знания (*Erkenntnistheorie*) для нас станет вполне ясным принимаемое натуралистами на веру утверждение, будто наши мысли «познают» внешние объекты.

Не менее трудная метафизическая проблема — выяснение изменчивого характера нашего сознания. Сначала мы принимали состояние сознания за те психические единицы, с которыми имеет дело психология, затем мы добавили, что эти состояния непрерывно изменяются. Но каждое состояние сознания, чтобы действительно быть таковым, должно обладать известной продолжительностью (ведь боль, длящаяся менее 0,1 с, в сущности, не может быть названа болью), вследствие чего возникает вопрос, какой продолжительностью должно обладать состояние сознания, чтобы его можно было считать одним, отдельным состоянием. Например, если в восприятии времени непосредственно познаваемое настоящее («видимое воочию» настоящее, как мы условились называть его) равно 12 с, то как велико должно быть непосредственное настоящее для познающего субъекта, т. е. каков должен быть для нашего сознания минимум длительности, при котором эти 12 с могут считаться только что истекшими, минимум, который мог бы поэтому быть назван отдельным состоянием сознания?

Осознание, как процесс, протекающий во времени, дает повод ко всем тем парадоксам, к которым вообще приводит понятие непрерывной перемены. В таком процессе нет отдельных состояний, так же как нет граней в круге и нет в траектории летящей стрелы мест, где бы последняя «покоилась».

Перпендикуляр, который мы опустили на линию времени (см. с. 186), желая этим обозначить проекцию явлений минувшего опыта в нашей памяти, представляет просто фикцию воображения. Тем не менее этот перпендикуляр непременно должен быть математической линией, не имеющей толщины, так как действительное настоящее представляет простую пограничную линию между настоящим и прошедшим, которая не должна обладать толщиной. В таком случае можем ли мы говорить о «состояниях» там, где имеем дело с непрерывно изменяющимся процессом? Но в то же время можем ли мы обойтись без «состояний» сознания, описывая те явления, в которых заключается все наше познание?

Существование состояний сознания как таковых не есть вполне доказанный факт. Но «худшее ожидает нас впереди». Ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения психологии (поскольку такая наука существует), никто еще не сомневался в том, что состояния сознания, изучаемые этой наукой, суть непосредственные данные опыта. Высказывались сомнения в существовании объектов наших ощущений, но никто не сомневался в существовании самих мыслей и чувств. Были мыслители, отрицавшие существование внешнего мира, но в существовании внутреннего мира никто не сомневался. Всякий утверждает, что самонаблюдение непосредственно раскрывает перед нами смену душевных состояний, создаваемых нами в качестве внутреннего душевного процесса, противопоставляемого тем внешним объектам, которые мы с помощью его познаем. Что же касается меня, то я должен сознаться, что не вполне уверен в существовании этого внутреннего процесса. Всякий раз, как я пытаюсь подметить в своем мышлении активность как таковую, я наталкиваюсь непременно на чисто физический факт, на какое-нибудь впечатление, идущее от головы, бровей, горла или носа. Мне кажется при этом, что душевная активность является скорее постулируемым, чем непосредственно данным чувственным фактом; что наличность познающего субъекта, воспринимающего всю совокупность познаваемого, постулируется мною, а не дана прямо в опыте и что лучше ее было бы назвать словом «познавательность». Но допускать «познавательность» явлений опыта в качестве гипотезы и принимать состояние сознания за аподиктически достоверный факт, непосредственно данный нам внутренним чувством, — далеко не одно и то же. В силу этого соображения мы должны оставить открытым вопрос о том, кто истинный субъект познания, а ответ на него, данный нами в конце XII главы, считать условным решением вопроса с точки зрения здравого смысла, решением, которое требует критической проверки.

Заключение . Итак, толкуя все время о психологии как естественной науке, мы не должны думать, что речь идет о науке, установленной на прочном, незыблемом основании. Наоборот, называя психологию естественной наукой, мы хотим сказать, что она в настоящее время представляет простую совокупность отрывочных эмпирических данных; что в ее пределы отовсюду неудержимо вторгается философский критицизм и что коренные основы этой психологии, ее первичные данные, должны быть обследованы с более широкой точки зрения и представлены в совершенно новом свете. Короче говоря, название естественной науки указывает на то, что психология обладает всеми несовершенствами чисто эмпирической науки, и не должно вызывать в психологах наивной уверенности в цветущем состоянии изучаемой ими научной области. Довольно странно слушать, когда начинают толковать о «новейшей психологии» и пишут «истории психологии», забывая, что даже основные элементы и факторы в области душевных явлений не установлены с надлежащей точностью. Что представляет собой психология в данную минуту? Кучу сырого фактического материала, порядочную разногласию во мнениях, ряд слабых попыток классификаций и эмпирических обобщений чисто описательного характера, глубоко укоренившийся предрассудок, будто мы обладаем состояниями сознания, а мозг наш обуславливает их существование, но ни одного закона в том смысле, в каком мы употребляем это слово по отношению к физическим явлениям, ни одного положения, из которого могли бы быть выведены следствия дедуктивным путем.

Нам неизвестны даже те факторы, между которыми могли бы быть установлены отношения в виде элементарных психических законов. Короче говоря, психология еще не наука, это нечто, обещающее в будущем стать наукой. Ее материал находится в нашем распоряжении. Мы знаем, что в соотношениях между известными мозговыми процессами и известной «познавательностью» существует какая-то закономерность. Мы можем получить слабое представление о том, чем могла бы стать в конце концов психология, и сознаем, что по сравнению с возможным состоянием этой науки современное ее положение крайне несовершенно. Можно сказать, что в настоящее время психология находится приблизительно в том фазисе развития, в каком были физика и учение о законах движения до Галилея или химия и мысль о постоянстве масс при превращениях веществ до Лавуазье. Когда в психологии явится свой Галилей или Лавуазье, то это, наверное, будет величайший гений; можно надеяться, что настанет время, когда такой гений явится и в психологии, если только на основании прошлого науки

можно делать догадки о ее будущем. Такой гений по необходимости будет «метафизиком». А для того чтобы ускорить его появление, мы должны сознавать, какой мрак облекает область душевных явлений, и никогда не забывать, что принятые нами на веру положения, на которые опирается все естественно-историческое исследование психических явлений, имеют временное, условное значение и требуют критической проверки.

В основу настоящей книги положен, с некоторыми сокращениями и редакционными уточнениями, текст переведенного на русский язык издания 1922 г.

В настоящем издании эти главы (III–IX) опущены, — Примеч. ред.

В настоящей книге я уделил так много места подробному описанию ощущения, что, следуя установившемуся обычаю, помещаю эти главы в начале книги, хотя вовсе не убежден, что такой порядок изложения самый лучший. Теперь, когда менять порядок глав уже поздно, я чувствую, что главы «Ощущение движения», «Инстинкт» и «Эмоция» должны ради целей преподавания немедленно следовать за главой «Привычка»; глава же «Мышление» должна быть помещена гораздо раньше, пожалуй, тотчас вслед за главой «Личность». Советую преподавателям психологии придерживаться именно такого порядка, невзирая на то что глава «Мышление», если переставить ее на левое место, потребует легкой переработки.

Испытуемый, впрочем, может при этом испытывать боль; необходимо допустить, что всевозможные нервные волокна, равно как и концевые аппараты, до известной степени способны возбуждаться с помощью механического и электрического раздражителей

Так, зрительные нервные волокна направляются к затылочным долям, обонятельные — к нижней части височных долей, слуховые прежде всего направляются к мозжечку, а оттуда, по всей вероятности, к верхней части височной доли. Анатомические термины, употребляемые нами в этой главе, будут объяснены ниже. Корой называется серая поверхность мозговых извилин (cortex).

Я заимствовал его у Цигена в кн.: «Leitfaden der physio-logischen Psychologies, где автор цитирует Геринга.

Ярким образцом его могло бы быть сочетание цветов зеленого и красного, одновременно падающих на сетчатку и дающих впечатление желтого цвета. Но я воздерживаюсь от приведения этого примера, так как в данном случае неизвестно, проходят нервные токи по различным волокнам зрительного нерва или нет.

Некоторые доказательства исключительных способностей этого медиума см.: «Proceedings of the Society for Psychical Research».

Великое педагогическое правило заключается в следующем: всякий новый отрывок знаний следует связывать с каким-нибудь образовавшимся в уме ребенка интересом, т. е., иначе говоря, каким-нибудь путем ассимилировать этот отрывок с заранее приобретенными сведениями. Отсюда вытекает преимущество, получаемое из сравнения отдаленного и чуждого непосредственному опыту с близким и знакомым и неизвестного с известным, из связывания сообщаемых сведений с личным опытом ученика. Предположим, учитель рассказывает ученику о расстоянии от Земли до Солнца; в

таком случае всего лучше задать ученику вопрос: «Если бы кто-нибудь с Солнца вздумал выстрелить прямо в вас и вы бы заметили это в момент выстрела, что бы вы сделали?» — «Я бы отскочил в сторону», — ответит ученик. Тогда учитель может сказать: «Вам нет необходимости отскакивать, вы можете преспокойно лечь спать у себя в комнате и снова встать на другой день, прожить спокойно до совершеннолетия, выучиться торговле, достигнуть моего возраста, тогда только ядро станет к вам приближаться и вам нужно будет отскочить. Итак, видите, как велико расстояние от Солнца до Земли».

Необходимо строго различать волевое усилие в собственном смысле слова от мышечного усилия, с которым его обыкновенно смешивают. Последнее есть совокупность всех периферических ощущений, вызываемых «применением» мышц. Ощущения эти, когда они массивны, а мышцы несколько утомлены, скорее неприятны, чем приятны, в особенности если сопровождаются одышкой, приливом кропи к голове, грубым трением по коже пальцев (на руках и ногах) или плеч и напряжением связок. И только в этой неприятности напряжения волевое усилие, будучи направлено на осуществление известного малопривлекательного акта, сходно с мышечным. Что волевое усилие нередко связано с мышечным — это простая случайность. С одной стороны, иногда требуется большое усилие воли при незначительном применении мышечной силы, например, когда нам нужно утром вставать с постели или мыться в холодной воде. С другой стороны, солдат, стоя неподвижно под градом пуль, должен испытывать неприятное чувство от бездеятельности мышц. Волевой акт, который ему приходится выполнять, тот же, какой необходим для мышечного усилия, сопряженного с болью. В обоих случаях тяжела непосредственная реализация идеи.